

*Посвящается 850-летию
Костромы*

КОСТРОМСКАЯ ЗЕМЛЯ

Краеведческий альманах
Костромского общественного фонда культуры
Выпуск 5



2002

ББК 63.3(2)7-28

К 725

Редакционная коллегия:

Л.С. Васильев, Н.А. Зонтиков (зам. главного редактора),

С.С. Смирнов, А.В. Соловьёва

Оформление Е.Ю. Перебаскиной

КОСТРОМСКАЯ ЗЕМЛЯ. Краеведческий альманах Костромского общественного фонда культуры. — Вып. 5. — Кострома, 2002. — с: ил.

В этом выпуске большая часть материалов посвящается истории Костромы: в статье Н.А. Зонтикова рассматривается вопрос о происхождении названия города, анализируется историография и дается своя оригинальная версия происхождения названия. Продолжается публикация воспоминаний Л.А. Колгушкина, в которых жизнь Костромы начала XX века проходит перед читателем в рассказе о судьбе самого автора и его близких; впервые дается подробнейшее описание Костромского Кремля последней четверти XVII века; читатель альманаха познакомится с храмовыми надписями XVI-XVII вв., которые оставляли на стенах строители храмов в Костроме и Костромском крае; узнает о жизни и благотворительной деятельности в Костроме и близ ее Почетного гражданина, купца 2-й гильдии И.В. Маянского.

Впервые публикуются письма А.А. Григорова другому известному краеведу Д.Ф. Белорукову, написанные в 1972-1973 годах; отрывок из воспоминаний народного артиста Н.Ф. Чалеева-Костромского (о пребывании в Галичском уезде в 90-х годах XIX в.). Из представленных воспоминаний Д.Ф. Белорукова о жизни в посаде Парфеньеве в 10-20-ые годы XX века часть рассказов также публикуется впервые.

К 15-летию Костромского фонда культуры помещена статья о его бессменном председателе, профессоре Ю.В. Лебедеве.

Альманах знакомит читателя с рецензией на IV выпуск “Костромской земли”, информирует о деятельности Костромского фонда культуры в 1999-2001 годах.

© Костромской общественный фонд культуры, 2002 г.

Содержание

I. ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

Н.А. Зонтиков

“Кострома”: происхождение названия города 5

II. ИЗ ИСТОРИИ КОСТРОМЫ

ПОСТАТЕЙНАЯ РОСПИСЬ КОСТРОМСКОГО
КРЕМЛЯ 1678 ГОДА31

Л.А. Колгушкин
ВОСПОМИНАНИЯ.....41

III. ИССЛЕДОВАНИЯ И НАХОДКИ КРАЕВЕДОВ

А.Г. Авдеев

ХРАМОЗДАННЫЕ НАДПИСИ XVI-XVII вв.
КОСТРОМЫ И КРАЯ
.....158

И.Х. Тлиф

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН И КАВАЛЕР ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ МАЯНСКИЙ166

IV. НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

А.А. Григоров

Письма Д.Ф. Белорукову172

Д.Ф. Белоруков

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ201

Н.Ф. Чалеев

Лето в деревне245

V. ХРОНИКА

А.В. Соловьева

ЖИЗНЬ ЕСТЬ ТРУД. О Юрии Владимировиче Лебедеве271

В. Леонович

«РАБОЧИЙ АНГЕЛ КУПОЛ ПОВЕРНУЛ...» Рецензия на IV выпуск краеведческого альманаха «Костромская земля»282

А.В. Соловьева

Главное в деятельности Костромского фонда культуры
в 1998-2001 годах299

Н.А. Зонтиков (Кострома)

“Кострома”: происхождение названия города

“Даже в имени Костромы, над разгадкой которого останавливается ученый исследователь, кроется очарование седой старины”.

В.К. Лукомский.

Название редкого древнего города не окутано романтической дымкой таинственности и загадочности. Очень часто не ясен даже его этнический корень, т.е. неизвестно, на каком языке был когда-то наречен тот или иной город (например, Москва, Суздаль, Углич, Тверь и т.д.). Причины этого просты: на протяжении веков и тысячелетий меняются народы, населяющие территорию, меняются религиозные верования и язык; древние названия, понятные вчера, переходя “по наследству” к новым поколениям, становятся для них непонятными. Происхождение названий большинства самых известных русских городов, родных и привычных нашему уху с детских лет, покрыто “мраком неизвестности”. Среди этого большинства — и наша Кострома. Тому, как в разные времена объясняли происхождение названия главного города Костромского края, и изложению нашей версии этого посвящается данная статья.

Сразу скажем: название города Костромы, конечно, произошло от реки Костромы (в городской черте — Костромки), у впадения которой в Волгу и был в середине XII века основан город. Число древних русских городов, названных по имени рек, на чьих берегах они возникли, очень велико. Среди них: г. Вологда — по р. Вологде, г. Кинешма — по р. Кинешме, г. Тверь — по р. Твери, г. Тотьма — по р. Тотьме, г. Коломна — по р. Коломне, нако-

нец, г. Москва — по р. Москве. Среди таких города нашей области: г. Нерехта — по р. Нерехте, г. Унжа* — по р. Унже. Причем со временем названия рек для отличия от городов обычно приобретают (часто — только в черте городов) уменьшительную форму: р. Кострома становится Костромкой, р. Кинешма — Кинешемкой, р. Коломна — Коломенкой, р. Тверь — Тверцой и т.д. В тех случаях, когда название не поддавалось уменьшению, оно изменялось как-то иначе: например, река Москва в пределах города не стала “Московкой”, но к ее имени намертво пристало слово “река” (Москва-река), и уже от этого двойного гидронима образовывались многочисленные производные — Замоскворечье, Замоскворецкий и др.

Происхождение названия города Костромы от одноименной реки не вызывает сомнений, и об этом писало немало авторов. Однако дело обстоит не так просто. Среди имен древних русских городов название “Кострома” занимает совершенно особое место, в нем имеется как бы несколько исторических слоев. Именно поэтому для объяснения его происхождения — как никакого другого города — наряду с гипотезами специалистов и традиционными народными легендами выдвигались и выдвигаются самые фантастические, не имеющие под собой никакого основания версии. Рассмотрим, как объясняли название Костромы за последние полтора столетия.

Город Кострома: по имени реки или в честь языческого божества?

Людей всегда влечет неизвестное, и, разумеется, костромичей всегда интересовал вопрос о происхождении названия их города. Один из первых историков Костромского края в 1-й половине XIX века зафиксировал, что “по мнению некоторых, ”Кострома“ получила название от реки Костромы”.¹ Таким образом, в то время, и надо думать, и в предшествующие эпохи, среди жителей Костромы существовало понимание логической связи названия города и реки. Одновременно тот же автор приводит “молву старожиллов, будто бы река Кострома получила название свое от заготавливаемого зимою, при берегах оной в Солигаличском, Бувеском и Костромском уездах, величайшими кострами леса, сплаваемого весною многими тысячами для продажи в Кострому”². Разумеется, последнее объяснение является классическим примером “наивной” народной этимологии, когда непонятные географические названия объясняются по случайному созвучию с любыми другими словами и когда не берется в расчет то, что лес в нашем крае аналогич-

* Ныне — с. Унжа в Макарьевском районе.

ным образом сплавливали и по Унже, и по Ветлуге, и по многим другим рекам, на берегах которых высились не менее величайшие костры (т.е. груды³) подготавливаемых к сплаву бревен. К тому же, как справедливо заметил по этому поводу в начале XX века краевед Л.П. Скворцов: “...во времена седой древности вряд ли занимались сплавом леса, а следовательно, и сооружением костров”⁴.

Первым из историков высказал свою версию о происхождении названия города князь А.Д. Козловский (1802-1845 гг.), один из основоположников костромского краеведения. В книге “Взгляд на историю Костромы”, вышедшей в Москве в 1840 году, он писал, что “всего (...) вероятнее наименование Костромы произвести от города Костра, бывшего в Ливонии, недалеко от Юрьева (ныне Дерпта*), или замка Кострума, где после построено город Ревель**”⁵.

В научном отношении версия А.Д. Козловского практически ничем не отличается от простонародных “костров” леса. Вывод о связи названий русского города на Волге и находящихся более чем в тысяче километров от него города и замка в Прибалтике, основанный только на их некотором сходстве, позднее справедливо вызывал иронию. Более чем через сорок лет костромской историк И.В. Миловидов писал: “Основание для названия города Костромы от замка Кострума князь Козловский видит в сходстве с местоположением этого замка. Нетрудно заметить всю несообразность такого словопроизводства. Таким образом можно название Костромы произвести не только от замка или города в Ливонии, а пожалуй откуда-нибудь и подальше, даже из Африки”⁶.

Другую версию о происхождении названия Костромы выдвинул виднейший историк Костромского края протоиерей Михаил Диев (1794-1866 гг.). По его мнению, оно произошло от т.н. элтонского языка (т.е. искусственного языка офеней — бродячих торговцев), в котором слова “костр, кострыга” обозначали город. Прибавив к нему мордовское слово “мас” (красивый), о. Михаил переводил “Кострома” как “красивый город”⁷. Эту точку зрения разделил и А.С. Уваров (1828-1884 гг.), один из основателей Русского археологического общества и инициатор Археологических съездов⁸. К сожалению, версия о. Михаила Диева, признанного классика костромского краеведения, труды которого вошли в его золотой фонд, в научном отношении имеет такую же ценность, что и версия А.Д. Козловского, т.е. никакой. И дело даже не в том, что во времена основания Костромы вряд ли существовал язык офеней и не в том, что если бы он существовал, то вряд ли бы при наречении города прибегли к услугам офеней. Порочна сама прак-

* Ныне — город Тарту в Эстонии.

** Ныне — столица Эстонии Таллин.

тика, для объяснения географических названий, искусственно соединять слова из разных языков, чего не могло быть в старину. И.В. Миловидов позднее писал о таком элтонско-мордовском объяснении имени города: “Сомнение в верности этого словопроизводства может возникнуть потому уже, что приходится составлять название города Кострома из двух слов (...), что едва ли отвечает действительности, т.к. трудно составить одно слово из двух, принадлежащих двум отдельным народностям”⁹.

В вышедшей в 1885 году в Костроме книге “Очерк истории Костромы с древнейших времен до царствования Михаила Феодоровича” ее автор, уже упоминавшийся выше историк И.В. Миловидов (1850-1898 гг.) выдвинул принципиально новую версию о происхождении названия города, которая получила большую известность и, по сути дела, так или иначе преобладает донныне. Опираясь на опубликованный в Москве в 1866-1869 годах фундаментальный труд выдающегося русского фольклориста и знатока славянской мифологии А.Н. Афанасьева (1826-1871 гг.) “Поэтические воззрения славян на природу”^{*}, И.В. Миловидов первым из костромских историков сказал о “божестве весны у языческих славян, называвшемся прямо Костромою”¹¹. Он писал: “В числе языческих праздников и обрядов, в которых выразилась мысль о замирающих силах природы, был обряд, совершавшийся в летнее время, соответствующий нынешнему первому воскресению после Петрова дня, обряд, известный в народе под названием похорон Костромы, Лады, Ярилы”¹². Описав, как в разных местах России совершался обряд т.н. “похорон Костромы”, И.В. Миловидов делал вывод: “... мы вправе зак-

* В своей книге И.В. Миловидов опирался и почти прямо цитировал следующий отрывок из труда А.Н. Афанасьева, в котором говорилось: “Мысль о замирающих силах природы особенно наглядно выражается в тех знаменательных обрядах, которые еще недавно совершались и были известны в нашем народе под названием похорон Костромы, Лады и Ярила. По всему вероятно, обряды эти принадлежали в старину к купальским игрищам... Похороны Костромы в Пензенской и Симбирской губерниях совершались таким образом: прежде всего девицы избирали из себя одну, которая обязана была представлять Кострому; затем подходили к ней с поклонами, клали ее на доску и с песнями несли к реке; там начинали ее купать, причем, старшая из участвующих в обряде сгибала из лубка лукошко и била в него, как в барабан; напоследок возвращались в деревню и заканчивали день в хороводах и играх. В Муромском уезде соблюдалась иная обрядовая обстановка: Кострому представляла кукла, которую делали из соломы, наряжали в женское платье и цветы, клали в корыто и с песнями относили на берег реки или озера; собравшаяся на берегу толпа разделялась на две половины: одна защищала куклу, а другая нападала и старалась овладеть ею. Борьба оканчивалась торжеством нападающих, которые схватывали куклу, срывали с нее платья и перевязи, а солому топтали ногами и бросали в воду, между тем как побежденные защитники предавались неутешному горю, закрывая лица свои руками и как бы оплакивая смерть Костромы. В областных говорах слово кострома означает: прут, розгу и растущие во ржи травы. (...) Подобный же обряд в Саратовской губернии называется проводами Весны: 30 июня делают соломенную куклу, наряжают ее в мучачовый сарафан, ожерелье и кокошник, несут по деревне с песнями, а потом раздевают и бросают в воду”¹⁰.

почитать, что название города (...) Костромою (...) славянское в честь именно этого божества весны...”¹³. И в другом месте повторял: “И вот от имени языческого божества весны “Костромы” получил название и самый город, жителями которого этот обряд совершался”¹⁴.

Разумеется, по сравнению с наивными предположениями А.Д. Козловского и М.Я. Диева, версия И.В. Миловидова значительно более серьезна. Конечно, на совпадение названия города и славянского языческого божества нельзя было не обратить внимания. Первым слабым местом версии И.В. Миловидова являлось то, что она игнорировала реку Кострому, говоря только о городе. Учтя это, И.В. Миловидов, выступая через несколько лет, в 1889 году, на VII-м археологическом съезде в Ярославле с докладом “О Костроме в историко-археологическом отношении”, повторил свою версию, дополнив ее утверждением, что “от имени языческого божества весны “Костромы” получили название как город, жители которого этот обряд, вероятно, совершали, так и река, впадающая близ этого города в Волгу”¹⁵.

Однако и с такой коррективой у версии И.В. Миловидова осталось много слабых мест. Ведь Кострому, судя по всему, хоронили повсеместно на Руси (во всяком случае — в эпоху, когда на берегу Волги возник город, получивший название Кострома). И почему в таком случае Костромой назвали только один город? И почему именно в честь Костромы? Разве в нашем крае не почитали других, несравненно более важных языческих богов — Перуна, Велеса, Рода и других? Но даже и это не главное. И.В. Миловидов и те, кто поддерживал его точку зрения позднее, плохо представляли себе саму практику наименования нашими предками рек и речек.

Представим себе, что мы живем на берегу реки, название которой нам неизвестно. Как мы будем называть эту реку? Конечно, мы будем называть ее просто “рекой”; будем говорить: “пошли на реку”, “мы были на реке” и т.д. И на языках всех народов мира огромное количество рек называется просто “река”. Потом на место одних народов приходят другие и для них слово “река” на языке предыдущих насельников зачастую становится уже именем собственным. Но люди редко живут в местности, где протекает только одна река, а для того, чтобы различать разные реки, требовалось дать им какие-то имена. И имена эти давались по простым и незамысловатым признакам. Так появлялись названия: “большая река”, “малая река”, “черная река” и т.д. И в этой практике наименования просто не оставалось места для названия рек в честь каких-нибудь божеств (только много позднее могли появиться такие искусственные названия, как например, река святого Лаврентия в Северной Америке).

Судя по всему, прямым следствием выступления И.В. Миловидова на Археологическом съезде стало то, что в вышедшем в 1891 году в Петербурге

2-м томе своей книги “Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период с 1238 по 1505 гг.” историк А.В. Экземлярский, говоря о Костромском княжестве и его столице, заметил, что “вопрос о происхождении названия города остается и, кажется, долго должен оставаться в области бесплодных предположений и фантазий”¹⁶.

Однако, несмотря на скептицизм столичных авторитетов, указанное И.В. Миловидовым совпадение названий города и языческого божества не могло не произвести своего впечатления на костромских краеведов. Значительная часть авторов, писавших в начале XX века о Костроме и ее истории, как правило, разделяли версию И.В. Миловидова. В вышедшем в 1909 году в Костроме “Кратком путеводителе по Костроме и Костромской губернии” П.А. Алмазов писал: “Наиболее вероятным представляется предположение, что название города произошло от имени “Костромы” — славянского божества весны, олицетворяющего собою живительные силы природы”¹⁷. В опубликованной в 1913 году в Петербурге книге В.К. и Г.К. Лукомских “Кострома” — этой настоящей поэме в прозе о нашем городе и его памятниках старины — В.К. Лукомский заметил: “Быть может, от имени языческого у славян божества весны — Костромы — воспринял и город это поэтическое название”¹⁸.

Противостоять версии И.В. Миловидова попытался только костромской краевед Л.П. Скворцов (1855-1918 гг.). Заметив в своей вышедшей в Костроме в 1913 году книге “Материалы для истории города Костромы”, что “многие (...) говорят, что город Кострома получил свое название от реки Костромы (как и Москва); река же в свою очередь получила название от громаднейших костров леса, заготавливаемого по берегам реки зимою для сплава”¹⁹, он предположил, что “вернее г. Кострома дал свое название реке, а не наоборот”²⁰. В подтверждение этой версии он сослался на известную летопись Воскресенского Солигаличского монастыря, в которой говорилось, что “когда галичский князь Феодор Семенович, основатель Солигалича, в 1335 г. прибыл туда для построения Воскресенского монастыря, то не знал и не мог наведаться, какая река протекает тем местом, почему и построил лодку, чтобы узнать имя реки; посланные плыли до г. Костромы и там узнали, что это река Кострома”²¹. О происхождении названия города Л.П. Скворцов писал, что “в наших древних летописях, особенно псковских, слова Костр, Кострыга, Кострум встречаются в значении крепости, укрепленного места, и т. к. в прежнее время каждый город был в то же время и крепостью, то естественнее всего предположить, что это общее название (кострум — крепость) и осталось за городом”²².

Однако, версия Л.П. Скворцова неверна по всем пунктам. Летопись Воскресенского Солигаличского монастыря, на которую он опирался, явля-

ется, как признают занимающиеся ею специалисты²³, источником по преимуществу поздним. Во многих местах древнейшей части эта летопись явно баснословна. Никакого галичского князя Федора Семеновича никогда не существовало, как не было и предпринятых по его указанию розысков по установлению названия реки Костромы. Но дело даже не в этом. Глубоко ошибочна мысль Л.П. Скворцова о том, что не река Кострома дала свое название городу, а наоборот, город — реке. Общеизвестно специалистами по топонимике, что названия рек, как правило, являются древнейшими среди географических названий и названия одноименных с реками городов являются вторичными как раз по отношению к рекам, а не наоборот. Случается, конечно, что и населенные пункты “дают” свои названия рекам, но такое происходит, обычно, с деревнями, стоящими на маленьких речках; в этом случае бывает, что название деревни переносится — часто в уменьшительной форме — на речку (например, д. Афонино на речке Афонинке в Буйском районе). Что же касается объяснения слова “Кострома” с привлечением псковских летописей, то документально в Псковском крае широко известно только слово “костер” (в значении — укрепление, крепостная башня)²⁴. Например, в Среднем городе Пскова до сих пор высится “Бурковский костер” — каменная крепостная башня, построенная в конце XIV века. Термины “кострум” и “кострыга” в псковских летописях нам неизвестны (второе слово Л.П. Скворцов явно позаимствовал у о. Михаила Диева с его языком офеней). Но даже если допустить, что было слово «кострома», прямо обозначающее крепость (т.е. город), то почему на Руси с ее обилием крепостей-городов только один наш город на Волге получил название Кострома?

Научные изыскания в области происхождения названия Костромы продолжались еще какое-то время и после революции, в относительно либеральные нэповские 20-е годы. В 1925 году в Ленинграде под редакцией В.П. Семенова-Тян-Шанского вышел большой путеводитель по Волге и ряду ее притоков, представляющий собой настоящий научный труд. В этом путеводителе писалось о Костроме: “Неизвестно, почему город получил свое название. Но интересно то, что название “Кострома” совпадает с именем славянского божества, олицетворяющего весну, возрождение жизненных сил природы”²⁵. В 1926 году в Костроме вышел сборник “Прошлое и настоящее Костромского края”, в котором краевед Ф.А. Рязановский, сославшись на мнение финского исследователя Веске, писал: “Название “Кострома” явно звучит по-чужски и значит “сторона, подверженная ветрам” (Веске). Такое название особенно приложимо к местностям в нижнем плесе реки Костромы, отличающейся болотистостью и безлесностью, многочисленными речками и озерами и напоминающей центры мери: озера Ростовское и

Переяславское”²⁶. Отметим попытку Ф.А. Рязановского отказаться от версии о весеннем языческом божестве и объяснить название слова “Кострома” из языков финских народов. Но о самом мнении Веске, даже не будучи специалистом в финских языках, можно уверенно сказать, что оно неубедительно: мало ли у нас сторон, подверженных ветрам, или, точнее: а разве есть стороны, оным не подверженные?

Впрочем, вскоре вопрос о происхождении названия Костромы был надолго отложен. Как известно, советское государство в конце 20-х годов, в ходе общего “великого перелома”, добралось и до краеведения: в духе времени его объявили лженаукой и подвергли беспощадному разгрому. Многие традиционные темы в истории края, в том числе и вопрос о происхождении названия Костромы, как не имеющие прямого отношения к практическим задачам социалистического строительства, были, как казалось в то время, навсегда выброшены на пресловутую свалку истории. Характерным для той эпохи полного отречения от старого мира стало одно место в большой статье “Кострома”, опубликованной в газете “Северная правда” в мае 1930 года, где говорилось: “Кострома, носящая имя лесного языческого божка, начинает улыбаться по-новому, по-большевистски”²⁷. Удивительно все-таки, что во время самой ожесточенной борьбы со всеми проявлениями «религиозного дурмана» власти не додумались переименовать Кострому, потому что ее строящим новое общество пролетариям не пристало жить в городе, носящем имя “лесного языческого божка”. По счастью, для Костромы не нашлось деятеля большевистской партии, как-то связанного с нашим краем. И сия чаша, выпавшая — только на Волге — Твери, Рыбинску, Романову-Борисоглебску, Нижнему, Симбирску, Самаре и Царицыну, наш город миновала.

Однако, все кончается, пришел конец и периоду безумного отрицания нашего прошлого. Постепенно ощущение, что история страны началась только в 1917 году, слабело, жизнь брала свое, и понемногу все стало возвращаться на круги своя. Спустя несколько десятилетий в научную литературу вновь вернулся вопрос о происхождении названия Костромы. В 1966 году в Москве вышел “Краткий топонимический словарь”, составленный В.А. Никоновым, одним из крупнейших специалистов по топонимике. Отметим в статье о Костроме, что “город (...) назван по реке”²⁸, В.А. Никонов охарактеризовал различные версии о происхождении названия города и, в первую очередь, версию Миловидова, как “этимологические фантазии”, заметив, что “эти пути, по-видимому, напрасны: нельзя игнорировать — ма, оно указывает на происхождение от неизвестного языка, оставившего особенно много названий в Северном Заволжье”²⁹.

Впрочем, мнение специалиста осталось в то время не услышанным. В



Похороны «Костромы».

70-е годы XX века в костромские краеведческие издания вновь вернулась версия И.В. Миловидова (что само по себе свидетельствовало о восстановлении дореволюционного уровня краеведения и в культурном отношении было явлением положительным). В вышедшем в 1970 году путеводителе “Кострома” один из его авторов, известный костромской историк В.Н. Бочков, высказался — весьма, впрочем, неопределенно — в пользу миловидовской версии. В книге говорится: “Само название Кострома подчеркивает отдаленность ее возникновения. Когда-то, сотни лет назад, в Верхнем Поволжье существовал поэтический народный обычай отмечать наступление лета так называемыми похоронами Костромы”³⁰. Описав, как проходили эти “похороны”, он отметил, что “этот обычай сохранялся вплоть до XVIII века”³¹. Отметим, что хотя в тексте нигде не было прямо сказано о том, что город получил свое имя в честь языческого славянского божества, но косвенно такой вывод был несомненен (укажем еще на грубую, в данном случае, ошибку: обрядом “похорон Костромы” наши предки отмечали не начало лета, а его вершину).

Однако, слово было произнесено, и с этого времени старая версия о языческом весеннем божестве стала в посвященной Костроме краеведческой литературе поистине общим местом. В вышедшем в 1978 году, к 825-летию города, написанном большим коллективом авторов издании “Кострома. Краткий исторический очерк” говорилось: “Название города, как считают, происходит от имени весеннего божества славян-язычников — Кост-

ромы”³³. В 1-й части учебного пособия для школьников «Костромской край», вышедшего в том же году, его автор К.А. Булдаков писал: “Название города говорит о том, что на этом месте существовало древнее поселение, названное так в честь языческого божества весны — Костромы”³³.

Впрочем, тезис о языческом божестве никак не уточнялся и не детализировался, так что все это звучало невятно (ведь авторы и сами плохо представляли, что это за божество такое и каким образом был назван в его честь город).

В 1983 году в Москве вышла книга “Названия древнерусских городов”, в которой ее автор, известный специалист по топонимике В.П. Нерознак, говоря о Костроме, осторожно заметил, что “те, кто первостепенное значение придают наличию в топониме города формата — ма, склонны считать его угро-финским по происхождению”³⁴. Хотя, коснувшись г. Нерехты, В.П. Нерознак уверенно констатировал, что ее «название дано по реке Нерехта...»³⁵ (в вопросе о происхождении названия городу Нерехте было легче, т.к. о славянском божестве по имени Нерехта ничего неизвестно).

В том же 1983 году в Москве вышла книга “По городам и весям “Золотого кольца”, посвященная названиям городов и других селений “Золотого кольца”. Ее авторы М.В. Горбаневский и В.Ю. Дукельский неожиданно поддержали старую версию Л.П. Скворцова о том, что не город Кострома получил название по реке, а наоборот — река по городу. Оспаривая мнение В.А. Никонова, они писали: “Принято считать, что город получил свое название по реке. Думается, что этот вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд”³⁶. Авторы отметили, не назвав, правда, при этом имени Л.П. Скворцова: “Но думается, не случайно существует мнение о том, что город мог сам передать свое название реке”³⁷. В подтверждение этого они сослались, опять же без указания на Л.П. Скворцова, на летопись Воскресенского Солигаличского монастыря с ее мифическим князем Федором Семеновичем, посылавшим слуг, чтобы узнать название реки Костромы. Однако версия М.В. Горбаневского и В.Ю. Дукельского тут же разваливается, т.к. дальше они проявили незнание, непростительное для людей, берущихся за серьезное дело. Отметив существующую закономерность, что в тех случаях, когда город получает название от реки, на которой он стоит, название последней очень часто получает уменьшительную форму, они пишут: “В случае же с Костромой такого не произошло: нет реки Костромки, нет реки Костромьтки и т.п. Есть река Кострома! Пока трудно судить, что явилось тому причиной!”³⁸ Судить в данном случае совсем не трудно, т.к. причиной тому, к сожалению, явилось невежество обоих уважаемых авторов, ибо, как знают все костромичи, с древнейших времен река Кострома в черте города называется именно Костромкой.

В 1988 году в Москве вышел “Школьный топонимический словарь”, автор которого — большой знаток топонимики Е.М. Пospelов — проявил, на наш взгляд, самое глубокое и тонкое понимание сложности проблемы. В статье о городе Костроме Е.М. Пospelов пишет, что “происхождение названия не вполне ясно. Наличие в названии Кострома конечного элемента — ма внешне сближает его с дорусскими (по-видимому, древними финно-угорскими) речными названиями (Толшма, Вохтома, Тотьма). Но основа костр- для дорусских названий нетипична. Поэтому современные исследователи возвращаются к мнению, высказанному еще около 100 лет назад, о славянском происхождении этого названия. В русской мифологии Кострома олицетворяла плодородие и весну. В обряде проводов весны совершался ритуал похорон Костромы в виде ее соломенного чучела. Мифологическое название имеет в основе славянское слово костра — “луб, волокно” или диалектное кострома — “прутья, солома, сорные травы”³⁹ (почти слово в слово этот текст Е.М. Пospelов повторил в вышедшем в 2000 году “Историко-топонимическом словаре России”⁴⁰).

В 1997 году в Костроме вышло издание “Археология Костромского края”, являющееся настоящей костромской археологической энциклопедией. Его авторы — знатоки археологии нашего края — в вопросе о происхождении названия Костромы проявили подлинный профессионализм. В книге говорится: “Свое имя город получил по названию реки. Такой вариант возникновения ойконима* с переносом в название населенного пункта уже существующего гидронима характерен для первых поселений в той или иной местности. Существуют и другие версии происхождения названия города, уводящие к русскому мифологическому образу Костромы-весны или некоторым диалектизмам”⁴¹.

Последним по времени сторонником версии, идущей от И.В. Миловидова, стал костромской автор К. Воротной, известный фантастическими версиями на самые разные темы (в одной из статей он, например, утверждал, что Иисус Христос по национальности был славянином, точнее, даже русским). Излюбленные мотивы публицистики К. Воротного: северная Россия — родина индоевропейцев; подлинную историю Руси скрывали и скрывают от народа различные злодеи; принятие христианства — роковая ошибка наших предков, и одновременно — непомерная, не лезущая ни в какие ворота, идеализация славянского язычества и постоянная критика “давно устаревшей” академической науки, не разделяющей вольный полет фантазии подобных авторов. Вообще, спорить с К. Воротным, берущим факты с потолка или черпающим их из трудов таких же писателей-фантастов, бесполезно. Однако, т.к. он постоянно выступает в областной прессе и вводит в

* Ойконим — вид топонима, собственное имя (название) любого поселения.

заблуждение определенную часть читателей, не коснуться его идей нельзя. В нескольких статьях последнего времени, опубликованных в различных областных газетах, К. Воротной выдвинул свой вариант версии о происхождении названия Костромы.

Во-первых, он безоговорочно отнес к славянским по происхождению названия р. Костромы и еще нескольких рек. Заметив, что будто бы угрофинские племена обитали в нашем крае только в Межевском районе, он пишет: “Поэтому нельзя считать, что чуть ли не все наименования рек, озер, холмов в нашей области даны ими (угро-финами — Н.З.), попросту несерьезно. На западе же области преобладают в основном русские и славянские топонимы: Шача, Ида, Кострома, Вочь”⁴². Во-вторых, К. Воротной дает принципиально иную, чем принято, трактовку божества Костромы. Он пишет: “Итак, Кострома. Очень древнее имя. Долгое время считалось, что Кострома — этаким незначительный божок славянского солнечного пантеона, родственник Купале и Яриле. На самом деле все это не так. Кострома — божество лунарного цикла”⁴³. Не приведя ни одного убедительного довода в защиту этого утверждения, он продолжает: “Можно предположить, что когда-то на мысу при впадении в Волгу реки Сулы находилось капище Костромы — лунной богини древних славян и русов. В честь нее они и назвали свое поселение десятки веков назад. Пришедшие сюда княжеские дружины (...) князя Юрия Долгорукого разрушили ведические капища. На месте святилища Костромы поставили церковь Федора Стратилата...”⁴⁴. Затем — в силу все того же вольного полета фантазии — К. Воротной сообщает, что там, “где было капище Велеса — возник Ипатьевский монастырь, а где русы поклонялись Хорсу — возник Успенский храм”⁴⁵. Не касаясь научной ценности утверждений К. Воротного (ее здесь не больше, чем в определении национальности Иисуса Христа), отметим только, что он обошел вопрос о связи названий города и реки Костромы. Вообще, кажется, что В.А. Никонов, писавший, что надо “обязательно (...) отличать гипотезу научную, хотя бы и спорную, от наивного любительского домысла, который наносит вред, прививая читателю искаженные, неверные представления”⁴⁶, имел в виду как раз домыслы К. Воротного.

Подводя итог историографическому обзору, мы видим, что по вопросу о происхождении названия города Костромы всегда существовало две основные точки зрения: первая — город получил название от реки Костромы, вторая — его название происходит от имени языческого божества. Чтобы найти истину, обратимся теперь к рассмотрению языческих верований наших предков, потому что без ясного представления о славянском божестве Костроме мы не сможем приблизиться к разрешению проблемы.

Славянское божество Кострома

За последние десятилетия исторической наукой обобщен и осмыслен поистине необъятный материал о языческих верованиях наших предков. Огромная роль в этом принадлежит академику Б.А. Рыбакову, благодаря трудам которого, в первую очередь, книгам “Язычество древних славян” (1981 г.) и “Язычество древней Руси” (1987 г.), мы знаем славянское язычество намного лучше, чем в конце XIX века, когда со своей версией выступил И.В. Миловидов. Объектом изучения историка, в частности, была и языческая Кострома. Отметив, что “античная мифология, представляющая по существу контаминацию множества древних локальных племенных мифов, постоянно служит неким общим мерилом, при помощи которого легче определяются и классифицируются мифы других народов”⁴⁷, Б.А. Рыбаков подробно развил высказанное в конце XIX века А.С. Фаминцыным предположение о том, что славянской Костроме соответствует в древнегреческой мифологии Персефона (у римлян — Прозерпина), дочь богини Деметры и Зевса.

Как известно, Деметра — богиня земледелия и плодородия, научившая людей, как считали древние греки, плодородию. Само ее имя обычно переводят как “Мать-Земля”. У Деметры была дочь от Зевса — юная Персефона, которую полюбил брат Зевса, владыка подземного царства Аид. Однажды, когда Персефона собирала цветы на лугу, земля разверзлась, вылетел на своей колеснице Аид, схватил прекрасную девушку и унес ее в подземный мир, где она стала его супругой. Узнав о похищении дочери, Деметра погрузилась в неутешную горе и ушла с Олимпа. С этого времени на земле прекратилось рождение и рост растений. Листья на деревьях завяли и облетели. Трава поблекла. Бросаемые в землю семена не прорастали. Люди умирали от голода и перестали приносить жертвы олимпийским богам. Зевс несколько раз послал к Деметре гонцов, уговаривая ее возвратиться на Олимп и вернуть земле плодородие, но она ни о чем не хотела слышать, пока Аид не отпустит Персефону. Тогда Зевс послал к Аиду бога Гермеса, который передал владыке царства мертвых строгий наказ Зевса вернуть Персефону матери. Аид был вынужден подчиниться. Однако, оказалось, что Персефона съела в саду подземного царства несколько зерен граната, а вкусивший пищу мертвых уже не мог возвратиться в мир живых. Посоветовавшись, боги приняли компромиссное решение: треть года Персефона должна была жить с Аидом, а две трети — на земле. Обрадованная Деметра вернула плодородие земле, и снова все пробудилось и расцвело. Но каждый год Персефона, которую греки стали почитать как богиню плодородия и подземного царства мертвых, возвращается в мир Аида. И вся природа ежегодно, вместе с Деметрой, горюет об ушедшей. Жел-

теют и опадают листья, отцветают цветы, нивы пустеют, наступает зима. Природа спит, чтобы проснуться весной, когда вернется к своей матери из мрачного подземного царства Персефона⁴⁸.

Сопоставление античной Персефоны со славянской Костромой дало возможность правильно понять смысл обряда “похорон Костромы”, совершавшегося нашими предками. Б.А. Рыбаков пишет, что этот обряд проводился “в то время, когда хлебные злаки уже созревали, когда первичное зерно, посеянное в землю, уже отдало всю свою силу росткам, начинавшим колоситься. Персефона сделала свое дело — дала жизнь новым колосьям, теперь она может вернуться к Аиду. Это не праздник урожая, не торжество земледельцев, собравших спелые колосья (до жатвы остается еще более месяца), а моление о том, чтобы старая вегетативная сила весеннего ярового посева перешла в новые, созревающие, но еще не созревшие растения, передала бы им свою ярь. Поэтому во время зеленых святок наряду с женскими персонажами выступает Ярило, фаллическое чучело которого тоже хоронят”⁴⁹. Б.А. Рыбаков отнес обряд “похорон Костромы” к обрядам умилоствления подводно-подземных сил. Он пишет: “Все фрагменты и отголоски славянских обрядов сводятся в единый комплекс: у древних славян, как и у античных греков, существовал обряд умилоствления божеств подземного мира, влияющего на плодородие путем принесения жертв, бросаемых в воду.

Обряды, связанные с “метанием в воду” жертв божеству подводно-подземного мира, непосредственно связанному с плодородием почвы, а, следовательно, и с урожаем, проводились в середине лета на семик, на Купалу*, когда хлеба начинали колоситься и окончательный хозяйственный результат сезона не был еще ясен. В этих обрядах переплетались мужское, оплодотворяющее начало и женское, вынашивающее и рожающее. (...) В славянских обрядах мы знаем и похороны Ярилы как олицетворение мужского начала, уже давшего новую жизнь и потому ставшего бесполезным, и похороны Костромы, Купалы, изображения которых, одетые в женскую одежду, провожали похоронным плачем, а потом топили в воде”⁵⁰. Автор полагает, что “утопление Костромы должно типологически соответствовать уходу Персефоны-Прозерпины в подземный мир...”⁵¹.

Б.А. Рыбаков пишет: “Во временных трансформациях обряда кукла Костромы (...) заменила собой (...) жертву, человеческую жертву, приносимую в благодарение этим природным силам и их символам. А жертва приносилась не самим этим силам сезонного действия, а постоянно существующему повелительно всех подводно-подземных сил, содействующему плодородию, т.е. Ящеру, Аиду, Посейдону”⁵².

Образ Костромы в представлении наших предков был неотделим от

*Купала — 7 июля по новому стилю.

образа Ярилы, “похороны” которого, как известно из этнографии XIX века, происходили почти одновременно с “похоронами” Костромы. Б.А. Рыбаков характеризует Ярилу как “славянского Диониса”⁵³. Напомним, что античные греки представляли себе Диониса, сына Зевса и богини земли Семелы, как прекрасного юношу, почитаемого ими не только как бога виноделия, но и как бога растительности и производительных сил природы. Б.А. Рыбаков пишет: “...широко распространенные в России “похороны Ярилы” в дни летнего солнцестояния отражают важнейшую аграрную фазу: полное отмирание старого зерна-семена, брошенного в землю весной, и вызревание новых зерен на колосьях. Похороны Ярилы никого из участников обряда не огорчали. Сущность была в том, что хлеба уже начали колоситься, посеянное зерно успешно выполнило свою функцию и породило зерна нового урожая. “Ярость”, “яр” Ярилы была уже не нужна, и кукла, изображающая старика с огромным фаллом, погребалась весело, со смехом, с непристойными шутками и притворным плачем”⁵⁴.

Эта неразделимая связь образов Ярилы и Костромы приводила иногда к досадным ошибкам. Такой большой знаток русского быта вообще и, в частности наших древних верований, как П.И. Мельников-Печерский (1819-1883 гг.) в своем романе “В лесах” очень грубо ошибся, определив куклу Костромы, приготовляемую к утоплению в воде, как “чучело Ярилы из соломы”⁵⁵. Как мы увидим ниже, из данных этнографии хорошо известно, что чучело Костромы и Ярилы были совершенно разные: Кострому изображала женская фигура в сарафане, а Ярилу — мужская фигура с большим фаллосом. П.И. Мельников-Печерский сам противоречит себе, говоря о Яриле и в то же время описывая, как соломенную куклу Костромы одевают в “нарядный сарафан недавно вышедшей замуж молодежи”⁵⁶. Правильно указав, что “похорон” было двое, он неверно определяет их как “первые” и “вторые” похороны Костромы, в то время как на одних похоронах погребали Кострому, а на других — Ярилу.

Вероятнее всего, что наши предки почитали Ярилу как бога земледелия и плодородия, а также бога-воина. По аналогии с тем, что отцом античного Диониса был Зевс, можно полагать, что отцом Ярилы являлся Перун. Одни исследователи полагают, что в христианскую эпоху Ярилу заменил великомученик Георгий Победоносец, но более вероятным представляется, что позднее древнее божество плодородия стало известно под полухристианским-полуязыческим именем Ивана Купалы.

Как ни странно, в литературе существует сомнение в том, что Кострома являлась для древних славян божеством. Б.А. Рыбаков в обоих своих трудах смотрит на это по-разному. Если в “Язычестве древних славян” он писал, “что если у славян и не было богини Костромы (...), столь же персонифици-

рованной как греческая Персефона, то, несомненно, был очень древний и общеславянский комплекс представлений о божестве растительной силы, ежегодно рождавшейся и ежегодно умиравшей⁵⁷, то в “Язычестве древней Руси”, он уже замечает, что “правы исследователи, отрицающие существование представлений о божестве Костроме⁵⁸”. Однако, последнее утверждение вызывает удивление. Ведь в божественном “статусе” Ярилы никто не сомневается, а Ярила неразрывно связан с Костромой и оснований сомневаться в ее не менее высоком иерархическом положении в языческом пантеоне наших предков у нас нет никаких. Думается, что совершенно прав был А.Н. Афанасьев, писавший: “Некоторые из наших ученых видят в именах (...) Ярилы, Костромы только названия летних праздников и ничего более. Но если принять в соображение, что фантазия младенческих народов любила свои представления облекать в живые, пластические образы, что это было существенное свойство их мышления и мирозерцания, что самые времена года казались уму древнего человека не отвлеченными понятиями, а действительно божествами, посещающими в известную пору дольний мир и творящими в нем те перемены, какие замечаются в жизни, цветении и замирании природы, — то несостоятельность вышеуказанного мнения обнаружится сама собою⁵⁹”. Скорее всего, по аналогии с Персефой Кострома была для древних славян богиней плодородия и подземного царства мертвых.

А к кому ежегодно уходила наша славянская Персефона — Кострома? Кто у древних славян был аналогом античного Аида? Ответить на данный вопрос совсем не трудно, т.к. этот персонаж славянской мифологии хорошо знаком всем нам с детских лет. Б.А. Рыбаков отмечает, что “очень близок к греческому Аиду-Плутону, царю подземного мира мертвых”, наш Кащей Бессмертный⁶⁰. Вспомним, что излюбленным занятием Кощея в сказках является похищение девушек, которых он какое-то время держит в своем дворце.

А когда именно происходили “похороны” Костромы, т.е. ее ежегодный уход в мрачное царство Кощея Бессмертного? Б.А. Рыбаков, не сославшись на источник, пишет, что “похороны Костромы” происходили “неделю спустя после летнего солнцестояния, на Петров день, 29 июня”⁶¹. Однако, он сам тут же признает, что в “календарной приуроченности обрядов еще много неясного и нерешенного”⁶². Вероятнее всего, в древности и у Костромы, и у Ярилы были точно определенные календарные даты их “похорон”. Однако, после принятия христианства “похороны” оказались привязанными, чаще всего, к переходящим, т.е. не имеющим определенной даты, православным праздникам. К тому же в разных местах России “похороны”, по-видимому, приурочивали к разным христианским праздникам. Например, “похороны” Ярилы, как правило, происходили в праздник Всех свя-

* Т.е. 12 июля по новому стилю.

тых, отмечаемый в первое воскресенье после Святой Троицы, после которого начинается Петров пост, предшествующий Петрову дню (29 июня/12 июля). К тому же, иногда “похороны” Костромы и Ярилы не различают между собой, от чего в литературе происходит путаница. Так, П.И.Мельников-Печерский в романе «В лесах» дает сводку дат, когда в разных местах совершали “похороны” Костромы, смешав их вместе с “похоронами” Ярилы, принизив тем самым ценность этой сводки. Он пишет, что “похороны” Костромы (бывшей, по его мнению, как мы помним, — “соломенным чучелом Ярилы”) происходили: “... в Казанской губернии — накануне Троицына дня; около Владимира и Суздаля, а также в Пензенской и Симбирской губерниях — в Троицын или Духов дни; в Ярославской и западной части Костромской губернии в воскресенье Всех святых, а местами в Петров день; в Тверской губернии — в первое воскресенье Петрова Поста; в других местах Великой России, а также в Малороссии — 24 июня; в восточной части Костромской губернии, местами в Нижегородском Заволжье и в Вятской губернии — в Петров день”⁶³.

В.И. Даль указывает, что в Муромском уезде чучело Костромы “из соломы и рогож” топили в Оке “на всехсвятской, в воскресенье перед Петровым постом, в русальное заговенье”⁶⁴.

По нашему мнению, “похороны” Костромы совершались немного раньше, чем “похороны” Ярилы. Ведь и в наших сказках сперва Кашей Бессмертный похищает девушку, а уж потом вслед за ней отправляется в Кашеево мертвое царство мужественный Иван-царевич. Вообще, образ Костромы, безусловно, оставил большой след в русском фольклоре — сказках и былинах — и она хорошо знакома всем нам с детства, хотя и не под своим “историческим” именем. Можно уверенно предполагать, что большинство русских сказок, в которых положительный герой, найдя смерть Кашея Бессмертного, спасает похищенную девушку, повествуют именно о спасении из Кашеева царства Костромы. Положительный же герой, чаще всего именуемый Иван-царевич, это — конечно, Ярила. Вспомним знаменитый сказочный эпизод — Иван-царевич с красной девицей верхом на Сером волке уходят от погони. По нашему мнению: Иван-царевич — это Ярила, девица — Кострома, а Серый волк — это, вероятнее всего, ипостась бога Велеса. К сожалению, нам неизвестны источники, прямо говорящие о том, что Ярила посещал Кашеево царство. Однако, если мы обратимся к мифам об античном аналоге Ярилы — Дионисе, то увидим, что Дионис спускался в подземное царство Аида, что бы вывести оттуда свою мать Семелу⁶⁵.

Образ Костромы сохранился в русском былинном эпосе. В 1872-1874гг. при археологических раскопках богатого княжеского кургана Черная Могила в Чернигове был обнаружен знаменитый ритуальный турий рог с се-

ребриной оковкой, украшенной различными изображениями. Еще в начале 50-х гг. XX века Б.А. Рыбаков определил, что на роге изображен один из ключевых сюжетных моментов былины “Иван Годинович”. В этой былине рассказывается о том, как один из богатырей киевского князя Владимира Иван Годинович посватался к Анастасии Дмитриевне, дочери торгового гостя Дмитрия. Оказалось, что Анастасия уже просватана за царя Афромей Афромеевича (в некоторых вариантах он прямо именуется Кашцем), однако Иван Годинович увез ее из-под носа приехавшего царя. Афромей Афромеевич догнал его, они стали бороться, и в этой борьбе Анастасия Дмитриевна помогала царю. Победив Афромей Афромеевича (в одних вариантах Иван Годинович взял его в плен, в других — убил, в третьих — царь погиб, пораженный собственной стрелой, пущенной в богатыря), Иван Годинович расправился с коварной Анастасией Дмитриевной⁶⁶. Причем, как пишет одна из лучших знатоков былинного эпоса А.М. Астахова, во многих вариантах этой былины расправа “происходит всегда у воды”⁶⁷.

Анализируя былину, Б.А. Рыбаков сделал очень важный для нашей темы вывод о том, что Анастасия Дмитриевна, чье имя по-гречески означает “воскресение” (в разных вариантах былины отчество героини может меняться, но имя Анастасия, как правило, остается неизменным), является завуалированным образом Костромы. Он отмечает, что “точная передача греческого мифологического имени Персефоны именем Анастасии (...), обозначающим “возрождение”, “воскресение”, (...) точно соответствует мифологическому образу Персефоны, богини весеннего возрождения природы”⁶⁸. Б.А. Рыбаков пишет, что и отчество Анастасии — Дмитриевна — не случайно, т.к. “былина только припоровила происхождение дочери к русской системе обозначения не по матери, а по отцу”⁶⁹. На основании всего этого Б.А. Рыбаков делает вывод о том, что славянской Персефоне в христианском пантеоне соответствует святая мученица Анастасия⁷⁰. Как известно, в христианскую эпоху богов древних славян обычно заменяли соответствующие христианские святые, на которых переносились многие черты их языческих предшественников. Как признается всеми исследователями, языческому Перуну соответствует святой пророк Илья, а в былинном эпосе Перуна заменил Илья Муромец (в античной же мифологии аналог Перуна — это, конечно, Зевс Громовержец). Следовательно, если языческой Костроме в античной мифологии соответствует Персефона, а в былинном эпосе — Анастасия, то логично полагать, что в христианском пантеоне ей соответствует святая Анастасия (о конкретном выводе из этого положения — чуть ниже).

Б.А. Рыбаков пишет, что в сказках былинный Иван Годинович стал называться Иваном-царевичем⁷¹. Не подлежит сомнению, что Иван Годи-

нович — это один из поздних “псевдонимов” Ярилы. Заметим попутно, под каким еще несравненно более известным именем, по-нашему мнению, фигурирует Ярила в русском былинном эпосе. Судя по всему, Ярила — это никто иной, как Алеша Попович. Вспомним: Алеша — молод, красив, у него слава “бабьего прелестника”. Едва, например, Добрыня Никитич уезжает со двора совершать свои подвиги, как Алеша тут же начинает ухаживать за его женой (очень часто именуемой Анастасией) и предлагает ей выйти за него замуж, коварно уверяя ее, что Добрыня погиб и она осталась вдовой. Свадьбу расстраивает только возвращение домой Добрыни. В то же время Алеша Попович — настоящий богатырь, доблестный воин. В одной из народных песен, приводимой П.И. Мельниковым-Печерским при описании похорон Ярилы, поющие называют последнего “Алешенькой”⁷². Из всех возможных языческих богов наиболее вероятным “прототипом” Алеши Поповича, судя по всему, может быть только Ярила.

Скажем еще о значении самого слова “Кострома”. Скорее всего, правы исследователи, выводящие его этимологию из названий растений, точнее — их пучков (вязанок). А.Н. Афанасьев писал, что кукла Кострома, вероятно, “приготавливалась не только из соломы, но также из сорных трав и прутьев, и что именно поэтому она получила название Костромы. В областных говорах слово кострома означает: прут, розгу и растущие из ржи сорные травы; костра, кострец, костер, костера — трава метелица, костерь, костеря — жесткая кора растений, годных для пряжи, кострыка — крапива, кострубый (кострубатый) — шороховатый, в переносном смысле: придирчивый, задорный”⁷³. В.И. Даль сообщает, что в Тульской губернии слово “кострома” означало “розги, пук прутьев, батоги”⁷⁴. В письменных источниках зафиксировано слово “кострома” в значении — “пучок прутьев, батоги”⁷⁵. Перевод Б.А. Рыбаковым Костромы как “Костро-ма”, т.е. “поросшая земля”⁷⁶, носит искусственный характер и вряд ли соответствует действительности.

Подведем итоги. Судя по всему, Кострома почиталась древними славянами как богиня плодородия и подземного царства мертвых. В один из дней “макушки лета” наши предки устраивали ей торжественные “похороны”, в конце которых ее соломенное чучело растрепывали и топили в воде реки или озера. Вскоре происходили “похороны” Ярилы, отправлявшегося в подземное царство Кощея Бессмертного за похищенной Костромой. Странствия Ярилы, завершающиеся тем, что он находил, где спрятана Кощеева смерть, и побеждал владыку подземного царства, занимали большую часть года, и только весной Ярила и Кострома возвращались на землю (раз ежегодно совершались “похороны” Костромы, то, конечно, столь же регулярно проходили и ее встречи, но пока трудно определить, какой именно из

весенних праздников наших предков был посвящен встрече вернувшейся на землю Костроме). На земле все цвело и росло, однако, через определенное время Кащей, заслуженно подтверждая тем самым славу “Бессмертного”, каким-то чудесным образом воскресал* и вновь принимался за старое — похищал Кострому, вынуждая Ярилу опять отправляться в долгое и опасное путешествие в Кащеево царство. Скорее всего, Кострома приходилась дочерью Матери-Сырой-Земле (аналог греческой Деметры), которая после похищения дочери Кащеем погружалась в неутешное горе... После “похорон” Костромы лето, миновавшее свою вершину, клонилось к концу, в природе начиналось увядание, леса одевались в багрец и золото, наступала зима, дивившаяся до возвращения Ярилы и Костромы.

После принятия христианства Кострома не исчезла. Обряд ее “похорон” во многих местах России дожил до конца XIX века. Сменив имя, Кострома осталась в русском фольклоре — в былинах и сказках. В пантеоне христианских святых появилась ее православная преемница — святая мученица Анастасия.

Божество Кострома и наш край: так как же получил свое название город?

Все это очень хорошо, скажет читатель, но какое отношение это имеет к вопросу о происхождении названия города Костромы? Отвечаем. Главным заблуждением всех писавших о происхождении названия, включая и тех, кто совершенно правильно указывал на перенесение на город имени реки, было то, что они полагали неизменным нынешнюю форму названия реки — “Кострома”. Между тем это наименование безусловно является относительно поздним, славянизированным (или русифицированным) вариантом более древнего угро-финского названия реки, звучавшего очень похоже на славянское слово “Кострома”. Вообще, все названия рек и речек нашего края, справедливо относимые абсолютным большинством ученых (кроме неспециалистов вроде К. Воротного) к угро-финским — Сендега, Вохтома, Нея, Куекша, Мера, Меза, Челсма, Шача и т.д. — являются на самом деле не исконными угро-финскими названиями, а их более поздними русифицированными вариантами. Можно привести следующий пример. К северу от Петербурга на Карельском перешейке протекает река, в России именуемая Вёкса, а в Финляндии — Вуокса. Название Вуокса является редким случаем бесспорного перевода на русский язык как “исток из озера”⁷⁷ (т.е. река, вытекающая из озе-

* Только при таком взгляде на древний миф становится понятным привычное, но, казалось бы, не находящее оправдания в сказках прозвище повелителя мертвого царства “Бессмертный”, которое, тем не менее, в конце каждой сказки регулярно наступала смерть.

ра). В нашей области, как известно, есть две реки с именем Вёкса — Вёкса Галичская, вытекающая из Галичского озера, и — Вёкса Чухломская, вытекающая из Чухломского озера (а есть еще Вёкса Переяславская, вытекающая из Переяславского озера и Вёкса Ростовская, вытекающая из Ростовского (или Неро) озера). На примере Вуокса — Вёкса хорошо видно характерное соотношение более древнего финского и более позднего русского вариантов одного и того же названия. Сразу видно, что русский вариант более удобен для русского языка, уже потому, что он короче.

Мы не будем гадать, каким было первоначальное угро-финское название реки Костромы. Ясно только, что оно было более длинным (во всех случаях, когда известны финский и славянский варианты названия одной реки, последний немного короче) и очень похожим на имя славянского божества Костромы. Именно поэтому у пришедших в наш край в IX-X веках славян за рекой закрепилось название “Кострома”, постепенно вытеснившее ее более древнее финское имя. Скорее всего, славянский вариант названия дали реке новгородцы, проникавшие в Костромской край, как полагают археологи, из бассейна реки Сухоны именно по реке Костроме⁷⁸. Позднее, когда у впадения в Волгу реки Костромы возник город, на него был перенесено “обрусевшее” название реки.

Вывод из всего сказанного выше следующий: получается, что славяне, пусть и не прямо, а косвенно — по созвучию угро-финского названия реки и имени славянского божества, — но “переименовали” реку в честь божества Костромы. И поэтому в вопросе о происхождении названия города по-своему правы и те, кто выводил его название от реки, и те, — кто от имени славянской языческой богини. Другое дело, что первые были все-таки ближе к истине, т.к., в первую очередь, город назван по реке и только во вторую очередь косвенно, но все-таки, по-нашему мнению, носит имя языческого божества наших предков. Заметим еще, что имя реки, давшей название городу, является единственным в России*.

Все писавшие о том, что в древности в городе Костроме ежегодно совершался обряд “похорон” Костромы, разумеется, правы, хотя и никаких документальных данных на этот счет у нас нет. Встает вопрос: почему во

* Известно, что одни и те же угро-финские названия рек часто повторяются. Так, только в нашей области существуют две реки Нерехты, две реки Монзы, по крайней мере, три реки Вёксы и т.д. Река Кострома в России одна. Обычно ссылаются на М.Фасмера, указавшего на реку Кострому — “приток реки Чепец (б. Вятская губерния)”⁷⁹. В нынешней Кировской области реки с таким названием нет, но в Удмуртии, до революции входившей в состав Вятской губернии, протекает небольшая река, обозначенная на современных картах как Костромка (приток р. Чепцы, в свою очередь, впадающей в р. Вятку). Наиболее естественная версия появления этого названия может состоять в том, что участвовавшие в заселении Вятского края костромичи, вероятно, назвали так — в уменьшительной форме — одну из рек края в память о своей родине.

Владимирской, Симбирской, Саратовской и других губерниях “похороны” Костромы, как фиксируется этнографами, происходят вплоть до конца XIX века (а в каких-то глухих местах этот обряд наверняка совершался и в XX веке), а относительно города Костромы мы можем только уверенно сказать, что, по крайней мере, с начала XVIII века “похороны” Костромы в нем не происходили. Думается, что этот факт можно объяснить тем, что в городе Костроме данная языческая традиция наверняка принималась властями куда “ближе к сердцу”, чем в других местах. И поэтому борьба с ней велась гораздо энергичней. Можно предполагать, что в г. Костроме властям и духовенству удалось положить конец “похоронам” Костромы во 2-й половине XVII века, в эпоху церковного раскола, когда, как известно, была ужесточена и борьба с пережитками язычества*.

И все-таки, пусть не прямо, языческое божество Кострома продолжало почитаться в нашем городе. У нас есть все основания полагать, что, по

* Любопытно, что народная память о верном спутнике Костромы, Яриле, сохранялась гораздо дольше. Обряд “похорон” Ярилы совершался в Костроме даже на всем протяжении XIX века. Упомянувшийся выше историк протоиерей Михаил Диев так описывал их: “Празднество Ярилу отпраздновать и в Костроме; всехвятское заговение там доселе называется Ярило. Костромские старожилы рассказывали мне, что перед сим лет за 60 в всехвятское гульбище один носил Ярилу, — изображение мужчины, украшенного лентами, с большим детородным удом, — в ящике; на гулянке женщины около него ходили, сначала пели песни, потом с плачевными причетами его зарывали в землю, и что в один год (около 1776 г.) Костромской епископ Симон, пастырь редких качеств, прибыл на гулянку, сделал народу пастырское увещание, которое много подействовало...”⁸⁰. Отец Михаил Диев и сам был очевидцем таких “похорон”. Он пишет: “Когда я был в семинарии (М.Я. Диев окончил Костромскую духовную семинарию в 1813 году — Н.З.), то видел, как костромичане на гулянке погребают Ярилу; старик в лохмотьях нес в небольшом гробике куклу, представляющую мужчину с большим детородным удом. Пьяные бабы последовали до его могилы с причетами, большей частью неблагопристойными”⁸¹. Сорок с лишним лет спустя, в 1854 году, “Костромские губернские ведомости” сообщили, что “в Костроме, в день Всех святых, толпы простого народа собираются на городском поле праздновать так называемую яриловку.”⁸². Наконец, еще через двадцать с лишним лет этнограф Ф.Д. Нефедов, посетивший Кострому в 1874 году, попал на народный праздник в честь Ярилы. Ф.Д. Нефедов пишет: “Костромичи, преимущественно мещане и рабочие, а так же крестьяне соседних деревень, собираются в последнее воскресенье перед Петровым постом на поляну вблизи города, называемую Яриловкою. Все это сонмище “погребает” Ярилу, т.е. выпивает и песни поет”⁸³. Автор не упоминает о предании земле куклы Ярилы, видимо, к этому времени данная часть обряда уже отмерла.

В ряде мест Костромского края традиция “похорон” Ярилы отличалась большей устойчивостью. По сообщению того же Ф.Д. Нефедова, в Кинешме “этот праздник справляется за речкою Кинешемкою, на красивой гористой местности, покрытой лесом. Посередине леса есть поляна, на которой происходит торжество, называемая Яриловой плешью. Празднуют Яриле два дня: в первый день идут Ярилу встречать, а на второй — погребать. Встреча и похороны сопровождаются сильною попойкою (...). Рассказывают, что два года назад (1872 г.), делали большую куклу, носили во время торжества и потом зарывали в землю. Но местное духовенство и полиция восстали против этого”⁸⁴. Еще в начале XX века на Поклонной горе в Галиче, где, по преданию, стоял идол Ярилы, ежегодно, “в неделю Всех святых”, происходило большое народное гуляние, именуемое Яриловкой⁸⁵.

крайней мере, до начала или середины XII века в районе впадения в р. Волгу р. Сулы (ныне это территория Костромского государственного университета) находилось языческое святилище, в честь Костромы. Как известно, христианизация Верхнего Поволжья началась примерно на век позже, чем основных центров древней Руси — Киева и Новгорода, т.е. в конце XI - начале XII веков. Известна обычная практика, когда на местах языческих святилищ возводились христианские храмы, очень часто посвященные святым, призванным в какой-то степени стать преемниками своих языческих предшественников (так, на местах святилищ в честь Перуна ставили храмы, посвященные пророку Илье и т.д.). Как писалось выше, в христианскую эпоху преемницей языческой Костромы в православном пантеоне стала святая мученица Анастасия. А как раз именно на берегу Сулы находился самый древний в Костроме женский Анастасиин монастырь, впервые упоминаемый в грамоте великого Московского князя Василия Дмитриевича от 1417 года⁸⁶. Как полагают, обитель была основана на рубеже XIV и XV веков дочерью великого Московского князя Димитрия Донского и сестрой Василия Димитриевича, княжной Анастасией Димитриевной (в 1382 году во время нашествия на Москву хана Тохтамыша вместе со всей семьей Димитрия Донского княжна Анастасия находилась в Костроме). Однако, логично предположить, что Анастасиин монастырь возник не на пустом месте и что до него существовала деревянная церковь во имя святой преподобномученицы Анастасии Римлянины (Солунской), которая могла быть возведена здесь примерно в середине XII века на месте разрушенного святилища в честь языческой Костромы.

В 1863 году Анастасиин и Богоявленский монастыри были объединены в единую женскую обитель и Богоявленский собор монастыря стал именоваться Богоявленско-Анастасиин. Обитель закрыли в 1919 году, в 30-40-е годы ансамбль бывшего Анастасиина монастыря (он занимал квартал между улицами Островского, Пятницкой и проспектом Текстильщиков) был почти полностью уничтожен. Бывший Богоявленский монастырь большую часть своих строений, в том числе и Богоявленско-Анастасиин собор, по счастью, сохранил. Как известно, с августа 1991 года этот древний храм является кафедральным собором Костромской епархии. Поразительно, что одной из святых покровительниц Костромы и края является преподобномученица Анастасия — христианская преемница языческой Костромы, которая тем самым, пусть опосредованно, но по-прежнему почитается костромичами.

Подведем окончательные итоги. Вот уже более полутора веков в историографии существует две основные точки зрения: первая — город Кострома получил свое название от реки Костромы, вторая — его название происходит от имени языческого божества. Как полагают историки, языческая богиня

Кострома аналогична античной Персефоне — богине плодородия и подземного царства мертвых, в котором она пребывает в холодную часть года. Под разными именами, но преимущественно под именем Анастасия (по-гречески — “воскресение”), образ Костромы остался в русском фольклоре — былинах и сказках. После принятия христианства в пантеоне православных святых ее преемницей стала святая преподобномученица Анастасия.

Название реки — “Кострома” — не есть исконное угро-финское имя реки, это — его более поздний русифицированный вариант. Первоначально название реки было несколько иным, но очень похожим на имя языческого божества, почему пришедшие в наш край в IX-X веках славяне и стали ее называть Костромой. Закрепив за рекой свой вариант названия, полностью совпадающий с именем божества и перенеся его на возникший позднее город, наши предки, пусть и не прямо, но все-таки назвали город в честь древней языческой богини.

Языческое святилище в честь Костромы, судя по всему, находилось в черте города на берегу реки Сулы и, вероятно, было уничтожено в 1-й половине XII века. Скорее всего, на его месте поставили деревянную церковь во имя святой преподобномученицы Анастасии Римляныни (Солунской), которую в конце XIV- начале XV веков сменил Анастасиин монастырь — древнейшая женская обитель в Костроме и крае.

“Кострома”: происхождение названия города

- ¹ Козловский А.Д. Взгляд на историю Костромы. М., 1840, с. 7.
- ² Там же, с. 8.
- ³ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 7, М., 1980, с. 368 (далее — Сл. РЯ XI-XVII вв.).
- ⁴ Сворцов Л. Материалы для истории города Костромы. Ч. 1, Кострома, 1913, с. 20.
- ⁵ Козловский А.Д. Указ. соч., с. 7.
- ⁶ Миловидов И. Очерк истории Костромы с древнейших времен до царствования Михаила Федоровича. Кострома, 1885, с. 11 (далее — Миловидов И. Очерк истории).
- ⁷ Диев М. Достопримечательности Костромской губернии по р. Волге в историческом отношении. Отдел рукописей Российской Национальной библиотеки (Петербург), ф. А.А. Титова, ед. хр. 3969, с. 38.
- ⁸ Миловидов И. Очерк истории, с. 23.
- ⁹ Там же.
- ¹⁰ Афанасьев А.Н. Древо жизни. Избранные статьи. М., 1982, с. 441-442.
- ¹¹ Миловидов И. Очерк истории, с. 11-111.
- ¹² Там же, с. 29.
- ¹³ Там же, с. 23-24.
- ¹⁴ Там же, с. 29.
- ¹⁵ Миловидов И. О Костроме в историко-археологическом отношении. М., б. г., с. 8.
- ¹⁶ Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период с 1238 по 1505 гг. Т. 2, СПб., 1891, с. 262.
- ¹⁷ Алмазов П.А. Краткий путеводитель по г. Костроме и Костромской губернии. Кострома, 1909, с. 5.
- ¹⁸ В.К. и Г.К. Лукомский. Кострома. СПб., 1913, с. 1.
- ¹⁹ Сворцов Л. Указ. соч., с. 20.
- ²⁰ Там же.
- ²¹ Там же, с. 21.
- ²² Там же.
- ²³ Преображенский А.А. Летопись Воскресенского монастыря, что у Соли Галичской.// Восточная Европа в древности и средневековье. М., 1979, с. 235-242.
- ²⁴ Сл. РЯ XI-XVII вв. Вып. 7, М., 1980, с. 367.
- ²⁵ Поволжье. Природа, быт, хозяйство. Путеводитель по Волге, Оке, Каме, Вятке и Белой. Л., 1925, с. 386.
- ²⁶ Рязановский Ф. История края.// Прошлое и настоящее Костромского края. Кострома, 1926, с. 96.
- ²⁷ Б-в Д. Кострома.// Северная правда. 31.05.1930.
- ²⁸ Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. М., 1966, с. 208.
- ²⁹ Там же, с. 29.
- ³⁰ Бочков В.Н., Тороп К.Г. Кострома. Путеводитель. Ярославль, 1970, с. 6.
- ³¹ Там же.
- ³² Кострома. Краткий исторический очерк. Ч. 1, Ярославль, 1978, с. 7.
- ³³ Булдаков К.А. Костромской край. Ч. 1, Ярославль, 1978, с. 7.
- ³⁴ Нерознак В.П. Названия древнерусских городов. М., 1983, с. 96.
- ³⁵ Там же, с. 119.
- ³⁶ Горбаневский М.В., Дукельский В.Ю. По городам и весям “Золотого кольца”. М., 1983, с. 92.
- ³⁷ Там же.
- ³⁸ Там же.
- ³⁹ Поспелов Е.М. Школьный топонимический словарь. М., 1988, с. 98.
- ⁴⁰ Поспелов Е.М. Историко-топонимический словарь России. Досоветский период. М., 2000, с. 108-109.
- ⁴¹ Археология Костромского края. Кострома, 1997, с. 200.
- ⁴² Воротной К. Кострома — лунная богиня.// Северная правда. 27.12.2000.
- ⁴³ Там же.
- ⁴⁴ Там же.
- ⁴⁵ Там же.
- ⁴⁶ Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. М., 1966, с. 8.
- ⁴⁷ Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1981, с. 409 (далее — Рыбаков Б.А. Язычество древних славян).
- ⁴⁸ Немировский А.И. Мифы древней Эллады. М., 1992, с. 57-60.
- ⁴⁹ Рыбаков Б.А. Язычество древних славян, с.377.
- ⁵⁰ Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. М., 1988, с. 154 (далее — Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси).
- ⁵¹ Там же.
- ⁵² Там же.
- ⁵³ Рыбаков Б.А. Язычество древних славян, с.377.
- ⁵⁴ Там же, с. 420.
- ⁵⁵ Мельников-Печерский П.И. В лесах.

- Т. 2, М., 1937, с.363.
- ⁵⁶ Там же.
- ⁵⁷ Рыбаков Б.А. Язычество древних славян, с.379.
- ⁵⁸ Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси, с. 154.
- ⁵⁹ Афанасьев А.Н. Указ. соч., с. 442-443.
- ⁶⁰ Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси, с. 323.
- ⁶¹ Рыбаков Б.А. Язычество древних славян, с.378.
- ⁶² Там же.
- ⁶³ Мельников-Печерский П.И. Указ. соч., с. 363.
- ⁶⁴ Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2, М., 1956, с. 176 (далее — Даль В.И. Толковый словарь).
- ⁶⁵ Грейвс Р. Мифы древней Греции. М., 1992, с.75.
- ⁶⁶ Былины. Т. 2, М., 1958, с. 50-57.
- ⁶⁷ Былины Севера. Т. 1, М.-Л., 1938, с. 586.
- ⁶⁸ Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси, с. 355.
- ⁶⁹ Там же.
- ⁷⁰ Там же, с. 594.
- ⁷¹ Там же, с. 341.
- ⁷² Мельников-Печерский П.И. Указ. соч., с. 364.
- ⁷³ Афанасьев А.Н. Указ. соч., с. 442.
- ⁷⁴ Даль В.И. Толковый словарь. Т. 2, с. 176.
- ⁷⁵ Сл. РЯ XI-XVII вв. Вып. 7, с. 371.
- ⁷⁶ Рыбаков Б.А. Язычество древних славян, с.378.
- ⁷⁷ Ткаченко О.Б. Мерянский язык. Киев, 1985, с. 55-56.
- ⁷⁸ Рябинин Е.А. Костромское Поволжье в эпоху средневековья. Л., 1986, с. 106-107.
- ⁷⁹ Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 2, М., 1987, с. 349.
- ⁸⁰ Титов А.А. Материалы для истории Императорского общества истории и древностей Российских. Переписка гг. действительных членов общества. Биографический очерк протоиерея Михаила Диева с приложением его писем И.М. Снегиреву. 1830-1857 гг. М., 1909, с. 77.
- ⁸¹ Там же.
- ⁸² Костромские губернские ведомости. 1854, №4, ч. неоф., с. 24.
- ⁸³ Нефедов Ф.Д. Этнографические наблюдения по Волге и ее притокам. // Древняя и новая Россия. 1878, №5, с. 86.
- ⁸⁴ Там же.
- ⁸⁵ Сырцов И. Две недели с чудотворною Феодоровскою иконою Божией Матери в г. Галиче в 1904 г. // Костромские епархиальные ведомости. 1905, №20, отд. неоф., с. 604.
- ⁸⁶ Упраздненные монастыри Костромской епархии. М., 1909, с. 16.

ПОСТАТЕЙНАЯ РОСПИСЬ КОСТРОМСКОГО КРЕМЛЯ 1678 ГОДА

Публикуемая ниже “Постатейная роспись Костромского Кремля 1678 года” — уникальный исторический источник, сохранивший для нас подробнейшее описание Костромского Кремля, каким он пребывал в последней четверти XVII века. Роспись была выявлена в 1976 году А.А. Григоровым в Государственном архиве Костромской области в фонде Костромской губернской ученой архивной комиссии. Роспись никогда не публиковалась и практически не служила объектом изучения историками (единственное исключение — это написанная на основании Росписи небольшая статья В.С. Соболева о Костромском Кремле, опубликованная в 1983 году). Во время пожара областного архива в 1982 году Роспись (ГАКО, ф. 558, оп. 2, д. 135) сгорела, но, к счастью, у А.А. Григорова осталась ее копия, которую в свое время переписал автор этих строк.*

1787 (1679 г.) года сентября в “ *** день.

По Государеву, цареву и великого князя Федора Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белья России самодержца указу и по грамоте из разряда стольник и воевода Андрей Ларионович Тушин и подьячий Григорий Ощипов учинили именную роспись, что на Костроме дворян и детей боярских отставных, и стрельцов, и пушкарей, и разсылщиков посацких, и всяких чинов жильцов, и иных всяких чинов людей дворников, и их детей, и братьей, и племянников, и свойственных людей, и зятьев, и приемышей, и соседей, и подсоседников, и захребетников, и что у них каковы ружья и пищали

* Соболев В. Костромской кремль // Краеведческие записки. Костромской государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник. Вып. 3, Ярославль, 1983, с. 50-57.

** Число не указано.

всякого боя, и кто на Костроме губные старосты и городские приказщики, и в приказной избе кто подьячие и с которого году и по какому указу кто сидит, и каков в Костроме город, и что в городе проезжих ворот и глухих башен и иных крепостей, и какова которая башня мерою и что в башнях, и что в городе стен мерою сажень, и каковы тайники, колодези и что в Костроме какова наряду которая пицаль мерою и поскольку к которой пицали ядер и сколько пуд зелья ружейного и пушечного и свинцу.

И то все писано в сих тетрадах порознь по статьям.

* * *

На Костроме среди города башен рубленых:

В старом городе Спасская башня о шести стенах с проезжими воротами, была с караульным чердаком. Ширина башни шесть сажень без четверти, вверх от земли до зубцов облома шесть сажень шатра, от зубцов до караульного чердака пять сажень. Караульный чердак до яловчины был три сажени с полсаженью и на той башне чердак бурею сломило и шатер раскрыло.

Да против тех Спасских ворот через ров горбатой мост в длину моста двадцать две сажени, поперек четыре сажени без четверти. В вышину изорва до мосту по четыре сажени. А по сторонам того моста во рву в Новом городе подле стен Старого города воды в длину тридцать сажень, а поперек в широком месте восемь сажень, а в глубину одна сажень без локтя. И та вода в летнюю и зимнюю пору бывает без переводу.

Спасский мост починован в прошлом 185 году.

А от Спасской башни до средней Глухой башни прясла сорок восемь сажень без четверти. Город рубленый с боями и с катками и покрыт был тесом мерою от земли до зубцов и с обломом три сажени.

Башня Средняя, глухая осьми стен, ширина башни четыре сажени и одна четверть. Вверх от земли до зубцов и с обломом шесть сажень без полу четверти ширина от зубцов и до яловчины четыре сажени без полчетверти.

От Средней глухой башни по Наугольную Воскресенскую башню прясла сорок восемь сажень.

Башня Наугольная Воскресенская осми стен с караульным чердаком, ширина башни пять сажень, вверх от земли до зубцов и с обломом шесть сажень без полчетверти, от зубцов до караульного чердака четыре сажени с четвертью. Караульный чердак до яловчины две сажени с полсаженью, а караульный чердак поломан бурею.

А от Наугольной башни до Ильинских ворот большая стена прясло сорок три сажени с четвертью.

Башня Ильинская с проезжими воротами о шести сажень с карауль-

ным чердаком, ширина башни четыре сажени с половиною, вверх от земли до зубцов с обломом шесть сажени с четвертью. От зубцов до караульного чердака две сажени. Караульный чердак пошибло бурено. Да против же Ильинских ворот с башнею через ров мост шестнадцать сажени с половиною в длину, а поперек четыре сажени. А в вышину ото рва четыре сажени и тот мост в нынешнем году починен уездными людьми.

А от Ильинской воротной башни по Богословскую башню городской стены пряслами сорок три сажени с половиною.

Башня Богословская, глухая об осми стенах шириною башня четыре сажени и три четверти, вверх от земли до зубцов с обломом шесть сажени без четверти, шириною от зубцов до яловчины четыре сажени без полчетверти.

А от Богословской глухой башни до Вознесенской башни прясла пятьдесят семь сажени с четвертью.

Башня Вознесенская осми стен с караульным чердаком, ширина башни четыре сажени с полусаженью, вверх от земли до зубцов и с обломом шесть сажени с полсаженью, ширина от зубцов до караульного чердака три сажени с полсаженью. А от этой наугольной Вознесенской башни до воротной башни прясла двадцать пять сажени и обруб.

Башня проезжая воротная, слывет Водяная о четырех стенах с проезжими воротами, шириною башня пять сажени без четверти, вверх от земли до зубцов и с обломом восемь сажени без четверти, шатер и караульный чердак в прошлом 179 году сломаны ветром.

У той башни мост к реке Волге, длина моста шесть сажени, поперек две сажени с четвертью. А вешняя вода того моста понимает до половины и от чего мост рушится. Да под тем же мостом труба спускная для воды, засыпалась землей.

А у той воротной водяной башни до средней башни на обрубе прясла двадцать восемь сажени с четвертью. Обруб под той башней сгнил и земля из под стены сыплется и башня и стена к Волге пошатнулася.

Средняя глухая башня, что на обрубе, осми стен, ширина башни четыре сажени, вверх от земли до зубцов с обломом пять сажени без четверти, ширина от зубца до яловчины пять сажени без четверти, да подле той башни труба спускная.

А от средней глухой башни до наугольной башни, что на обрубе против рыбного ряда прясла двадцать девять сажени.

Башня наугольная, что на обрубе, против рыбного ряда об осми стенах с караульным чердаком, ширина башни четыре сажени с четвертью. Вверх от земли до зубцов и с обломом шесть сажени без четверти. Ширина от зубцов до караульного чердака и до яловички две сажени с половиною.

А от той башни по Тайничную башню прясла двадцать две сажени.

Башня Тайничная о шести стенах, ширина башни пять сажен, вверх от земли до зубцов с обломом семь сажен без четверти. Ширина от зубцов до яловички четыре сажени с половиной.

Да под той башней тайник, от башенной решетки в длину тайника до тайничного колодца семь сажен с четвертью, поперек в широком месте три сажени с четвертью. Да в той тайничной башне в узком месте две сажени от той подошвы до верху полторы сажени.

Тайничный колодец мерою в длину две сажени с половиною, поперек сажень с четвертью. Около того тайничного колодца к углу кругом полторы сажени, а сверху до воды аршин будет ходу.

Из этого тайничного колодца идет вода в две трубы великого государя в (...) сад, а кругом того сада идет в реку Волгу. Да тот тайник сгнил, потолок и стены рушатся и земля сверху сыплется.

А от Тайничной башни по Чудовскую башню прясла семнадцать сажен с половиной.

Башня Чудовская осми стен, с караульным чердаком, ширина башни четыре сажени с половиной, вверх от земли до зубцов шесть сажен с полусаженью. Шатра до караульного чердака три сажени. Караульного чердака до яловички две сажени.

А от Чудовской башни до Пречистенской башни прясла шестьдесят пять сажен без четверти.

Башня Пречистенская осми стен ширина башни пять сажен, вверх от земли до яловички четыре сажени без четверти.

А от той Пречистенской башни до Спасской воротной башни прясла семь сажен. Всего в старом городе три башни с проезжими воротами, да пять башен с караульными чердаками, да пять башен глухих. По всему городу кровлю бурею раскрыло и на башнях доски бурею же выломил.

А от старого города от Спасских ворот до Волги реки Нового города по Никольскую башню прясла пятьдесят четыре сажени.

Башня Никольская с проезжими воротами и с караульным чердаком о шести стенах. Ширина башни шесть сажен с половиной, вверх от земли до зубцов и с обломом семь сажен с полусаженью. Шатер от зубцов до караульного чердака до яловички четыре сажени. Да подле той башни сделана труба для вешней воды. Да у той башни изба караульная. А на против той Никольской башни через ров мост в длину семнадцать сажен, поперек шесть сажен, вышина от рву две сажени и тот мост в нынешнем 186 году починен уездными людьми.

А от той Никольской башни по среднюю глухую башню, что против каменного ряда, прясла сорок две сажени.

Башня глухая, что напротив каменного ряда осми стен, в ширину пять сажен, а от глухой башни до Предтеченской прясла сорок четыре сажени.

Башня Предтеченская осми стен с караульным чердаком, ширина башни четыре сажени, вверх от земли до зубцов и с обломом шесть сажен с четвертью. Шатра от зубцов до караульного чердака две сажени с полусаженью. От караульного чердака до яловчины две сажени с половиной же.

А от Предтеченской башни до Никольской глухой башни прясла шестьдесят три сажени с четвертью.

Башня Никольская глухая, осми стен, ширина башни четыре сажени с четвертью, вверх от земли до зубцов (...) от зубцов до яловчины четыре сажени.

А от той глухой Никольской башни по Предтеченскую воротную башню прясла двадцать восемь сажен.

Башня Предтеченская о шести стенах, с проезжими воротами, с караульным чердаком, ширина башни пять сажен без четверти, вверх от земли до зубцов и с обломом шесть сажен, шатра до зубцов до караульного чердака три сажени, караульного чердака до яловички три сажени без четверти.

Да против тех Предтеченских ворот через реку мост, в длину десять сажен, поперек четыре сажени, от земли до мосту высота две сажени.

А тот мост в прошлом 186 году построен новый посадскими людьми.

Башня средняя, глухая Настасьинская об осми стенах, ширина башни четыре сажени с четвертью, вверх от земли до зубцов и с обломом шесть сажен без четверти, шатра от зубцов до яловички четыре сажени.

А от той башни глухой Настасьиной до Наугольной Рождественской башни прясла сорок восемь с половиной сажен.

Башня наугольная Рождественская о осми стенах, с караульным чердаком, ширина башни пять сажен без четверти, вверх от земли и с обломом пять сажен без четверти, шатра от зубцов до караульного чердака три сажени. От караульного чердака до яловчины три сажени с половиной.

А от той наугольной Рождественской башни до глухой башни, что против Исаковой улицы прясла тридцать девять сажен с половиной.

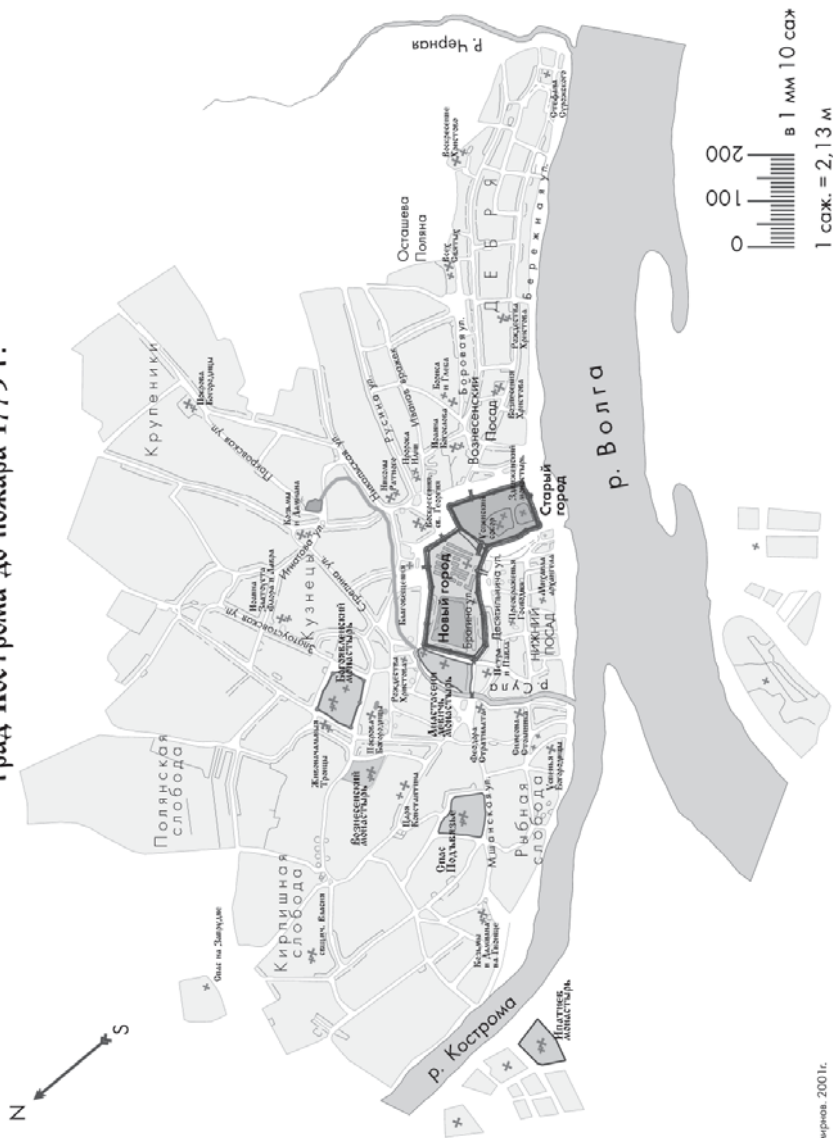
Башня глухая, что против Исаковой улицы об осми стен, ширина башни четыре сажени с четвертью, вверх от земли до зубцов и с обломом шесть сажен без четверти. Шатра от зубцов до яловчины четыре сажени.

А от той глухой башни до другой глухой башни, что от мясного ряда прясла тридцать девять с половиной сажен.

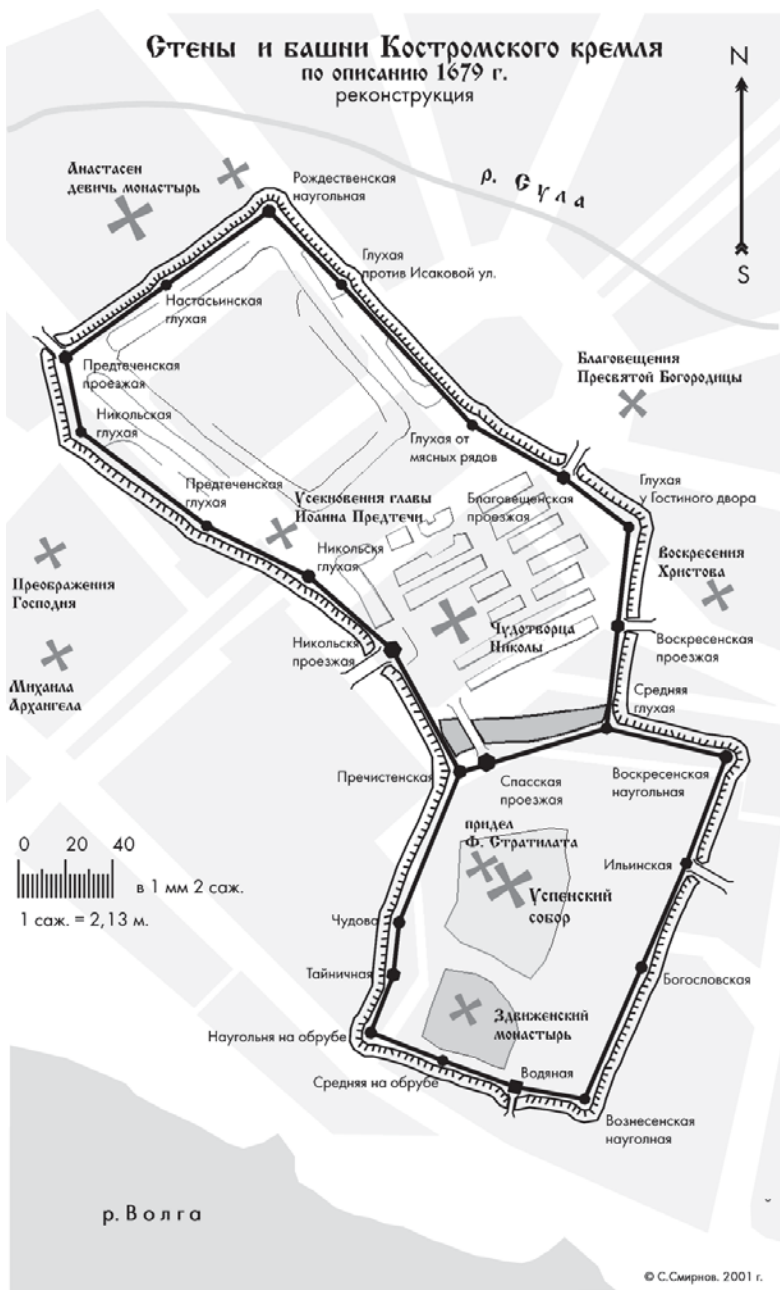
Башня глухая, что от мясных рядов об осми стенах, шириной четыре сажени с четвертью, от земли до зубцов и с обломом шесть сажен без четверти. Шатра от зубцов до яловчины четыре сажени.

А от той глухой башни до Благовещенской воротной башни прясла со-

град Кострома до пожара 1773 г.



Постатейная роспись Костромского кремля



рок сажен без четверти.

Башня Благовещенская с проезжими воротами и с караульным чердаком, шести стен, шириной пять сажен без четверти, вверх от земли до зубцов и с обломом пять сажен, шатра от зубцов до караульного чердака три сажени с половиной. Караульный чердак в 186 году сломало бурей.

А от той башни через ров мост в длину десять сажен, поперек четыре сажени, от земли высота две сажени. Мост сгнил.

А от Благовещенской воротной башни до средней глухой башни, что у Гостиного двора прясла тридцать одна сажень без четверти.

Башня средняя, глухая, что у Гостиного двора об осми стенах ширина башни четыре сажени с четвертью, вверх от земли до зубцов и с обломом шесть сажен без четверти, шатра от зубцов до яловчины четыре сажени.

А от той глухой башни до Воскресенской воротной башни прясла тридцать восемь сажен с половиной.

Башня Воскресенская о шести стенах с проезжими воротами и с караульным чердаком, ширина башни пять сажен, вверх от земли до зубцов и с обломом пять сажен без четверти. От зубцов до караульного чердака три сажени, а у той башни изба караульная. Да против тех же Воскресенских ворот через ров мост в длину семь сажен, поперек четыре сажени без четверти от земли до моста высота две сажени.

А от той Воскресенской воротной башни до Старого города прясла через ров сорок сажен.

А всего в Новом городе четыре башни с проезжими воротами и с караульными чердаками, да две башни с караульными чердаками, да шесть башен глухих. И всего в Новом городе воротных, с караульными чердаками и глухих башен двенадцать. Да в Новом городе на посадских пяти дворах пять колодцев, а шестой колодец мирской. Старого Кремля города по мере кругом в пряслах и башнях пятьсот сорок девять с половиной сажен. И в том городе на воеводском дворе поставлен новый колодец посадскими людьми. Нового города по мере кругом в пряслах шестьсот десять сажен.

* * *

А что в Костроме городского наряду и в прошлых годах про тот наряд в сметных списках писано, против росписных списков прежних воевод. А прошлом в 185 году по указу великого осударя и грамоте из Пушкарского приказу, стольник и воевода городской наряд досматривал и перевешивал сколько в которой пищали весу пуд и что мерою коя пищаль и что к которой ядер, и по скольку гривенок на ядро.

А по осмотру на Костроме городского наряду:

Пищаль медная длиной 4 аршина, вес 18 пудов.

Постатейная роспись Костромского кремля

Пищаль медная длиной 2 аршина без трех вершков, весом 11 пудов, а по кружалу у тех двух пищалей ядро по два фунта, а по счету тех ядер к тем пищалам 83 ядра.

Пищаль медная, по подписи “Кашевар” длиной три аршина с вершком, весом 24 пуда.

Пищаль железная кованая длиною пять аршин весом 36 пудов, а по кружалу у двух пищалей медной и железной ядра по четыре фунта, а по счету 60 ядер.

Пищаль медная длиной три аршина, вес 16 пудов.

Пищаль медная длиной три аршина, вес 10 пудов и две четверти. Ядер к ним нет.

Пищаль медная весом 10 пудов, длиной три аршина.

Пищаль медная длиной два аршина с четвертью, весом девять пудов без четверти.

Восемь пищалей “Волконеек”, весом по четыре пуда.

Девять пищалей “Волконеек” весом по три пуда.

А у тех двух пищалей медных и у 12-ти пищалей “Волконеек” по кружалу ядро по полфунта, а по счету тех полуфунтовых ядер 432.

Пищаль же кованая, грановитная длиной три аршина пять вершков, весу 14 пудов. По кружалу ядро три фунта, а по счету ядер тех 73.

Три тюфяка железных кованых весом по четыре пуда, а тех тюфяков ядер нет.

Четыре ствола затяжных железных, а у них замков и ядер нет. А того городского наряду, медных и железных 9 пищалей в старом городе стоят в проезжих воротах на станках. А станки окованы, а у иных станков колеса попортились.

Пищали “Волконейки” и тюфяки и затяжные стволы и ядра лежат около Соборной церкви. А иной городской наряд — места, где тому наряду быть — не построено. А тот городской наряд, медные и железные пищали к стрельбе годятся и изнутри все ли они в целости ль — того не ведомо. От многих лет и от пожарного времени, как Кострома в прошлом 162 году сгорел и от того времени тот городской наряд не чищен и в тех пищалах пыли из земли насорило. А железные пищали все заржавели и чистить тот наряд некому. Пушкарей только два человека, а государева жалованья им не идет. А костромские посадские и уездные люди без указа великого государя того городского наряду не чистят.

И в соборной церкви свинцу сорок пуд и две четверти и семь гривенок.

Да у костромского посадского люда городского наряду 15 пищалей “Волконеек”, 25 пищалей затяжных и 136 мушкетов.

И в старом городе зеленой каменный погреб, крытый драпьем. Двери у

него железные и у окон решетки и затворы железные. Перед погребом вверх свод обрушился и впереди одна стена и над нею свод обрушился. Это полое место покрыто тесом и присыпано землею. В погребе зелья ручного и пушечного было десять бочек. Весом того пороху и с деревом 89 пудов. И в прошлом 184 году по указу великого государя и по грамоте из Пушкарского приказу тот порох перетрухиван и по перетруске наголо оказалось ручного 30 пудов и две четверти, да пушечного 42 пуда и две четверти.

В приказной избе неоплатных доходов с каких памятей с крепостных и купчих дел в 185 году 23 рубля 5 копеек, а в расходе 23 рубля 10 денег. И те деньги идут в расход в приказную избу на свечи, и на бумагу и на чернила и на дрова.

И которые дворяне присланы на Кострому для государева дела и им велено давать по государевым грамотам на свечи бумагу и чернили. И из приказной избы и по государеву указу от Костромы до Москвы прогоны.

За городом на берегу реки Волги 12 амбаров хлебных стоят пустые. Запасу хлеба в Костроме нет.

В Костроме губных старост два: Петр Ратьков, Михаил Иванов Голчин.

Публикация Н.А. Зонтикова.

Л.А. Колгушкин

ВОСПОМИНАНИЯ

Во 2-4 выпусках нашего альманаха была помещена “Костромская старина” Леонида Андреевича Колгушкина (1897-1972 гг.) — подлинная энциклопедия быта и нравов Костромы начала XX века. С этого выпуска начинаем публикацию другого большого труда Л.А. Колгушкина — его “Воспоминаний”, являющихся как бы второй частью “Костромской старины”. Однако, если в “Старине” повествование о старой Костроме велось отвлеченно и личность рассказчика прямо была не видна, то в “Воспоминаниях” давно ушедшая жизнь города проходит перед нами в рассказе о судьбе самого автора и его близких. В этом выпуске помещается начальная часть “Воспоминаний”, посвященная детству и юности Л.А. Колгушкина.

Редколлегия “Костромской земли” благодарит вдову Леонида Андреевича — Елену Ивановну Колгушкину, любезно предоставившую в наше распоряжение текст “Воспоминаний”, который мы и предполагаем опубликовать с некоторыми сокращениями.

Когда человеком прожита большая часть жизни, когда его возраст перешагивает за 50-60 лет, он невольно оборачивается на пройденный жизненный путь и начинает анализировать свое прошлое.

Так ли он прожил лучшие свои годы?

А может быть, надо было жить по-иному?

И вот в памяти этап за этапом проходит всё пережитое.

Человеческая память хороша тем, что она ярче сохраняет в мозгу хорошее и затушёвывает все жизненные трудности, неприятности, острые горя. “Время излечит”, — как часто говорят люди.

Людям моего поколения вышла на долю тяжёлая, полная неожиданностей жизнь. Я пережил три революции, три больших войны, ломку старо-

го империалистического строя, переоценку всех ценностей и живу сейчас при социализме, а поэтому мне есть о чём рассказать в письменной форме.

Я — не писатель. Я не написал ни одного произведения ни прозой, ни поэзией, кроме служебных бумаг, циркуляров, отчётов, приказов, инструкций и небольших газетных статей и заметок, — а потому намеченные мною воспоминания, конечно, будут иметь литературные шероховатости. Я утешаю себя тем, что пишу это не для широкого круга читателей, а только для себя и своего потомства, если оно пожелает и найдёт время заглянуть в эти строки.

За всю свою жизнь я не совершил ни одного героического подвига на полях битв, мне не пришлось бороться за высокие удои молока или показательные привесы молодняка. Жизнь, как бурное море, бросала меня из одной профессии в другую. Я был офицером, чернорабочим, краскомом, сотрудником милиции, и, наконец, житейское море выбросило меня на скромный мирный берег учительской работы, которой я посвятил более 30 лет. Могу только сказать, что за всю мою долгую жизнь я сознательно не совершил ни одного неблагоприятного поступка, не причинил ни одному человеку не заслуженной им неприятности. Всю свою жизнь я жил для людей, для общества, для своей семьи.

Сейчас я не у дел. Я получил заслуженный отдых, обеспечен государством самой большой для “простых смертных” пенсией, а главное — имею много свободного времени, чтобы много читать, мыслить, писать, пока ещё позволяет здоровье, зрение и память.

Очень трудно писать о себе. Читая мемуары великих и замечательных людей, где они почти все указывают, что самое трудное — это описывать свою личную жизнь, я этому как-то не верил. Сейчас же я убедился, что всё это именно так. Каждый мемуарист как бы раскрывает перед людьми свою душу. Кроме того, он должен писать объективно, правдоподобно и без прикрас.

Мне несколько легче писать потому, что большинство людей, с которыми мне приходилось сталкиваться на своём жизненном пути и которые имели то или иное влияние на мою жизнь и на формирование моего характера, уже завершили свой жизненный путь — потому я буду называть их подлинные фамилии и имена. В исключительных случаях ныне живущих посторонних людей буду обозначать инициалами. Названия улиц, площадей и различных предприятий, существовавших в дореволюционное время, буду называть по-старому с выноской на поля новых названий*.

Я родился 21 августа ст.ст. 1897 года в городе Ярославле, в небольшом каменном двухэтажном доме, на углу Власьевской и Духовской улиц

*Названия даются в круглых скобках. (Прим. ред.)

(ул. Свободы и Республиканской). Этот дом существует и поныне. Когда спустя сорок лет, обучаясь заочно в Ярославском педагогическом институте, во время очных сессий проходил мимо этого дома, я всегда вспоминал эти места, где получил право на жизнь.

Говорили, что я родился полуживым, так как был при рождении задушен пуповиной и так называемой “сорочкой”. Только благодаря опытности акушерки, через 40 минут удалось получить мой первый вздох. Мама впоследствии говорила, что отец был очень рад рождению мальчика и плакал навзрыд, умоляя акушерку: “Спасите мальчика!” Видимо, хороший массаж и ванны, а также изрядное моё здоровье побороли, и я издал первый басистый крик. При рождении весил я слишком двенадцать фунтов. У родителей я был шестым ребёнком, а из живых — вторым. Во время моего рождения отцу — Андрею Ивановичу — было 36 лет, а матери — Лукии Денисовне — 32 года, следовательно, они в то время были в полном расцвете сил.

Отец работал управляющим пивным складом известных ярославских пивоваров Дурдина и Адамца. Во дворе дома были склады, в нижнем этаже дома — пивная, а вверху — наша квартира. В настоящее время в этом доме находится продовольственный магазин.

С моим рождением нас, детей, стало двое. Кроме меня, была старшая сестра Женя, 9 лет, которая готовилась к поступлению в гимназию.

Недолго пришлось мне жить в Ярославле. Моего отца по его просьбе перевели в Кострому. На берегу реки Волги, на Набережной улице, как раз против пристани обва “Самолёт”, в небольшом двухэтажном каменном здании, рядом с богадельней, по воле ярославских хозяев была открыта гостиница под громким названием “Волна”, а также пивной склад. Отец в основном всё время находился на складе, а мать за буфетом в чайной, которая



*Отец и мать Л.А. Колгушкина.
Петербург. 1886 г.*

была излюбленным местом парходских команд, волжских грузчиков и извозчиков-татар. В верхнем этаже были несколько номеров и отдельно наша квартира. Какова была эта квартира и её расположение — я не помню, мал был. Вскоре у меня появился братишка Володя, который был моложе меня на год с небольшим.

Помнить себя я стал на четвёртом году. Первое, что мне запомнилось на всю жизнь — это ясное весеннее утро, тающий снег, ручейки. Я стою среди обширного двора, около большой помойной ямы и детской лопаткой прокапываю канавку для ручейка. Большой красный петух с красивым чёрным хвостом взлетает на помойную яму, взмахивает крыльями и громко поёт. Я им запобовался. Подальше, около конюшни, кучер чистил лошадей и оттуда доносился запах конюшни, который остался приятен мне на всю жизнь. Меня с самого раннего детства влекли к себе лошади. В распоряжении отца были две рабочие лошади гнедой масти — Машка и её дочь, Зорька. Надо сказать, что отец был страстный любитель лошадей и эта страсть, видимо по наследству, передалась и мне. Не было дня, чтобы я по несколько раз не заходил в каретный сарай и в конюшни, чтобы погладить мягкие губы лошадок.

Помню, у той же помойной ямы, которая являлась любимым местом для сборища всех детей этого двора, я увидел, что двое татарских мальчиков что-то едят. Я спросил: “Что вы кушаете?”

— Конскую колбасу, — отвечали те.

— Дайте мне попробовать.

Я, конечно, был сыт, но хотел узнать, что такое конская колбаса. Один мальчик отломил кусочек. Я съел — с каким аппетитом, не помню — но, прибежав домой, сказал маме, что теперь стал татариним. “Почему?” — спросила мама. — “Я ел конскую колбасу”. Конечно, мама меня отругала за то, что я взял и ел колбасу из чужих грязных рук и теперь заболел животом. Я не заболел, и всё прошло благополучно.

У нас была няня Пелагея, женщина уже лет под сорок, которая вначале водилась со мной, а потом с нами обоими. Меня очень удивляло, что няня Пелагея никогда не ела мяса и мясного. Она отвечала, что дала зарок не есть мясного до смерти, после того как умер её муж. “А что такое зарок и кому ты его дала?” — спросил я. “Зарок — это обещание, а дала я его Богу” — отвечала она. “А ты поешь, Бог ничего не узнает”. — “Бог всё знает и всё видит”. После этого меня очень заинтересовало, что такое Бог, где он живёт и нельзя ли его увидеть. Я получил исчерпывающие ответы, которые меня вполне удовлетворили.

Помню в нашей детской большую красивую икону в богатом киоте и висящую перед ней на золочёных цепях большую красную лампадку, которую зажигали вечером в субботу и в воскресенье. Перед этой иконой нас

заставляли молиться ежедневно утром и на сон грядущий. Мама или няня читали вслух молитвы, а мы должны были креститься и кланяться. Мы засыпали под сказки или тихое монотонное пение няни Пелагеи.

Сестра Жёня жила в другой комнате, и в эти годы я представляю её очень плохо. Я знал, что она учится в гимназии, а вечерами готовит уроки. С нами она почти никогда не бывала.

Зимой и летом мы очень много гуляли с няней по Набережной. Против нашего дома, на горке, стоял целый ряд деревянных торговых полков со всевозможными продовольственными товарами. Тут продавались различные сладости, фрукты, красивые шоколадные бомбы и разные шоколадные фигурки, монпансье в металлических коробочках, копчёная вобла, колбасы, сыры, селёдки, сдобные булочки, баранки, бутерброды и пр. Особенно привлекателен был запах смеси фруктов, копчёностей и ещё чего-то, страшно аппетитного. Нередко мама давала няне денег и та покупала нам фрукты или бутерброды с зернистой икрой, которые мы очень любили.

Сделав закупки в ларьке Котова, мы направлялись на Маленький бульварчик. В корзиночке у няни всегда была бутылка с фруктовым квасом, чашечки и что-нибудь из домашнего печенья. Там на лужке мы играли, лазая по горе, закусывали и возвращались домой только к обеду.

Мы очень любили гулять по самому берегу Волги, заходить на приста-



Малый бульвар. Фото начала XX в.



На пристани в центре Костромы. Фото нач. XX в.

ни и любоваться пароходами, которых в то время было очень много, и все они отличались чрезвычайно громкими свистками, по которым можно было определить даже название парохода. По берегу стояло не менее восьми пристаней, причём каждая из них отличалась от другой цветом своей окраски, в соответствующий цвет были окрашены и пароходы. Так, об-ва “По Волге” были белые, самолётские — розовые, об-ва “Русь” — оливковые и т.д.

Больше всего нас, детей, интересовали, так называемые, американские пароходы об-ва “Зевеке”. Эти были большие, белые, с деревянным корпусом пароходы, с двумя высокими трубами и огромным задним колесом. Помню некоторые их названия, как-то: “Амазонка”, “Миссисипи”, “Алабама”, “Миссури”. Несколько позднее появились уже более усовершенствованные, с одной трубой, но также с задним колесом. Названия их соответствовали драгоценным камням: “Алмаз”, “Изумруд”, “Топаз”, “Бирюза” и пр. Все эти пароходы отличались тем, что были самые тихоходные и самые дешёвые. Они были товаро-пассажирские. Груз помещался в трюмах, а на нижней палубе возили скот. Это-то нас, детей, и влекло к ним. Мы любовались огромными быками, коровами, телятами, овцами и особенно лошадьми. Рогатый скот в основном возили для убоя, а лошадей — для продажи на конных ярмарках.

Помню один трагический случай, который мне впервые в жизни пришлось наблюдать. Дело было летом, после дождя. Грузчики на седелках но-

силы по трапам большие бутылки с серной кислотой. Один из них поскользнулся, бутылка лопнула, и он оказался весь облит кислотой. Несчастный сразу же бросился с мостков в воду, страшно крича от боли и испуга, но вскоре упал и был вытаскен из воды уже замертво. Я очень напугался, и мне было чрезвычайно жаль человека. Я сильно заплакал. После этого случая, под этим впечатлением, я ещё долго задавал вопросы няне и родителям: “Почему грузчики в лаптях, почему они носят такие большие тяжести и почему они так плохо одеты?” В том возрасте это слово “почему” было самым употребимым — ведь я вступал в человеческое общество и знакомился с окружающим меня миром. (В то время я не предполагал, что через 18 лет с такой же седелкой и крюком я буду бегать с тюками и мешками по таким же трапам и мосткам). Иногда это “почему” доходило до комизма. Так я, видя старух-нищих или опекаемых в соседней женской богадельне, — спрашивал няню: “Где рождаются такие страшные и злые бабушки и почему дедушки не такие?” И я не верил, что они были такие же маленькие и потом молодые: “А я думал, что бабушки рождаются от Бабы-Яги сразу старыми”.

Зимы мы также проводили нескучно. Нас одевали в синие суконные поддёвки, подпоясывали красными кушаками, на головах были чёрные меховые шапки-ушанки, а на ногах чёрные валенки. Оба брата были одеты совершенно одинаково.

Затихала летняя суета на Волге. Пристани уводились в затон реки Костромы, пароходы уходили куда-то вниз по Волге — вероятно в Нижний Новгород, — издавая печальные, продолжительные прощальные свистки, торговые полки закрывались, за исключением двух-трёх. Река покрывалась прочным ледяным покровом. Все скрывалось под белым снежным пологом.

Первые годы настоящего столетия отличались очень суровыми зимами. Морозы временами доходили до 40-45° по Реомюру. Нередки были случаи, когда птицы мёрзли на лету.

Мы и зимой находили себе развлечения: катались на санках с берега прямо на лёд, во дворе делали снежных баб и крепости. Далеко от дома нас не водили. Посещение Маленького бульварчика прекращалось до весны. Рано наступал вечер. В тёплой детской комнате, при свете маленькой керосиновой лампы, мы придумывали различные игры. У нас было много игрушек, но больше всего нам нравился детский мебельный гарнитур, состоящий из маленького столика, двух стульев и небольшой скамеечки, разрисованный орнаментом в древнерусском стиле в чёрный, красный и золотой цвета. Из игрушек преобладали жестяные заводные велосипедисты, конки, волчки, а также кубики с картинками, из которых мы строили дома, пирамиды, арки и пр. Не обходилось и без ссор, причём братишка Володя, несмотря на то, что был моложе меня, своим громким криком и капризами



*Мать, сестра Женя,
брат Володя (на руках) и
маленький Леонид (с конем).*

всегда брал верх, а я, по скромности, отступался. За это мама меня не поощряла, а называла увальнем и тряпкой. Надо сказать, что уже в том возрасте я был крутленьким здоровяком, с весьма приличным неразборчивым аппетитом, немного флегматичным. Я никогда не бывал сильно возбуждён, не капризничал и не любил особенно шумных игр. Володя же был худощав, разборчив в пище, подвижен, капризен и эгоистичен. Два брата, но противоположны по конституции и темпераменту. Я был больше похож лицом на маму, а Володя на отца. Я был любимцем отца, а он матери, но эти симпатии родителей мало были заметны нам, детям, и мы от этих отношений буквально никак не страдали.

Особенно у меня сладки остались в памяти воспоминания о поздних вечерних часах, когда время

приближалось ко сну. Няня Пелагея бесхитростно рассказывала нам сказки о Мальчике-пальчике, Бабе-Яге, о Бове-королевиче, который играл на гуслях, привлекая к себе зверей и птиц, про богатырей и злых людоедов.

Родители мои были всегда очень заняты и мало уделяли внимания нашему воспитанию. В основном их забота выражалась в том, чтобы нас поприличнее одеть и хорошо накормить.

Ещё одно приятное воспоминание осталось в моей памяти от жизни на берегу Волги — это весенний ледоход. Это была величественная картина... С первыми весенними лучами лёд на реке начинал синеть, быстро увеличивались закраины, вода прибывала с каждым часом и Волга разливалась в ширину. Наконец наставал момент, когда лёд с верховьев Волги наступал и проталкивал стоящий внизу лёд. Начинаясь треск, льдины крошились, напирая одна на другую, образуя торосы и даже целые ледяные горы, которые с грохотом рушились в воду. Треск и шум всё более и более усиливались, если впереди образовывался затор. Это всегда бывало на перекате у Татарской слободы. Ледоход, ничем не сдерживаемый, продолжался не менее двух суток. Чего только ни несло на льдинах. Я видел собаку вместе с её конурой,

живого петуха на смьгом сарае. Говорят, нередко были случаи, когда мимо города проносило на льдинах людей, которых при полном ледоходе спасти было очень трудно. Надо отдать справедливость, что в таких случаях для спасения утопающих, рискуя собственной жизнью, татары слободы всегда выезжали на собственных лодках с баграми, верёвками и шестами и снимали со льда утопающих. Ведь все они были коренные волгари, многие кормились Волгой, работая на пароходах и баржах. Весна и ледоход для них были источником дохода — они вылавливали плывущую древесину и на весь год обеспечивали себя топливом. Большую прибыль давала и рыба.

Стихийный ледоход свободной Волги, не зависимый от искусственно созданных пут, которыми в настоящее время обуздали Волгу, как-то: Рыбинское и Костромское моря, плотины и шлюзы ниже Костромы, а также железнодорожный мост — укротили бурный разлив реки и в то же время лишили горожан чудесной картины этого могучего проявления природных сил нашей матушки Волги.

Недолго было наше проживание на берегу красавицы реки. Мой отец начал прихварывать, пошли какие-то тяжбы с хозяевами, и ему пришлось отказаться от работы. Предприятие это по воле хозяев было ликвидировано.

В это время на Ивановской улице уже достраивался наш собственный дом, в который мы и переехали в конце 1901 года.

(...)

Я знал, где эта Ивановская улица и где строится наш дом, так как почти каждый день ходил с отцом на стройку. Как раз в то же время наискосок строился такой же деревянный дом, в котором предполагалось открыть школу для девочек и назвать ее епархиальным женским училищем. Заглядывал я и туда. Земля под наш дом была куплена после сгоревшего дома у еврея-ростовщика Галинского.

Путешествуя на новостройку, я обогащал свою память новыми для меня словами, понятиями и явлениями. Здесь я видел строительных рабочих, которые во время «перекурки» подсаживались к нам на бревна, советовались с отцом, высказывали свои соображения, а отвлекаясь, много говорили о своей личной семейной жизни, о деревне, несправедливости начальства, о бедности и пр. Заходил на стройку и старик Галинский, большая седая борода которого мне очень нравилась, и я спрашивал отца, почему у него нет бороды, а растут только усы.

Тут же на строительстве я от кого-то узнал новость, которая произвела на меня большое впечатление. Говорили, будто бы Галинский нарочно сжег свой дом, так как очень дорого застраховал его в нескольких страхо-

вых обществах, а на пожаре подкупил пожарных, чтобы они похуже тушили. Я никак не мог понять, для чего нужно сжигать свой дом, а что такое страховка — это уж было для меня совсем непонятно. «Папа, мы с тобой тоже будем сжигать наш дом?» — спрашивал я отца и тут же уже рисовал картину, как мы с ним соберем щепки, польем керосином и подожжем, а пожарным дадим денег, чтобы они плохо гасили.

(...)

Болезнь папы осложнилась. Ноги ходили плохо, и ему пришлось легкую тросточку сменить на солидную палку с резиновым наконечником. Он много лежал в постели и никуда не ходил, кроме Ивановской улицы.

Наконец, дом был отстроен. Начались серьезные сборы и переезд. Имущество возили на лошадях, Машке и Зорьке. Было очень много перевезено дубовых пивных бочек и каких-то ящиков, которыми заполнили весь каретный сарай.

Мы в доме заняли большую квартиру вверху, в правой половине. Самая большая комната с окнами на улицу была названа залом. Там поставили мягкий диван, два кресла, шесть мягких стульев, обитых красивой материей с желтой, черной и красной расцветкой. Перед диваном был поставлен красивый овальный резной стол орехового дерева, который был покрыт тя-



Дом Колгушкиных на Ивановской улице. Фото начала XX в.

желой шерстяной скатертью, а на нее поставлена большая 30-ти линейная лампа в металлической подставке под оксидированное серебро, с барельефами и матовым абажуром в виде тюльпана. Кстати сказать, зажженной эту лампу я никогда не видел. Среди потолка была повешена большая лампа-молния — на цепях, с гирей и большим белым фарфоровым абажуром. На стенах — небольшие картины с видами Москвы в блестящих золотых багетных рамках. Между окнами на стенах были укреплены три бра, которые зажигались в особо торжественных случаях при приеме гостей. Рядом была столовая, далее по коридору одним окном во двор выходила наша спальня. Сестра Женя поместилась в маленькой комнатке над парадным крыльцом, а папа расположился в полутемной комнате против нашей детской. Мама спала с нами. Няня Пелагея устроилась на кухне за ширмой.

Вскоре справляли новоселье, но этот день я представляю плохо, так как нас к гостям не допустили и мы ограничились угощением в детской комнате. Помню только, когда ожидали гостей и зажгли в зале лампы, то они сильно накопили. Поднялась паника, открыли все окна и двери, спешно произвели уборку.

В гостях были самые близкие друзья родителей: слепой отставной пехотный капитан Николай Антонович Василевский с супругой Екатериной Михайловной, сын фабриканта Михин Дмитрий Иванович, ростовщик-выкрест из евреев Павлов, проживавший на Ново-Троицкой улице (ул. Козуева), от которого мои родители, видимо, зависели материально. Он был в особом почете и часто заходил к нам запросто. Самым интересным для меня был мамин брат дядя Капитон. Других гостей было много, но припомнить их не могу.

В новом доме нам на первых порах доставили большую неприятность блохи, которых с осени было видимо-невидимо. Они кусались не только ночью, но и днем. Все мы, включая и взрослых, чесались без всякого стеснения. Никакие опыления «арагацем» не помогли, пока блохи сами не прекратили к зиме своего нашествия.

Осенью того же года наша семья увеличилась еще на одного члена — родилась сестрица Лиза.

(...)

Строя дом, мои родители собирались открыть собственный пивной склад с разливом пива разных заводов, для чего был под домом сделан каменный подвал с железными дверями, выходящими прямо во двор около черного крыльца четвертой квартиры, а рядом с каретным сараем, купленным вместе с землей у Галинского, был вырыт также большой подвал. Будущим квартиросъемщикам было построено пять дровяников с небольшими погребами в них.

Вверху над погребями, каретным сараем, конюшнями и флигелем под общей железной крышей был большой чердак для сена, склада различного скарба, а также для сушки белья. На этот чердак можно было проходить со стороны конюшен, а также с противоположного конца, от дровяников. Там была сделана прочная лестница с перилами и площадкой-балконом. (...) Особенно хороша была небольшая новенькая деревянная банька, выстроенная в садике-огороде, около забора. В ней был уютный предбанник, каменка, полки, деревянные скамейки и деревянный большой чан для горячей воды. Нагревался он посредством чугунной трубы, пропущенной в топку печи. Особенно приятен был запах нового дерева, березовых веников и еще чего-то. В этой баньке, кроме еженедельных общих помывок, по летам мы, дети, устраивали холодный душ, поливая друг друга из садовой лейки. Воду в баню возил водовоз Иван Кочетов, а если этой воды не хватало, то ее приходилось носить с городской водокачки, которая была на углу Гимназического переулк^{*} и Русиной (Советской) улицы.

Мечтам родителей об открытии своего предприятия осуществиться не пришлось, так как болезнь отца развивалась и он должен был приступить к регулярному лечению. Местные врачи нашли у него сухотку спинного мозга. Эта болезнь, как правило, является следствием заболевания сифилисом, но отец им никогда не болел. Этот случай представлял большой интерес для медицинской науки. Началась переписка с Петербургской клиникой, где этой болезнью очень заинтересовались профессор-невропатолог Бехтерев и доктор медицины Карпинский. Вскоре моему отцу пришло приглашение приехать в клинику на консультацию и для возможного лечения. Ходил слух, что моего отца кто-то опойл ртутными солями. Во всяком случае, он в сорокалетнем возрасте оказался инвалидом-хроником. Биржевая артель назначила ему пожизненно пенсию в размере 100 рублей в год и стала регулярно выдавать единовременную помощь на лечение. Квартиры в новом доме были временно сданы жильцам. Лошади и бочки были проданы.

Первую зиму мы прожили в этой квартире, а следующим летом нам пришлось переехать во флигель, так как мама весь большой дом сдала по контракту на два года епархиальному совету под училище за 1200 рублей в год. Те тотчас же приступили к переоборудованию квартир, снимая перегородки и расширяя помещения до нужного размера классных комнат. Осенью отца вызвали в клинику, и мы остались одни с мамой и няней Пелагеей.

В то же время на Муравьевке началось строительство большого каменного дома для будущего епархиального женского училища. Строительство было окончено в 1906 году, а наш дом освобожден. (...)

^{*} Сейчас — ул. Лермонтова. (Прим. ред.)

Между тем у моих родителей начался судебный процесс с фирмами Дурдина и Адамца по поводу какой-то задолженности. Дело затягивалось, и родители с нетерпением ждали его разрешения в свою пользу. Как водится, строили планы, что и как осуществить на полученные по иску деньги. Так, по окончанию контракта с епархиальным советом, необходимо будет оштукатурить квартиры изнутри, хорошо бы купить корову. Отец писал из Петербурга, что ему рекомендуют поездку на курорт в Старую Руссу, а маме со всей семьей хотелось побывать на родине в селе Шестикине. Все это могло бы осуществиться, если дело с фирмой обернется в нашу пользу. Мы, мальчики, мечтали также о покупке “пугачей”. Уж очень хотелось вооружиться красивыми, никелированными “браунингами”, которые в то время продавались в игрушечном магазине Клеченова внутри гостиных рядов по 2 р. 50 коп. Они нам были обещаны.

Первый год жизни на Ивановской улице остался мне памятным по тому, как мы готовились и проводили праздник Рождества. На этот праздник мы ждали возвращения папы из Петербурга, а следовательно, обновок и гостинцев. Мне шел уже шестой год, и я считал себя большим, а потому старался держаться солиднее братишки Володи; иногда по некоторым хозяйственным вопросам мама со мной даже советовалась, а это мне очень льстило. В обычные базарные дни она часто, потихоньку от Володи, брала меня с собой на базар и по магазинам. Я во все вникал и ко всему присматривался.

Перед большими праздниками город оживлялся за неделю и даже раньше. Магазины заполнялись праздничными товарами, часы торговли увеличивались. Перед Рождеством оконные витрины красиво оформлялись разнаряженными елками, Дедами Морозами, Снегурочками, масками и различными украшениями. Этим выделялись аптекарские, галантерейные, игрушечные и парфюмерные магазины. Все лучшие мануфактурные и обувные магазины выставляли последний «крик моды». Колониально-гастрономические рекламировали на окнах и прилавках десятки сортов колбас, сыров, окороков ветчины, балыков рыб, икру и всевозможные консервы. Булочные и кондитерские украшали окна большими сахарными баранками, ромовыми бабами, банкухенами, тортами, пирожными и красивым фигурным шоколадом. Спускаясь к мясному ряду, можно было видеть в рыбном ряду горы мороженой рыбы, которую сваливали на брезент прямо у дверей магазинов.

Меня больше всего интересовала лавка Невского, торгующая битой и живой птицей и дичью. Около дверей перед праздником стояли целые поленицы мороженых гусей, маленьких поросят, зайцев в шкурках и без шкурок, а в магазине по всем стенам находились клетки с живыми курами, пе-

тухами, индошками, гусями, утками, цесарками и прочей домашней птицей, на прилавке и по стенам были разложены и развешены глухарь, тетерева, рябчики, куропатки и прочая дичь. Купить можно было многое, но требовались немалые деньги, в которых основное большинство жителей крайне нуждалось, ограничиваясь только тем, что любовались на все эти товары, покупая лишь самое необходимое для ежедневного пропитания.

Мы с мамой шли на базар с небольшой базарной сумкой. Мама, благодаря своей умелой расчетливости и хозяйственной сметке, еще задолго до праздников умела подкопить «круленькую» сумму денег и закупила все необходимое. В мясной лавке Цыбина или Веселова покупали окорок, мясо и прочие мясопродукты, и мы выходили из лавки, ничего не взяв с собой — товар доставляли на дом. Я любовался на приказчиков, как они ловко разрубали мясные туши на обрубке дерева тяжелым и широким топором, издавая при этой характерный выдох: «А-ах!» Дома пробовал подражать, но у меня ничего не получалось. Мне тогда очень хотелось быть мясником.

В лавке Невского мы заказали поросенка и гуся, а глухаря я выпросил взять тут же с собой. Пытался его нести, но это было мне не под силу, и пришлось нести его маме. По пути к рыбной лавке В.Н. Скалозубова купили икры, шпрот, килек и других рыбопродуктов. Базарная сумка была полна. Мы устали, а глухаря по Ивановской улице я тащил по снегу, держа за веревочку, завязанную на его шее, чтобы мои товарищи любовались моей покупкой. Мы были довольны и весело разговаривали, строя планы дальнейших походов по магазинам. Ведь в ближайшие два дня нам предстояло зайти в колбасную Головановых, в колониальный магазин Колкотина, в ренсковый погреб Сапожникова и аптекарский магазин Прокопенко.

Перед большими праздниками в колбасном магазине Головановых всегда собиралось очень много покупателей. Это была в основном зажиточная часть населения — буржуазия, чиновники, купцы, домовладельцы и духовенство. Некоторые подъезжали к магазину на собственных лошадях с лакеями, горничными и даже поварами, другие брали для этого извозчика, третьи, попроще, приходили пешком. За прилавками в эти дни были сами братья Головановы и человек десять приказчиков, ловко орудующих специальными ножами. Все они были одеты в черные костюмы с белоснежными фартуками и лакированными черными нарукавниками. Магазин был полон народу, но очереди не было, стояли в несколько рядов и подходили к прилавку без толкотни и сутолоки. Все же пришлось простоять не менее двух часов. Купленный товар тут же укладывался в корзины из широкой драпки, запаковывался и, по просьбе покупателей, к вечеру доставлялся на дом. Стоя у красивых витрин, я любовался товаром и ловкой работой приказчиков, решив твердо, когда вырасту, обязательно стать колбасником.

Далее мы с мамой шли налегке в магазин Колкотина, где закупили нужное количество грецких орехов, красивых, крепких «крымских» яблок, апельсинов и специальных елочных фигурных пряников и блестящих конфет — сосулек и матрешек. Эти конфеты имели красивую упаковку, но были почти несъедобны. Весь этот товар покупался для украшения елки и для гостинцев в пакеты. Мама не любила стеклянных елочных украшений, а потому елка, в основном, была завешена гостинцами.

Нагрузившись покупками, мы в этот день в ренсковый погреб не заходили, а только по пути в аптекарском магазине Прокопенко на Русинной улице купили для елки блестящего дождя, снега, палочки бенгальских огней, елочные свечи, несколько книжек с «золотом» для оклейки орехов. Елка была приобретена накануне праздника.

Наступили самые интересные зимние предпраздничные вечера, когда мы всей семьей готовили елочные украшения. Кто клеил цепи из толстой цветной бумаги и делал хлопушки, а кто подвязывал ленточки и шнурки к яблочкам, апельсинам, к пряничным барашкам, рыбкам, Снегурочкам и Морозам. Сестра Женя занималась золочением орехов, опуская каждый в яичный белок, а потом аккуратно обвертывала его в тончайший золотой листок. Когда орехи просыхали, к ним сургучом или маленьким гвоздиком прикреплялась петелька из узкой цветной ленты. Вечером в сочельник елку вносили в зал и ее украшением занимались мама и Женя. Нас до праздника туда не пускали.

Утром в сочельник из Петербурга приехал папа. Он привез нам гостинцы и подарок Жене, которая в этот день была именинницей. Нам очень понравилась прессованная кошка-монпансье, которую папа доставил прямо с кондитерской фабрики Ландрина. Вечером мама с Женей ходили на всенощную в церковь Бориса и Глеба, которая была на горке против губернаторского дома.

Праздничное утро началось с прихода со славой священника о. Алексея Андроникова с причтом церкви Бориса и Глеба. В столовой с утра уже был накрыт праздничный стол. По традиции того времени, на него ставились все закуски в том количестве, в каком они были закуплены. На блюде красовался запеченный окорок ветчины с розеткой из цветной бумаги, закрепленной на его ножке, рядом, также на блюдах, ставились зажаренные гусь и глухарь, а далее расставлялись на тарелках головка сыра, солидные куски и кольца различных колбас, консервы и прочие закуски. От всего нарезалось по несколько кусков, с расчетом, чтобы на закусочные тарелки всегда брать свежие куски. Целая батарея виноградных вин, настоек и наливок красовалась посередине стола, окруженная маленькими рюмочками. Закусочные приборы накрывались на 6-8 персон. Приходящее со славой духо-

венство приглашалось к столу и после легкой закуски пило чай.

Не ранее 10 часов утра появлялись первые визитеры. Приезжал Д.И. Михин, помещик Н.Е. Исаков, Павлов, старик-фельдшер Геннадий Давыдович Рубин, юнкер-артиллерист Борис Василевский, штабс-капитан Таууровский, друзья и ухажеры Жени — гимназисты, реалисты, техники и даже студенты, приехавшие домой на праздники. Как правило, визитеры приезжали на собственных лошадях или на нанятых извозчиках и дольше 10 минут не задерживались. Поздравив, они садились за стол, выпивали одну-две рюмки вина и, слегка закусив, уезжали. Папа выходил не ко всем. Пожилые иногда дарили нам 20-30 копеек на гостинцы, а няне, провозжавшей их, давали чаевые. Некоторых мама приглашала на чай вечером.

Елка, богато украшенная гостинцами, картонажами, цепями, а на самой вершине несколькими красивыми шарами, засыпанная искусственным снегом, красовалась среди зала. Мы с нетерпением ждали, когда можно будет зажечь свечи и бенгальские огни, покружиться и побегать вокруг елки, а главное, получить гостинцы, которые были разложены в пакетах под елкой и прикрыты ватой.

С наступлением сумерек к нам приходили Василевские с тремя девочками — Тamarой, Клеопатрой и Лидией — и сыном Вячеславом, который уже тогда был моим другом. Были еще какие-то ребяташки, но их я не помню. Мы играли, бегали вокруг елки, танцевали при участии Жени и ее подруг, а в конце, утомившись и получив гостинцы, направлялись к себе в спальню, где нам был приготовлен чай с пирожными, печеньем и конфетами. В этот год елка стояла у нас до самого Крещения, а праздничный стол накрывался ежедневно в течение четырех дней.

Вечером у родителей всегда были гости. Мама днем ходила к Василевским и к другим знакомым, папа же всегда, из-за болезни, оставался дома.
(...)

Так в играх, забавах и всевозможных развлечениях проходила эта зима первого года нашей жизни на Ивановской улице. Пришла Масленица, и с первыми лучами весеннего солнца подошла Пасха. Опять началась подготовка к празднику. Мама и няня Пелагея постились весь Великий пост, а мы с папой ели скоромное. В четверг и в пятницу на Страстной неделе мама пекла вкусные куличи и делала сладкую творожную пасху. Мы с братцем усердно все пробовали и творожную массу, и сырое куличное тесто.

Впервые мама в Великий четверг взяла нас с собой в церковь на всеобщую, где читали двенадцать Евангелий, а хор пел “Разбойника”. Нам же доставляло большое удовольствие стоять со свечами. Когда мы уставали, то садились в кресла, которые нам любезно ставили около левого клироса. А еще нам очень понравился обычай зажигать под окнами разноцветные бен-

гальские огни и производить сильные выстрелы в церковной ограде. Говорили, что этим занимались не только подростки, но и взрослые мужчины, под наблюдением церковного старосты и дьячка-псаломщика. Как я потом узнал, выстрел получался от бертолетовой соли, которую клали на большой камень и ударяли другим камнем. Кроме того, стреляли из ружей холостыми зарядами. После всенощной почти все богомольцы шли домой с зажженными свечами, но в тот вечер из-за ледохода на Волге дул сильный ветер и никто из нас огня до дому не донес. Мы были расстроены, но все тут же было забыто.

В пятницу днем мы опять ходили с мамой в церковь на вынос плащаницы. Мне очень понравилось, что вокруг плащаницы было очень много цветущих гиацинтов, от которых очень хорошо пахло. Все подходили и целовали барельеф Христа.

В субботу мама варила и красила яйца в луковых перьях и в разных красивых красках, а мы ей помогали, вернее, мешали. В этот год на пасхальную заутреню, конечно, мама нас не брала, и разговение мы проспали.

Пасхальный стол отличался от рождественского тем, что на нем отсутствовали гусь, глухарь, поросенок, но зато рядом с окороком стоял большой, покрытый сахарной глазурью кулич с красным бумажным цветком и ставились в большой тарелке крашеные яйца и творожная пасха. Лучшим же украшением стола были плошки с белыми и розовыми гиацинтами, которые испускали аромат по всем комнатам.

В первые дни Пасхи также были визитеры с утра и гости к вечеру, но нам уже не сиделось дома — все дни мы были во дворе и на улице, слушая перезвон колоколов всех церквей города. Нам очень хотелось слезать на колокольню и позвонить, но родители, конечно, не разрешали. Мы очень любили катать крашеные яйца с соседними ребятами, но при строгом контроле няни.

Прежде чем продолжать описание моей последующей жизни, мне хочется вернуться на много лет назад с тем, чтобы осветить жизнь моих родителей и предков по тем данным, которые я получил со слов родителей и ближайших родственников.

Мой отец происходил из крестьян Ярославской губернии Мологского уезда Ново-Троицкой волости деревни Неумоина. Родился он в октябре месяце 1861 года и был третьим и последним ребёнком у родителей. Отца он лишился в самом раннем детстве, который умер в сравнительно молодом возрасте, не более 50-ти лет, от туберкулёза, полученного по причине тяжёлой травмы.

Небезынтересно остановиться на этом и обратиться к самому началу XIX века. В то время почти вся Ново-Троицкая волость Мологского уезда была вотчиной богатого вельможи Сухово-Кобылина. Помещик жил очень богато и даже имел собственный хор из крепостных. Каким-то путём в этот хор попала красавица цыганка, которая приглянулась пожилому барину и стала его любимой наложницей. Через некоторое время от этой связи у ней родилась дочь, которую назвали Ксенией. Эта девочка получала большую заботу со стороны своего отца и дворовых людей, оставаясь всё же крепостной. К 16-ти годам это была стройная, живая девушка, типичная цыганка, отличающаяся выдающейся красотой. Пришло время выдавать её замуж, и помещик не нашёл лучшего жениха, как своего молодого бурмистра Ивана Самойловича Колгушкина.

Я мало знаю что-либо о своём деде, но в моём воображении он представляется симпатичным блондином с небольшой, окладистой рыжеватой бородой, лет 30-35, со спокойным характером и не лишённым собственного достоинства. Обязанности бурмистра способствовали выработке тех отличий, по которым можно всегда узнать человека, поставленного руководить другими людьми.

Молодые, видимо с барской помощью, построили себе дом в центре одной деревушки, Неумоина. Этот дом, после ремонта и различных переделок, стоит и по настоящее время. Я никогда не был в Неумоине и знаю об этой деревне только лишь со слов моих родителей и детей моего двоюродного брата Ивана Николаевича Колгушкина. У молодой четы с годами появились дети: дочь Евдокия и сыновья Николай и Андрей. Как мною было сказано выше, во время женитьбы мой дед был старше своей жены Ксении Ануфриевны более чем вдвое.

В конце пятидесятых годов умер старший помещик, и во владение имением вступил его сын, приехавший из Петербурга. Вскоре он решил жениться и, одержимый барскими причудами и самодурством, приказал бурмистру Ивану Самойловичу дорогу от усадьбы до церкви на протяжении трёх вёрст засыпать сахарным песком с тем, чтобы свадебный поезд ехал на саних, несмотря на то, что была уже поздняя весна. Этот факт был описан в прессе того времени; мой дед скупил сахарный песок во всех сельских лавочках и в городах Рыбинске, Ярославле, Мологе и выполнил барскую затею. Но сахарный песок — не снег, и сани по нему ехать не могли. Жених всю неудачу свалил на бурмистра и с помощью челяди так избил моего деда, что он уже не был в состоянии поправиться. Как говорят, захирел и года через два умер от чахотки. Забота о семье и хозяйстве легла на плечи моей бабушки и подростка — старшего сына Николая. Время шло, хозяйство хирело.

После отмены крепостного права большинство мужского населения этих мест уходило на заработки в Петербург, так как полученные земельные наделы не могли прокормить всех крестьян из-за малого размера наделов. Мальчишек отвозили также в Петербург, где отдавали в ученики к ремесленникам или в “мальчики” к кушцам. Девятилетнего Андрея сосед-охотник отвёз в Петербург и устроил в мальчики к кушцу в галантерейный магазин у Пяти углов, здесь он и начал получать своё воспитание и образование, если не считать двух лет обучения в сельской начальной школе. Освоив специальность галантерейного приказчика, показную вежливость и нужную для этой профессии “культуру”, через несколько лет мой отец был допущен до прилавка. Так началась его самостоятельная трудовая жизнь.

Приезжая в родное Неумоино, по костюму и манерам он выглядел городским и пользовался особо благосклонным вниманием деревенских красавиц. Отец был среднего роста, худощав, смугл, с густыми чёрными кудрявыми волосами, правильными чертами лица цыганского типа, отращивал небольшие усы и бакенбарды, следуя моде того времени. “Отменные” манеры столичного приказчика обольщали деревенских невест, но они его уже не прельщали.

К тому времени старший брат Николай уже женился, сестра Евдокия была взрослая и хозяйство стало укрепляться. Кроме того, мой отец оказывал семье регулярную денежную помощь. В возрасте 20 лет он решил жениться. Ему сватали много невест, но больше всего приглянулась ему Кея Васильева из деревни Зимино Мышкинского уезда. Это была шустрая шестнадцатилетняя девушка, с светло-русыми волосами, большими голубыми глазами и задорным вздёрнутым носиком.

Семья Васильевых в округе считалась довольно зажиточной. Глава семьи Денис Васильевич имел бакалейную лавочку в селе Шестикине, в одном километре от деревни Зимино, и считался кушцом 3-й гильдии. Семья была большая, и Лукья, или Кея, как её звали домашние, была самой старшей.

Жених ей понравился с первого знакомства, и вскоре они были сосватаны. Молодке пришлось переехать в семью мужа, в деревню Неумоино. Из-за деспотизма и властного характера бывшей “барской барыни” — свекрови, жизнь моей матери в этой семье оказалась очень тяжёлой. Она стала уговаривать мужа отделиться. Он согласился. Пришлось построить небольшую избушку на краю Неумоина, и моя мама начала свою самостоятельную крестьянскую жизнь. Папе приходилось работать в Петербурге, но он часто навещал свою молодую жену. По словам моей матери, ей в то время, в отсутствие отца, не было большего удовольствия, как зимой запрячь свою лошадку в дровни и за 40 вёрст лесами съездить погостить к своим родите-

лям.

Вскоре у моих родителей появился первенец, которого назвали Николаем. Недолго продолжалось материнское счастье, молодая мать сделалась невольной убийцей своего сына. Была поздняя весна. Мама сидела с маленьким Колошкой у открытого окна. Он уже начал привставать на ножки и подпрыгивать. Маме его движения понравились, и она, держа его на подоконнике, помогала прыгать. Вверху рамы был спущенный шпингалет, о который и ударился ребёнок темечком, замертво упав в объятия матери. Неопишное горе свалилось на голову молодой матери, но возраст, здоровье и мечта о совместной жизни с мужем в Петербурге победили всё. Горе потеряло свою остроту. Через год родилась дочь Соня, которая умерла от поноса в первое же лето, а осенью мои родители, ликвидировав деревенское хозяйство, переехали на постоянное жительство в Петербург. Где и в каких условиях они там жили, я не знаю, но они понемногу стали обзаводиться простенькой обстановкой, их первыми покупками были, так называемая, “горка” и комод. Эти вещи прошли через всю их жизнь и достались мне в наследство. Они целы у меня и по настоящее время. Мой отец на военной службе не был, отойдя по счастливому жребью.

Он никогда не пил вина, не курил и не играл в карты, но любил посещать общественные места, как-то: театры, общественные клубы, благотворительные вечера. Мама занималась домашним хозяйством и училась на поварских курсах, которые успешно закончила, получив соответствующее свидетельство с золотым государственным гербом. В будущей жизни эти знания поварского искусства ей очень пригодились. Надо сказать, что мама была грамотнее отца, так как окончила церковно-приходскую школу.

В самом конце 1887 года родилась моя сестра Женя.

Отец к тому времени, поднакопив некоторое количество денег, сделал взнос в кассу, так называемой, Владимирской биржевой артели, которая выполняла функции посредника между хозяевами предприятий и лицами, желающими получить работу. Артель со своей рекомендацией направляла на предприятия своих членов преимущественно на руководящие должности, неся за них полную материальную ответственность. Мой отец дал согласие работать в известном пивоваренном предприятии “Дурдины и К^о” в г. Ярославле. Ему предоставили должность управляющего пивным складом в Костроме. В 1888 году он, вначале один, впервые поехал в Кострому. В то время железная дорога на Кострому ещё только строилась, и он ехал от Ярославля на почтовых лошадях.

За год до его приезда Кострому постигло большое стихийное бедствие. Произошёл огромный пожар, уничтоживший почти всю западную часть города. В то время в этой части преобладали деревянные постройки частных

домовладельцев. Бушевавший трое суток огонь уничтожил несколько сотен домов. Огонь остановился на Власьевской (ул. Симановского) около Богоявленского женского монастыря. К приезду отца эта часть города отстраивалась вновь.

Моему отцу было предложено Дурдиным открыть в городе несколько пивных лавок и склад с разливом пива “Новая Бавария”. Дом и надворные каменные постройки были предоставлены на Богоявленской улице (начало ул. Симановского), как раз против больших Третьяковских домов. Эта часть улицы от пожара не пострадала. Сделав всё необходимое и начав организацию предприятия, отец перевёз в Кострому свою небольшую семью.

По словам моих родителей, этот период их жизни был самым счастливым и вполне благополучным с материальной стороны. Квартира была очень большая, во втором этаже, а внизу находилась пивная; жили они очень хорошо, имели большой круг знакомых, приобрели приличную обстановку, хорошо одевались и даже имели собственные выезды. У отца был рысак, а у мамы пара буланых пони, по кличкам Ёрш и Кролик.

По отзывам старожилов, мой отец производил большое обаяние и женщины им увлекались. Он слыл “костромским львом”. Любил влюблять в себя женщин, чем сильно омрачал маму и вызывал её ревность, что даже отразилось на состоянии её сердца и нервной системы в целом. За эти годы у них родились одна за другой две девочки-погодки — Клавдия и Тамара, но они умерли в возрасте до пяти лет и были похоронены на Лазаревском кладбище в конце Русиной улицы.

Родители начинали подумывать о постройке в Костроме двухэтажного дома, который мог бы обеспечить безбедное существование под старость и дать возможность должным образом воспитать детей. Для этой цели они уже тогда начали откладывать свободные деньги на сберкнижку или обращали их в ценные бумаги (облигации). Мама работала за стойкой пивной, что давало ещё дополнительный заработок.

Приехавший в Кострому сам Дурдин, после ознакомления с предприятиями, остался доволен широким размахом и предложил отцу переехать в Ярославль для организации и там такого же дела. Очень неохотно мои родители через семь-восемь лет покинули полюбившуюся им Кострому, расстались со своими друзьями и знакомыми, но не теряли надежды на возвращение, что им и удалось осуществить через 2-3 года.

(...)

А что произошло за эти годы в Неумоине? Моя бабушка Ксения Ануфриевна умерла в довольно пожилом возрасте в конце восьмидесятых годов. Дядя Николай до смерти прожил в деревне. Его сын Иван Николаевич на

военной службе получил специальность фельдшера и покинул родную деревню. Тётя Евдокия, при содействии своего брата, в возрасте 40 лет вышла замуж за очень делового человека — Андрея Фёдоровича Шведова, который был моложе её на 15 лет. Жили они очень дружно, из галантерейных приказчиков он сделался хозяином собственного мануфактурно-галантерейного магазина в центре Петербурга. Впоследствии они имели двоих детей, ровесников мне — сына Фёдора и дочь Августу.

Я хочу показать идеальный пример дружбы в течение всей жизни между моими родителями и семьей Василевских. В этой дружбе ни с той, ни с другой стороны не преследовалось никаких низменных интересов, а основана она была на взаимном уважении, искренней любви и доброжелательстве. Мы часто бывали друг у друга, хотя они жили далеко, в конце Ново-Троицкой улицы д. № 43, но для всех нас этот дом был как родной, так же, как для них наш. Редкий день проходил, чтобы мама с базара не зашла к Василевским, а Екатерина Михайловна к нам. Она была немного моложе мамы, но совершенно противоположной по наружности и темпераменту.

Если в те годы мама была очень полной при небольшом росте, с бледноватым, холеным лицом, несколько подвижным, то Екатерина Михайловна была женщиной выше среднего роста, очень смуглой, черноволосой и худощавой. Своими манерами, а главное, красиво картавящим голосом очень напоминала еврейку, хотя происходила из духовного звания. Её дед был священник Судьбинин, а отец — исправник.

Она курила и, при случае, не отказывалась выпить водочки, попеть и потанцевать, что они с мамой изредка и проделывали, иногда даже только вдвоем. Полную противоположность ей представлял ее муж Николай Антонович. Это был очень высокий, полный мужчина, лет пятидесяти с небольшим. Его розовое, симпатичное лицо, с правильными чертами, украшала седая борода, по-скобелевски расчесанная на две стороны. На глазах всегда были одеты синие очки в старинной серебряной оправе — он был абсолютно слепой. Носил военную форму с погонами пехотного капитана в отставке. Вина он не пил и не курил, но очень любил хорошо покушать, поиграть на рояле и попеть, а также поухаживать за хорошенькими, молодыми дамочками, чем вызывал постоянную ревность Екатерины Михайловны. Он мало ходил по городу, так как проходящие военные отдавали ему честь, а он не видел — Екатерине Михайловне каждый раз приходилось отвечать на приветствия кивком головы.

Одевалась Екатерина Михайловна весьма оригинально. Редко надевала зимой ротонду или ватное пальто, а любила жакеты темного цвета,

такую же широкую и очень длинную юбку, с всегда потрепанным подолом. Шляпку носила маленькую, старомодную, сдвинув ее на самый лоб. Никогда ни в чем моды не придерживалась. Иногда спускала вуалетку.

У них было шесть человек детей, два сына и четыре дочери в возрасте от 20 до 2-х лет. Старшие дочери — Тамара, Клеопатра и Лидия — в то время воспитывались в городе Тамбове в Елизаветинском институте благородных девиц на полном государственном обеспечении, а сын Борис учился в Ярославском кадетском корпусе. Дома при родителях были только двое — сын Вячеслав, ровесник Володи, и дочь Ариадна, ровесница Лизы. Старшие дети приезжали домой только на каникулы и летом.

Василевские жили на пенсию в размере 100 рублей в месяц и имели собственный маленький, полукаменный дом. Они жили во втором этаже, а низ сдавали квартиросъемщикам — рабочим.

Большой загадкой была причина слепоты Николая Антоновича. Молодым офицером он принимал участие в Русско-турецкой войне 1877-78 годов. Был под Плевной и на Шипке. Знал лично генералов Гурко и Скобелева. Потом служил в Костроме, в запасном батальоне. Однажды поздней осенью по какому-то случаю ожидали приезда в Кострому императора Александра III. Все были начеку. Николай Антонович в тот день был начальником караула на городской гауптвахте. Кто-то “сбил тревогу”. Он поспешно выскочил из помещения на площадку, поскользнулся на приступках и упал затылком на каменный пол, лишившись сознания. Его отправили в больницу. Придя в сознание, он понял, что ослеп. Его долго лечили, но безрезультатно. Пришлось выйти в отставку. Поскольку инвалидность получена благодаря травме при исполнении служебных обязанностей, ему была назначена пожизненно пенсия в размере полного жалования, а воспитание и обучение детей “Высочайшим повелением” было полностью принято за счет государства. До болезни Николай Антонович был кутила, картежник и ловелас, а потому ходили слухи, что на гауптвахте он был мертвецки пьян, почему и упал. Характерно, что, выйдя в отставку, он дал себе обещание не пить ничего спиртного и не держать его в своём доме, не курить и не играть в карты. Это обещание он сдержал до самой своей смерти.

Я подробно описываю эту семью потому, что она оказала большое влияние на формирование моего характера и многих наклонностей. Жизнь Василевских прошла на моих глазах до самого распада этой большой семьи, о чем я скажу ниже. О близости наших взаимоотношений говорит один эпизод со Славой Василевским. Ему было не более 5 лет, когда он решил самостоятельно придти к нам на Ивановскую. Плутая по городу, он заблудился, стал плакать, собрал вокруг себя прохожих, которые спрашивали его имя, фамилию и адрес. Он назвал себя Володей Колгушкиным и указал адрес на

Ивановской улице. Проезжающий мимо крестьянин с картофелем посадил его на воз и доставил к нам, говоря: “Я нашёл вашего сына и привез”. Все смеялись, но за доставку все же пришлось уплатить 15 копеек. Тогда Слава прожил у нас более недели, не желая идти домой, хотя за ним приходили ежедневно. Так крепка была наша дружба.

Прошло более 40 лет с тех пор, когда я был последний раз в доме Василевских, но этот дом, как живой, стоит в моей памяти. Даже иногда со всеми подробностями я вижу его во сне. Хорошо помню все четыре комнаты скромно меблированной квартиры, но особенно ясно я представляю комнату Николая Антоновича и Екатерины Михайловны. В этой комнате было всего одно небольшое окно, да и то затененное каменным брандмауэром, поставленным у соседнего дома Кошелевых, так что в комнате всегда был полумрак. Самое интересное в ней было то, что на стене у кровати Николая Антоновича висел большой темный ковер, на котором художественно было развешено оружие и доспехи времен Русско-турецкой войны. Тут были тяжелая винтовка системы Бердана, офицерская сабля, две шашки, пистолеты “Смит и Вессон”, какого-то странного образца, турецкие, фляжка, кинжалы, и даже походная офицерская фуражка с красным околышем и белым верхом, и старый стеклянный фонарь с огарком свечи. Этот стенд приводил в восторг каждого подростка, а я даже завидовал Николаю Антоновичу, что он был на войне. В столовой висела большая картина, на которой было изображено крушение царского поезда у станции Горки. В гостиной, или зале, как они называли эту комнату, стоял большой рояль, венские стулья и такие же два дивана.

Во дворе, среди фруктового сада, как раз против заднего крыльца дома, была красивая, длинная, с резными украшениями беседка, открытая только с лицевой стороны. Летом она вся была обвита диким виноградом и плющом. В хорошую погоду в ней мы всегда пили чай с разнообразным вареньем и с неизменной ореховой халвой в металлической коробке. От беседки вглубь двора шла густая барбарисовая аллея к старой баньке, в которой постоянно играли.

Как все это было давно, а кажется — и недавно, а ведь почти никого уже нет в живых из тех, кто тогда окружал нас. То же самое и с домом на Ивановской улице, где из всех живших в то время людей остался один я. Но вернусь к своему рассказу.

Наступившая осень 1903 года внесла новое в нашу жизнь. От нас ушла няня Пелагея, которая, с полного согласия мамы, перешла к Василевским, а нам они порекомендовали молоденькую девушку Лизу, костромичку, дочь рабочего катушечного завода купца Пряничникова. Эту девушку мы все очень полюбили. Она была грамотная и много читала нам сказок из детских кни-

жек, хорошо умела рассказывать сказки и знала много всяких случаев и происшествий из жизни нашего города. Мать у неё умерла, а отец все время был на работе. Маленькие брат и сестра жили у тети. Она часто ходила с мамой на базар и всегда просила её купить побольше детских книжек и картин.

Мне хорошо помнится, как она однажды принесла две большие лубочные, ярко раскрашенные картины на прочной бумаге. На одной из них был нарисован эпизод о том, как мыши кота хоронили, а внизу полностью была напечатана эта сказка. На другой нарисована тройка лошадей, в экипаже сидел молодой офицер, а сзади на дороге у огорода красивая девушка. Внизу было стихотворение Н.А. Некрасова “Что ты жадно глядишь на дорогу...”. Мы повесили эти картины на стену у своих кроватей и каждый день просили няню Лизу читать нам этот текст, который через несколько дней запомнили дословно.

Быстро наступали тёмные осенние вечера; излюбленным нашим местом в эти и в зимние вечера становилась большая русская печка, верхняя площадка которой была не менее четырех метров, куда мы залезали по лесенке. Там устанавливали керосиновую лампу и детские скамеечки, играли в карты в “подкидного” или “круглого дурака”, в “акульку”, в “пьяницы” и проч. Мама, няня Лиза, а иногда и Женя рассказывали нам разные забавные истории и происшествия, а также и сказки. Первой тут же на печке засыпала маленькая Лиза, а потом очередь доходила до нас. Полусонные, капризная, мы слезали с печи, чтобы умыться, выпить молока и ложиться спать в постели. Бывали случаи, когда зимой, в большие морозы, на этой печке мы обедали и пили чай. Иногда вечером приходил к нам отец Лизы, который всегда пил с нами чай и рассказывал очень много всего, чего мы совершенно не знали. Женя обычно после прихода из гимназии готовила уроки или уходила к подругам. Иногда и подружки приходили к ней.

Папа же с осени уехал в Петербург. Мне тогда было очень лестно, что его всегда письменно приглашали в клинику. Я этим очень гордился и хвастал соседним ребятам, не понимая того, что в клинике его не столько лечили, сколько использовали как объект для демонстрации редкого и типичного заболевания *tabes dorsalis* перед студентами медицинского факультета и военно-медицинской академии. Я это понял много позднее, когда, обучаясь в вузе, лично познакомился с клиниками.

Отец няни Лизы (я не запомнил его имени и фамилии) говорил, что начинаются волнения среди рабочих текстильных фабрик, что туда приходят какие-то молодые люди, разбрасывают прокламации и собирают рабочих для бесед. В это время я слышал много новых слов, как: революция, самодержавие, агитаторы, провокаторы, митинги, сходки и прочие. Значе-

ние их понимал плохо. Мне было совершенно непонятно, для чего учащиеся устраивают “беспорядки” и “волнения”, зачем рабочие “бастуют” и почему к ним идут учащиеся. Такие же новые для меня слова я улавливал в тихих разговорах Жени с подругами.

Мне почему-то больше всего нравилось слово “прокламация”. Я представлял её в виде красивой, большой картины и очень просил Женю, чтобы она где-нибудь достала её и показала мне. Я завидовал полицейским и стражникам, тому, что они отбирали эти картины у рабочих, и думал, что у них этих прокламаций очень много и они развешивают их у себя в комнатах. Мы даже ссорились с Володей из-за того, что он собирался все подаренные мне прокламации у меня отобрать. Мне еще хотелось достать где-нибудь “пароль”, с которым рабочие ходили на тайные собрания. Я представлял пароль как что-то вещественное, вроде красивой деревянной игрушки.

Вот таково было мое первое впечатление от грядущей революции 1905 года.

В эти же дни я впервые увидел появившихся в Костроме казаков. Мне очень нравились их красные лампасы, пашки и нагайки, которые они все держали в правых руках. Казачьи офицеры в серебряных погонах и в галунах лихо скакали по улицам города. Зачем они в Костроме, я не понимал.

Губернатор Князев стал разъезжать в карете, запряженной парой вороных рысаков и в сопровождении “почетного” эскорта четырех конных черкесов, а раньше он всегда свободно и просто прогуливался по городу пешком. На парадном крыльце губернаторского дома, кроме постоянного швейцара в ливрее, появился караул из двух вооруженных черкесов. Не мудрено, что я в то время знал этого губернатора, как и всех последующих, так как, живя неподалеку, я ежедневно видел их на прогулке по Муравьевке и Борисоглебскому переулку (ул. Крестьянская), а также часто за богослужением в церкви.

Родители выписывали местную газету, выходящую в то время под разными заголовками, а также “Русское слово” и журнал “Ниву”. Мама и няня Лиза читали их, и мы были в курсе текущих событий.

По всему чувствовалось приближение каких-то тревожных событий. Поговаривали о рабочих “беспорядках” в Петербурге, Москве и других промышленных центрах. Более дальновидные политики ожидали войны.

(...)

В январе месяце 1904 года все узнали о начале Русско-японской войны. Легендарный крейсер “Варяг” и канонерская лодка “Кореец” совершили свой бессмертный подвиг, начались ожесточенные бои в Маньчжурии и в Порт-Артуре. Все восхищались героизмом моряков “Варяга” под командованием капитана I ранга Руднева.

В Костроме ежедневно выпускались бюллетени о ходе военных действий на Дальнем Востоке. Этими же сведениями были полны и все газеты. В жизни же города особенно резких изменений не было, за исключением того, что на улицах увеличилось количество солдат из запасных бородатых мужичков, которым предстоял далекий путь на восток; чаще гарцевали по улицам разъезды казаков и стражников, да по церквам совершались молебствия о даровании победы “христолюбивому воинству”.

В нашей жизни также ничего не изменилось. Мы слушали сообщения и рассказы мамы, Жени и няни Лизы о японцах и событиях на фронтах. Иногда они вслух читали газеты и бюллетени, из них мы кое-что усваивали. Наши игры на улице были исключительно в войну. Мы собирали с соседних дворов сверстников и превращались одни — в русских солдат, другие — в японских. Когда был снег, то строили крепость и кидались снежками, а летом крепости делали из пустых ящиков и в ход пускали мелкие камни. В одном из таких “боев” я чуть не лишился глаза, за что от мамы, конечно, досталось всему воинству, а “раненому” даже вдвое. Много новостей приносила Екатерина Михайловна. Николай Антонович не верил в победу русского оружия и осуждал правительство за неподготовку к войне. Рабочим волнениям он явно не сочувствовал. Он был доволен существующим строем, так как от него зависело всё их благополучие.

Шли слухи о военной измене и предательстве со стороны высшего командования в лице генерала Стесселя, о бездарности генерала Куропаткина и адмирала Рожественского. Появились анекдоты о разгульной жизни офицерства на Дальнем Востоке, о том, что вместо снарядов и винтовок на фронт шлют целые вагоны различных иконок для солдат. Быстро падал искусственно созданный патриотизм, и мало кто ещё верил в победу.

У нас на стенах появились ещё несколько картин батального содержания. На одной из них была изображена гибель “Варяга” и “Корейца”, где наши корабли отстреливались от окруживших их неприятельских кораблей, многие из которых были подбиты и тонули. На переднем плане другой картины на большой белой лошади с обнаженной саблей скачет бравый генерал Куропаткин, а за ним наши кавалеристы; впереди и под ногами коня изображены маленькие, как тараканы, японцы в синих мундирах, с желтой окантовкой, с белыми гетрами на ногах, с желтыми косоглазыми лицами, в синих фуражках с желтыми околышами. Много японских солдат побито, а живые спешат убежать от наступающих русских. А так ли было в действительности?

Эпизоды наших побед были на обложках шоколадных плиток, на папиросных коробках и даже на деревянных шкатулках с чаем “Караван”. В журналах “Нива” и “Родина” появились портреты отличившихся на войне

генералов и старших офицеров, но не было ни одного солдата и о подвигах их не писалось. “Наверх вы, товарищи, все по местам! Последний парад наступает...” и т.д. В скором времени все люди, от детей до стариков, начали распевать, популярную и в настоящее время, песню о гибели “Варяга”. Из наших родных и знакомых никто не был мобилизован на японскую войну и на Дальний Восток не попал.

В этот год наступил срок для моего обучения и подготовки к гимназии. Маме не хотелось отдавать нас в общую начальную школу, и ей кто-то порекомендовал домашнюю учительницу Дернову Анну Афиногеновну, проживавшую в доме протоиерея Андроникова в Борисоглебском переулке, которая содержала такую школу для подготовки детей к поступлению в гимназию. Это была маленькая, худощавая старушка, совершенно одинокая. Вероятно, она была уже на пенсии и, имея свободное время, заполняла его своей любимой работой.

Договорившись с Анной Афиногеновной, мама купила мне букварь, грифельную доску, карандаш, резинку, ручку и деревянный пенал, а также простенький ранец. Я стал учеником, к зависти брата Володи, которому учиться было рано. В сопровождении мамы я робко переступил порог комнаты моей первой учительницы. Одновременно учились у ней 6-8 мальчиков. Я был большой тихоня, даже стеснялся громко отвечать на вопросы учительницы. Появилась ещё одна черта — я, при обращении ко мне посторонних людей, беспричинно краснел и, отвечая, слегка заикался. Занимались мы не более трех часов в день и, получив домашнее задание, расходились по домам. В этой школе я подружился с двумя братьями-близнецами Кравковыми, Борисом и Глебом, и мы даже стали после уроков ходить друг к другу. Кравковы жили в своем доме на углу Покровской и Жоховской (Энгельса и Войкова) улиц. С ними я должен был через полтора года поступать в подготовительный класс гимназии. Начиная учиться у Анны Афиногеновны, я уже знал все молитвы, которые требовались по программе, знал некоторые буквы, но читать и писать ещё не умел. Плохо понимал арифметику, и она уже в те годы мне не нравилась.

После занятий в школе у меня было много свободного времени, которое мы с братом и соседями-сверстниками проводили на воздухе, играя во дворе, а чаще всего — на Муравьевке. В то время Муравьевка была совсем не такая, как в настоящее время. Во-первых, аллея была в два раза уже, во-вторых, Муравьевка на углу Гимназического переулка (ул. Лермонтова) наискось пересекалась проездом к Нижней Дебре, делясь на “большую” и “маленькую”. К проезду с той и другой спускались лестницы. На большой Муравьевке выдавались вперед к Волге три больших площадки, которые назывались бастионами. На них, на деревянных бревенчатых стойках, сто-

яли пушки времен Бориса Годунова. Всего их там было не менее двадцати. Мы всегда играли на этих бастионах и, сидя верхом на пушках, воображали себя всадниками.

На маленькой Муравьевке, по инициативе губернатора Леонтьева, в конце XIX века была открыта детская площадка с игротеккой, где всем детям, приходящим туда со взрослыми, совершенно бесплатно давали поиграть всевозможные игрушки: мячи, кегли, крокеты, деревянные обручи для катания, кубики, деревянные чашечки для песка и даже детские велосипеды и деревянные красивые коней. Туда мы ходили только с мамой или няней, а на большую Муравьевку бегали самостоятельно. Как весело и привольно было организовывать подвижные игры на зеленых нижних площадках, кувыркаться по горам и прятаться от солнца под густыми кронами тополей.

Меня же туда привлекало еще то, что тут на горке, по линии церкви, жила моя сверстница Катя Скороходова, мать которой, тетя Шура, носила нам молоко. У них был свой маленький домик, стоящий на склоне глубокого оврага. Её отец служил в церкви псаломщиком. Катя была очень бойкая, смуглая, румяная девочка с очень милым личиком. Она мне очень нравилась, и я мечтал, что, когда вырасту большой, обязательно женюсь на ней.

Вот эту-то девочку весной 1904 года постигло большое несчастье. В пасхальные дни её отец, подгуляв с гостями, расхвастался своей силой и поспорил, что подымет на плечо любую пушку. Они пошли на Муравьевку. С большим трудом он пушку поднял и тут же упал, надорвавшись. Прележав без движения около двух месяцев, он в возрасте не более 28 лет умер. Вот до какой нелепости может довести человека излишне выпитое вино, а, в связи с этим, ненужное хвастовство.

Катя с матерью остались без всяких средств к существованию, но, благодаря трудолюбию, эта женщина-мать своим подневным трудом и продажей молока содержала себя и свою дочь. Мы продолжали дружить, но года через два дружба наша начала идти на убыль, и мы постепенно забывали друг друга. Через 15 лет, когда Катя выучилась на врача, вышла замуж и превратилась в Екатерину Николаевну Готовцеву, мы уже не узнавали друг друга.

(...)

В октябре месяце папу опять вызвали в клинику, и мы снова вспомнили о нашей любимой печке, которую по вечерам стали навещать все чаще и чаще.

Женя в августе месяце получила назначение в город Кинешму и вскоре уехала туда. Через некоторое время она прислала письмо, в котором пи-

сала, что работает в церковно-приходской школе, а квартиру нашла на Песочной (Красноармейской) улице у сапожника Соколовского.

Неожиданно нас постигло несчастье — в один день мы все трое внезапно тяжело заболели. Приехавший знакомый старик-фельдшер Рубин Геннадий Давыдович сказал, что у нас скарлатина. Тотчас же мама пригласила известного в то время доктора медицины Зеленского, который диагноз подтвердил. По положению, нас должны были изолировать в инфекционное отделение больницы. Мама воспротивилась. Приходили из санинспекции и даже из полиции, но мама не сдалась. У нас сделали дезинфекцию и на квартиру наложили карантин на 45 дней. Общение мамы с людьми было запрещено. Везде ходила только няня Лиза, которой было запрещено входить в нашу комнату.

Лечил нас Геннадий Давыдович исключительно спиртовыми компрессами на горло и всякими смазываниями глотки. Температура быстро спала, и мы чувствовали себя отлично, за исключением того, что шеи наши были сплошными болячками.

Болезнь у всех прошла без осложнений, и я возобновил посещение уроков у Анны Афиногеновны. В этот год со мной пошёл туда и Володя.

(...)

Наступила суровая зима. Мы все время гуляли, не боясь стужи. Однажды мне захотелось над кем-нибудь подшутить. Я начал подзадоривать ребят, говоря, что никому не лизнуть железную петлю у ворот. Никто не решался. Я предложил Лизе, как самой маленькой. Она лизнула и повисла на петле — язык примерз. Я не растерялся и быстро его оторвал. Конечно, было много крови и слёз. Кожа от языка осталась на петле до самой весны. Лиза долго не могла говорить и плохо кушала. Впоследствии говорили, что её небольшая шепелявость получилась благодаря этому случаю. Я уже в то время этому не верил. Следующее лето мы никуда не ездили, ходили к Василевским, а они к нам. Гуляли всей компанией за Волгой, на набережной, ходили на Лазаревское кладбище.

В этот год контракт с епархиальным советом кончился, дом был освобожден и родители приступили к его штукатурке и отделке внутри. К осени мы собирались опять переехать в прежнюю большую квартиру, что потом и осуществили.

Вести с Дальнего Востока были весьма неутешительные. Наши войска терпели поражение за поражением в Маньчжурии. В марте 1904 года на крейсере “Петропавловск” погибли известный адмирал С.О. Макаров и художник-баталист Верещагин. Порт-Артур был осаждён, и как-то зашедший к нам Г.Д. Рубин с еврейским акцентом сказал: “Мы отдали Потатур”, это была правда. Порт-Артур пал.

Вся страна была охвачена забастовками, вооруженными восстаниями, еврейскими погромами. Революция достигла своего апогея после 9 января 1905 года. Волнения перекинулись в деревню. Крестьяне жгли помещичьи усадьбы, самовольно захватывали дворянские земли. Войска не оставались безучастны. Там также вспыхивали бунты. Восстал броненосец “Потемкин”, некоторые корабли поддерживали его. А на Дальнем Востоке все гибли и гибли русские солдаты. Либеральная буржуазия ждала каких-то уступок и милостей от царского самодержавия. Надеялись на Государственную думу, как народное представительство.

Вот, наконец, 17 октября был издан царский манифест, который фактически ничего не давал народу, а был лишь очередным маневром для дальнейших репрессий. Тогда в народе ходил каламбур: “Царь издал манифест: мертвым свобода, живых под арест”.

(...)

Самое большое выступление рабочих и учащейся молодежи в Костроме произошло 19 октября 1905 года, в связи с опубликованием царского манифеста. Костромской комитет РСДРП организовал митинг около памятника Сусанину. Собралось несколько сот учащихся и рабочих. Выступали ораторы. В это время черносотенная организация “Союз русского народа” собрала мелких торговцев, приказчиков, кустарей, ломовых извозчиков и зимогоров с Молочной горы, которых натравила на участников митинга. С криками: “Бей крамольников”, они оглоблями, палками, камнями и ножами начали разгонять и избивать митингующих. Было покалечено свыше ста человек, из которых некоторые умерли от побоев в последующие дни, а семинарист В.А. Хотеновский был убит на месте.

Особенно зверствовал с компанией молодчиков приказчик мучного торговца Лёзова Михаил К...в, который, преследуя учащихся, добежал до дома Каменских на Царёвской улице, куда спрятались несколько гимназисток, ворвался в дом и начал поголовно избивать всех. Бил железной лопатой и пытался протолкнуть свои жертвы в очко холодной уборной. Тут оказались подруги Жени — Беркина, Бекаревич, Мовцович — и другие восьмиклассницы Григоровской гимназии. Шрам от лопаты на щеке Беркиной остался на всю жизнь.

В тот день ожидали еврейского погрома, а потому евреи свои магазины с утра вовсе не открывали, а прочие магазины были закрыты в начале митинга.

Мы с товарищами, услышав о происходящем на Сусанинской площади, пытались туда пробежать, но путь нам преградил городской, пришлось вернуться домой. Няня Лиза ходила на базар и принесла самые свежие новости, так что к вечеру в тот же день мы знали все подробности.

(...)

Минули годы счастливого, беззаботного, дошкольного детства. Пришла пора начинать систематическое образование. Родители имели твердое намерение всем детям дать гимназическое образование. Нам же, мальчикам, хотелось только поскорее щегольнуть перед товарищами и взрослыми гимназической формой. Трудностей обучения в классической гимназии мы себе не представляли и над этим вопросом вовсе не задумывались.

К тому времени мой характер складывался не в мою пользу. Моя скромность, флегматичность, а главное, болезненная застенчивость даже пугали моих родителей. Они очень боялись того, смогу ли я влиться в шумный гимназический коллектив. Эти черты характера складывались у меня, безусловно, на почве врожденной мягкости темперамента и постоянного пребывания в окружении только своей семьи, состоящей в основном из лиц женского пола. Меня как-то не особенно увлекали шумные игры своих сверстников, и я находил большее удовольствие играть один.

Совершенно противоположным складывался характер Володи, которого постоянно тянуло в окружение мальчиков, над которыми он любил всегда брать верх и командовать ими, а на женщин и девочек смотрел “свысока”, предъявляя к взрослым требования безусловного выполнения всех своих прихотей. Над девочками же любил зло подшутить и чем-нибудь их обидеть, и довести до слёз. Эти развивающиеся отрицательные черты характера родителями слабо подавлялись, и в результате они стали принимать эгоистические оттенки. Ему часто многое прощалось, за что мне всегда попадало. В характере Володи мама видела повторение отца, а потому любила его больше, чем меня. Я же повторял черты её характера, а это нравилось папе. Володя жил эмоциями, а я больше рассудком. Эти развивающиеся черты характерно отразились на всей последующей нашей жизни.

Летом 1906 года мама подала прошение на имя директора гимназии о зачислении меня в подготовительный класс. Экзамены были назначены в первых числах августа месяца. К этому торжественному дню мне был сшит новый костюм из серого гимназического сукна, но с нарушением форменного покроя. Вместо тужурки была курточка с резинкой снизу, а вместо длинных брюк были широкие штанишки до колен, и тоже на резинке.

Робко, в сопровождении мамы, я впервые переступил порог своей “alma mater”, где мне суждено было провести одиннадцать лет. Через парадный вход мы прошли во второй этаж и в коридоре стали ожидать начала экзамена, который должен был проходить в помещении подготовительного класса. Мы стояли в коридоре вместе с другими новичками и их родителями, которые знакомились между собой и обменивались замечаниями, а так-

же обрисовывали качества и способности своих будущих гимназистов. Мимо нас проходили важные учителя в форменных сюртуках с портфелями и папками, пробегали шумные гимназисты, которым в этот день предстояло держать вступительные экзамены в старшие классы или переэкзаменовки.

Я стоял у окна и с любопытством смотрел на всё происходящее вокруг меня. Мимо проходил великовозрастный гимназист с курносом, белобрысым, тупым лицом. Сравнявшись со мной, он смачно сплюнул в лестничный пролёт и, сунув руки в карманы брюк и расставив широко ноги, нагло спросил меня: “Ты зачем сюда пришел?” Я ответил: “Поступать в гимназию”. Он слегка ударил меня по щеке. Я не заплакал, но сильно покраснел. Это увидела мама и начала ругать гимназиста. В тот самый момент из класса вышел пожилой толстенький учитель, лысый, с седой бородкой клином. Это был классный наставник подготовительного класса Петр Никитич Виноградов, который привел к порядку обидевшего меня гимназиста, сказав, что это второгодник Алякритский Геннадий, который будет им наказан. С Алякритским пришлось мне учиться впоследствии ещё несколько лет.

Нас, экзаменующихся, ввели в класс и посадили на парты перед большим столом, накрытым зелёным сукном. За столом стояла разлинованная



Муравьевка в начале XX века. Справа — Костромская гимназия, рядом — Епархиальное женское училище.

классная доска. Председателем экзаменационной комиссии был, как я позднее узнал, инспектор гимназии Андрей Николаевич Орлов, очень полный черноволосый мужчина, средних лет, и членами — священник о. Аполлос Благовещенский и П.Н. Виноградов.

К столу нас вызывали по трое. Священник заставил меня прочитать молитву “Отче наш” и ещё спросил, часто ли я хожу в церковь. Андрей Николаевич задал несколько вопросов по таблице умножения и дал несколько предложений на сложение и вычитание. Пётр Никитич заставил написать мелом на доске четыре-пять слов. Стесняясь и краснея, экзамен я выдержал. Я упросил маму идти на базар, даже не заходя дамой. Долго примеряя, я выбрал в шапочном магазине Синицына форменную синюю, с белыми кантами и большим серебряным значком фуражку и тут же надел на голову. На обратном пути мы зашли в писчебумажный магазин “Костромич”, где купили необходимые учебники и канцелярские принадлежности. Ранец с тюленьей крышкой был куплен мне ранее. Дома перед друзьями у меня было много разговоров о гимназии, об экзаменах, а, в конце концов, весь разговор я сводил на новую фуражку, которую давал всем примеривать.

Новый учебный год в то время начинался с 16-го августа. Я опять в сопровождении мамы во всеоружии пошёл в гимназию. Меня там сразу ошеломил шум, крик и беготня нескольких сотен гимназистов всех возрастов. Мы шли уже через двор, так как ученикам через парадный вход проходить было воспрещено. В саду и на игровой площадке гимназисты играли в лапту, городки, футбол. Маленькие бегали по тенистым аллеям парка. За порядком следили классные надзиратели. Мы прошли в тот же коридор, где были во время экзамена. Вскоре всех новичков Пётр Николаевич взял в класс и рассадил за парты. Я попал на парту во втором ряду сбоку, к окнам на Муравьёвку.

Со мной был посажен Ваня Смирнов. Всего в классе оказалось сорок три ученика, из которых были два второгодника — Геннадий Алякритский и Владимир Сальков. Они были выше каждого из нас больше чем на голову и старше на два, три года. С первых дней они пытались взять класс в свои руки, но среди приготовишек оказались такие серьезные мальчишки, которые сумели дать им достойный отпор.

Русский язык, чистописание, рисование и арифметику вел у нас Пётр Никитич, закон Божий и древнеславянский — отец Аполлос, и пение — классный надзиратель Борис Владимирович Пиллер. Вот я и стал почти настоящим гимназистом, хотя в приготовительном классе разрешалось не придерживаться полной формы. Разрешалось носить штатские пальто, короткие штанишки и даже валяные сапоги.

В нашей семейной жизни к тому времени также произошли некото-

рые изменения. Прежде всего, мы снова переехали во вновь отделанную квартиру, в которой жили первый год. Няня Лиза по семейным обстоятельствам от нас ушла, и на её место мама взяла Машу Бабутину, девушку лет семнадцати. Это была высокая, неуклюжая и некрасивая деревенская девица, совершенно неграмотная, но очень сильная и трудолюбивая.

Бабутины были нам знакомы давно. Тетя Матрена, мать Маши, носила нам молоко от своей коровы и другие продукты сельского хозяйства и была очень дружна с мамой. Каждый раз они подолгу вдвоем попивали чаёк, а иногда баловались и винцом. Это была маленькая, юркая женщина, ровесница маме, веселая; подвыпив, любила попеть и поплясать. Она уже несколько лет вдовела. Её муж Яков Иванович, съезжая в Татарской слободе с горы, упал с воза сена между телегой и лошадьё и переломил себе позвоночник. Всю семью поднимала тётя Матрена со своим старшим сыном Иваном и снохой Евлампией. Второй сын, Николай, работал в Костроме приказчиком у известного рыборотговца и коннозаводчика Василья Николаевича Скалозубова, который очень хорошо относился к Бабутиным, много помогал деньгами и продуктами, а когда у них пала лошадь, он им дал безвозмездно хорошую лошадку Юзву. Года через два Николая взяли на военную службу, в Балтийский флот, и он уехал в Кронштадт. В семье тётя Матрены оставалась ещё девочка Феня, лет 10-11, и сын, тоже Николай, пяти лет. Жили они в деревне Подольце Минской или Пушкинской волости. Жили бедно, и мама помогала им, чем могла. Я более подробно останавливаюсь на описании жизни этой семьи потому, что их жизнь прошла параллельно с жизнью нашей семьи, при взаимной помощи с обеих сторон. В этом же году возвратился в Кострому мой двоюродный брат Иван Николаевич Колгушкин с семьёй. Он был медицинским фельдшером, свое дело знал очень хорошо, но из-за злоупотребления алкоголем на работе подолгу не удерживался. На этот раз он собирался обосноваться здесь на постоянное жительство.

Это был человек средних лет и среднего роста, со светло-рыжими волосами, с красноватым, некрасивым, но довольно привлекательным лицом, добродушный шутник и любитель анекдотов. Он был женат на очень скромной и безобидной женщине Наталье Васильевне Красовской, дочери мелкого почтового чиновника.

В то время у них были две дочери: Катя, лет трех, и новорожденная Нюра. Материально жили они плохо, но ни тот, ни другой на свою жизнь не жаловались, не унывали и никогда не говорили о своей нужде. Мои родители их очень любили. Когда приходил Иван Николаевич, то на столе всегда появлялись разделанная селедочка, копченая колбаска и графинчик с водкой, подкрашенной рижским бальзамом. Иван Николаевич вынимал кожаный портсигар, наполненный папиросами собственной набивки, угощал

маму, говоря: “Попробуйте наших, медицинских”, а потом, выпив и закусив, с большим юмором передавал всевозможные городские новости, что он делал просто артистически. Часто они приходили к нам всей семьей. Наталья Васильевна всегда была добродушно настроена, мужа за его вышивки никогда не журила и все его похождения всегда скрывала от окружающих. Она очень оригинально смеялась, всегда сильно щуря глаза.

Увлечшись описанием своей домашней жизни в окружении родных и близких знакомых, я отступил от основной темы о первых шагах своей гимназической жизни. Продолжаю.

Первый же день моего учения омрачился для меня неприятностью. Гимназистам младших классов разрешалось головные уборы и калоши брать с собой в парту. За уроком Петра Никитича, поспорив с Ваней, у кого на фуражке больше значок, я вынул её и хотел ему показать. Это увидел учитель и, не говоря ни слова, взял меня за рукав и вывел к доске. Я сильно покраснел и стоял до конца урока, не поднимая глаз. Это было для меня первое и последнее наказание за все время моего пребывания в гимназии.

Во время перемен все ученики в обязательном порядке выходили в актовый зал, который находился в том же этаже, через коридор от нашего класса. Мне этот зал казался огромным, так как таких больших комнат мне никогда не приходилось видеть. В глубине зала, у окон, выходящих на Гимназический переулок, был невысокий помост для эстрадных и прочих выступлений, а на стене висели два больших овальных портрета царя Николая II и царицы Александры Федоровны, в золотых рамках с коронами наверху. В других простенках между окнами, выходящими на Муравьеву, были во весь рост раскрашенные портреты всех императоров, начиная с Александра I.

Из зала, справа в углу, была дверь в умывальную комнату и палатку, как у нас называлась уборная. Посередине той же правой стены была дверь в квартиру директора. Вокруг стен стояли тяжелые дубовые скамейки со спинками. Шустрые мальчишки в перемену устраивали подвижные игры и беготню, катаясь на ногах по гладко натертому паркету.

Я никогда не принимал участия в шумных, подвижных играх, а сидел на скамейке, дожидаясь звонка на урок. Если во время перемены проходил через зал в свою квартиру директор Николай Николаевич Шамонин, то он всегда останавливался среди зала и кричал на учеников громким голосом. Мгновенно шум и крики стихали, и ученики как бы замирали на месте и потом тихо направлялись к скамейкам.

В большую перемену я бегал домой завтракать. Заботливая мамочка всегда к этому времени приготавливала вкусный горячий завтрак, стакан молока или чашку чаю. Вначале очень трудно было просидеть пять уроков в

день, а ещё тяжелее было готовить уроки дома, в особенности весной и ранней осенью. Природа звала на свежий воздух, во двор, в сад или на Муравьевку. Тяжело было приучить себя к режиму, но другого выхода не было.

Как-то за уроком закона Божьего я, видимо, задумался или засмотрелся в окно и не слышал объяснения о Аполлоса. Он это заметил и заставил меня повторить то, что он рассказывал. Я, конечно, ничего не знал и стоял, потупив глаза на парту. Он посадил меня и поставил единицу. Правда, на другой день он вызвал меня к столу, я ответил урок без запинки, и он переделал единицу на четверку. В бальнике, который вручался нам каждую субботу для показа родителям, за эту неделю в графе “внимание”, вместо ожидаемой пятерки, была четверка.

Помню, в октябре месяце, утром, к зданию гимназии стройными рядами подошли семинаристы, гимназистки Григоровской гимназии и учащиеся химико-технического училища имени Чижова с целью снять с уроков гимназистов старших классов с тем, чтобы отметить годовщину избения участников митинга на Сусанинской площади 19 октября 1905 года.

Напуганная революцией, администрация гимназии препятствий не чинила и полицию не вызвала. Демонстранты вошли в актовъый зал, развернули красные и чёрные флаги и начали митинг. Старшие гимназисты с уроков были сняты и вошли в зал.

Нас же Петр Никитич из класса не выпустил, но урока не проводил, так как стоял у выходной двери. Мы смирно сидели за партами, хорошо слышали речи ораторов, а потом и пенье: “Вы жертвою пали...” и “Марсельезу”. Вскоре все разошлись по своим учебным заведениям.

В этом же году мне впервые пришлось быть на общественной ёлке, которую организовали дамы-общественницы в том же актовом зале во время рождественских каникул.

Ёлка была до самого потолка и освещалась маленькими электрическими лампочками, видимо от батарей, так как электричества в то время в Костроме не было. Ёлка все время крутилась. Это тоже вызывало восторг. Зал был украшен зелеными гирляндами из ветвей ели, по стенам, также в обрамлении ельника, были развешены картонные золотые щиты и гербы. Кругом были гирлянды флажков. Запах хвои смешивался с запахом дорогих духов дам-патронесс, играл гимназический симфонический оркестр, угощали мороженым. Я был с мамой и Володей. Здесь я уже веселился, играл вместе со всеми в подвижные игры вокруг ёлки и даже принимал участие в хоровом пении. Всё было очень весело и ново для меня. Финал был несколько омрачен. Все получили пакеты с фруктами, орехами, конфетами и пряниками, а в конце вечера ёлку умышленно повалили на пол и устроили “свалку”, разрешив снимать себе с елки игрушки, какие кому нравятся. Вот тут-

то, из-за своей скромности и малоподвижности, мне получить ничего не пришлось. Володя же снял маленького металлического коня. Мне было очень обидно на себя, но все же этот праздник остался мне памятным на всю жизнь

Быстро шло время. Прошла Масленица, наступил Великий пост, пахнуло весной. Для меня же снова явилась забота — мне предстояло идти на исповедь и причастье, так как после Пасхи нужно было представлять в гимназию справку из церкви. Причащаться я любил, так как там давали попить теплого красного вина, хотя и разбавленного водой, а вот, как исповедываться, о каких грехах говорить попу — это было для меня большой задачей. Но всё сложилось очень хорошо. Мама повела меня в церковь Бориса и Глеба, где отец Алексей Андроников детей не заставлял рассказывать о своих грехах, а говорил сам, что надо делать, как почитать своих родителей и наставников, как любить Бога, царя и прочее. Потом накрывал исповедуемому голову епитрахилью и читал какую-то молитву. На другой день мы торжественно принимали “тело и кровь Христову”.

А там веселые пасхальные каникулы, ледоход на Волге и кругом весна. Двадцатого мая кончался для меня первый гимназический учебный год. Вступительные экзамены в первый класс трудности не представляли — я их успешно выдержал и стал уже настоящим гимназистом. Все учащиеся, поступающие из подготовительного класса, зачислялись в первое отделение, а остальные — во второе. Первое отделение почему-то считалось привилегированным, видимо потому, что туда же зачислялись пансионеры из дворян, а также дети видных и чиновных костромичей. В моё время в гимназии уже не было “палочной” дисциплины и грубого обращения с учениками. Наоборот, обращение учительского и обслуживающего персонала было подчёркнуто вежливо. Нас, малышей, уже с первого класса называли на “Вы”, а при обращении к ученику говорили: “Господин такой-то”, называя только по фамилиям.

(...)

Я не буду подробно описывать обучение в первых классах гимназии, так как оно ничем не отличалось от обучения в любой школе того времени. Уроки, перемены и опять — уроки и перемены.

С первого класса было уже раздельное предметное преподавание. Пришли новые учителя, так как Пётр Никитич и о. Аполлос были допущены к преподаванию только в подготовительном классе, как не имевшие высшего образования. Самым строгим и уважаемым учителем был у нас математик Павел Дмитриевич Яковлев. Он никогда не повышал голоса, никому не делал ни одного замечания, был строг, никогда не шутил и никогда не улыбался.

Он говорил мало, но веско и убедительно. До сих пор не могу понять, какие внутренние силы его психики действовали на учащихся, но ни один

из нас никогда не решился бы за его уроком допустить какой-либо шум или неуместную выходку. Не помню случая, чтобы он кого-нибудь удалил из класса, записал в “конduit” или поставил в угол. Ни один гимназист не приходил на его урок не подготовившись, но все же двойки были, так как Павел Дмитриевич требовал сознательного усвоения материала, а не зубрежки.

Несколько в другом духе был преподаватель немецкого языка Карл Карлович Дотцауер. Это был высокий, плотный старик с складистой, седой бородой. Говорил он с большим акцентом. Мы его боялись, так как он был вспыльчив, иногда громко кричал на тех, кто плохо был подготовлен. В таком состоянии он щедро награждал двойками. Когда же он бывал в добродушном настроении, он шутил и подсмеивался над “незнайками”, всегда говоря: “Тышка, патышка, что ты говоришь-ка”. Он любил русские пословицы, но часто их перевирал. Например, говорил: “Пуганая ворона на хвост садится”, “Не страшен черт, как его малютка”.

Большинство из нас не любили немецкий язык, так как он преподносился Карлом Карловичем с повышенными требованиями. Так, например, уже во втором полугодии в первом классе он заставлял нас объяснять содержание какой-нибудь раскрашенной картины из немецкой жизни на немецком языке с полным соблюдением правил грамматики. Требователен был и к диктантам, за которые я неоднократно получал у него двойки.

Вольно держали себя некоторые гимназисты на уроках русского языка у учителя Виктора Ивановича Кузнецова, на уроках природоведения у Дмитрия Сергеевича Селезнёва, а особенно — на уроках рисования и чистописания у Дмитрия Николаевича Сизова. Боялись и слушались законоучителя о. Василия Соколова, но его почему-то в том же году с работы сняли, и на его место был назначен о. Михаил Раевский, который во все последующие годы был классным наставником этого класса. Это был болезненный, худой, невысокий человек, которого мы все искренне уважали за его справедливость и доброту. Оценок по закону Божьему у нас никто ниже пяти не имел. Я здесь назвал только тех учителей, которые преподавали в первых двух классах, о других же будет разговор в дальнейшем.

Надо отдать справедливость гимназии в том, что почти все уроки хорошо оснащались наглядностью. Много было различных приборов и пособий, реактивов, картин, схем, карт, атласов и прочее.

Надо сказать, что в гимназический курс совершенно не входило преподавание, как отдельных предметов, географии и химии. Краткое понятие об этих дисциплинах давалось в курсе природоведения. Кончая гимназию, мы не знали ни одной химической формулы, но зато могли похвастать знаниями древних и новых языков, из которых обязательными были латинский, немецкий и французский.

Продолжаю описание нашей домашней жизни.

В эти годы у моих родителей возобновилось знакомство со старыми друзьями — Ладе Георгием Христиановичем и Маргаритой Фёдоровной. Это были обрусевшие немцы Поволжья. До приезда в Кострому Георгий Христианович работал управляющим министра внутренних дел Плеве в Порошине близ Плёса. В Костроме он устроился заведующим казенной винной лавкой на Молочной горе, и тут же ему была предоставлена квартира; они были несколько моложе моих родителей, но дружили ещё со времени первого пребывания моих родителей в Костроме.

У них было много детей различного возраста: Мария, Елизавета, Шарлотта, Фридрих, Амалия, Маргарита, София и Эльфрида; старшей, Марии, было около двадцати лет, и она в этом году вышла замуж и уехала в Москву. Елизавета была ровесницей Жени, Фридрих, или Фриц, был старше меня на один год, Амалия была ровесницей Володи, а Маргарита — Лизы, а остальные две девочки были еще моложе. Дружба нашей семьи с Ладе была очень крепкой, и друг друга мы навещали довольно часто. С нами, мальчиками, дружил Фридрих, которого в тот год устроили учиться во 2-ю гимназию, а с Лизой дружила Маргарита, днюя и ночуя у нас по неделям.

Таким образом, наш круг знакомства ограничивался семьями Василевских, Ладе и И.Н. Колгушкина. Кроме того, в праздники нашу семью навещали Д.И. Михин, Павлов, Г.Д. Рубин, дьякон Рождественской церкви Федор Иванович Сперанский, а вскоре сдружился с нашей семьей и Пётр Никитич Виноградов, который, навещая нас с Володей как классный наставник, сблизился с родителями и стал нашим желанным гостем и другом.

Даже сейчас, спустя десятки лет, меня просто поражает энергия, изворотливость и хозяйственная сметка мамы. Так, например, для увеличения бюджета семьи она решила взять 8-10 человек учениц епархиального училища на полный пансион, с оплатой за квартиру, стол и все прочее обслуживание по 10 рублей в месяц с человека. И вот в течение 2-3-х лет они вдвоём с Машей обслуживали такую большую семью.

Комнату же над парадным входом она сдавала одиноким квартирантам, с питанием, за 30-36 руб. в месяц. Припоминаю некоторых из них: чиновники особых поручений при губернаторе П.П. Ануфриев, Скалон, К.Н. Друцкой-Сокольниковский, учитель гимназии В.В. Крашенинников и другие.

Мирно и безмятежно текла наша жизнь, но это только казалось нам так в то время. На самом же деле папина болезнь прогрессировала. Он стал ходить все хуже и хуже, начало слабеть зрение, он сделался очень раздражительным, капризным и, как я узнал потом, сильно ревновал маму ко всем знакомым мужчинам, в особенности к квартирантам.

(...)

Каждые каникулы сестра Женя приезжала домой и всегда привозила нам какие-нибудь небольшие подарки. Особенно памятны мне большие шоколадные кошки в красивых картонных коробках. От кошек аппетитно пахло шоколадом и лаком. Эти кошечки жили у нас долго, но постепенно у них стали исчезать хвосты, лапки, а потом и головы — мы медленно их съедали. В качестве сувениров в каждой кошечке мы нашли завернутые в папиросную бумагу какие-то бронзовые брелоки.

Мама стала замечать, что Женя сильно худеет, нервничает и всегда торопится скорее вернуться в Кинешму. Она начала расспрашивать её и, наконец, выпытала, что у неё серьёзный роман с хозяйским сыном Дмитрием Соколовским. Это был молодой человек, лет двадцати шести, высокий, стройный, энергичный, но в то же время неразговорчивый, замкнутый и очень самолюбивый. Он сдал экзамен на звание народного учителя, но места ему не давали, так как он за революционную работу был под надзором полиции.

За расклейку прокламаций по городу Кинешме он привлекался к ответственности и в 1905 году в административном порядке высылался в Нижегородскую губернию. Средства к жизни он добывал репортерской работой. Очень талантливо писал сатирический раешник, который печатался в костромском “Поволжском вестнике”. Туда же он давал и хронику.

Большим ударом для родителей был этот роман. Для Жени им хотелось иметь мужа обеспеченного и, как тогда говорили, с положением. В данном же случае ждать чего-либо постоянного было трудно. Соколовский не мог поступить на государственную службу по политической неблагонадежности. Даже проживание в губернском городе ему разрешалось не более трех месяцев. Он имел, так называемый, “волчий билет”.

А женихи-то у Жени были. О двух из них мне и хочется вспомнить. Как-то, за 2-3 года до описываемого мною периода, к нам частенько стал наезжать знакомый архимандрит и настоятель Бабаевского монастыря, по фамилии Татауровский. Он присматривался к Жене и все время нахваливал своего брата Николая, который служил где-то в пехотном полку и имел чин капитана. Тот собирался жениться. В то время ему было уже под сорок лет. Как-то архимандрит привез его к нам, чтобы познакомиться.

На моих родителей он произвёл хорошее впечатление. Был он высокого роста, со светло-серыми глазами, русый, имел пышные усы, лицо было симпатичное, но носило на себе следы бурной жизни. Как потом оказалось, он имел крупные долги и не находил другого выхода, как восстановить свою

репутацию и расплатиться с долгами выгодной женитьбой.

Пока “молодой” Татауровский гулял с Женей по городу, его старший брат договаривался с родителями. Без всяких обиняков он сказал, что брату нужны деньги и он не может согласиться на брак, если в числе приданого не будет 10000 рублей наличными деньгами.

Конечно, таких денег у моих родителей не было, и эта сделка не состоялась. Братья уехали и больше у нас никогда не были. Много позднее мама узнала, что Николай Татауровский выгодно женился на дочери богатого сельского священника. В приданое получил церковный приход, имущество, деньги и, выйдя в отставку, стал священником, так как он в свое время окончил духовную семинарию.

Запомнился ещё один интересный претендент в женихи. Это был учитель Кинешемского городского училища, где преподавала Женя, Василий Васильевич Коновалов. Он ухаживал за Женей в Кинешме, а летом приехал в Кострому и явился к родителям с официальным предложением “руки и сердца” Жене.

Из разговоров они знали, что Коновалов недалёкого ума, большой материалист, скупой до болезни, сероват в обращении с людьми и весьма неинтересный как мужчина. Он пришёл к вечеру. Чай был, как всегда в хорошую погоду, накрыт на улице у ворот, где у нас в то время был постоянный стол и под углом две скамейки. Мы любили там пить чай, чтобы обязательно на столе кипел самовар, дымящий шишками.

Коновалов был высокого роста, угловатый в движениях мужчина, лет тридцати, с некрасивым широкоскулым лицом и небольшими русыми усами. Трудно подумать, чтобы он мог понравиться развитой и воспитанной девушке. Подходя к чайному столу, где уже сидела вся наша семья, он, чтобы что-нибудь сказать, взглянув в небо и увидев летящую стаю ворон и галок, вымолвил: “Сколько много, необходимо, больше ста!” Впоследствии мы все очень долго смеялись над этим “афоризмом”. Сидя за столом, он рассматривал чайный сервиз, щупал скатерть и все время спрашивал родителей: “Это, наверное, дорого стоит?” или: “А сколько Вы платили за эту вещь?” Потом стал посвящать всех в свои планы на жизнь и показывал заранее составленный список вещевого приданого, которое он должен выговорить за своей невестой. Там было указано все, начиная от обстановки, посуды, постельного белья до мелочей женского туалета. Такого жениха сами родители не пожелали Жене. Конечно, в этот раз сказали ему обычную в таких случаях фразу: “Мы подумаем и обсудим”.

Были и другие, более подходящие, но Женя в то время ни от кого никаких ухаживаний не принимала. Это-то и натолкнуло моих родителей на мысль, что её сердце уже занято. Они категорически запретили Жене даже

думать о браке с Соколовским и просили её перевестись по работе в другое место.

Казалось, что Жёня всё поняла, но на деле получилось совсем не так. К началу учебного года Жёня опять уехала в Кинешму. На рождественские каникулы не приехала вовсе, а весной нам сообщили, что она серьёзно заболела. Мама срочно выехала туда и привезла её домой почти в бессознательном состоянии.

Были приглашены лучшие костромские врачи: Зеленский, Понизовский, Дримпельман и другие, которые поставили диагноз: тяжёлая форма нервной горячки. Жёня была в бессознательном состоянии, фельдшера Иван Николаевич и Геннадий Давыдович по очереди дежурили у её кровати. Часто в беспамятстве она вскакивала с кровати, пытаясь куда-то бежать, бессвязно бредила, иногда помяная имя Дмитрия. Было похоже на полное психическое помешательство, причём при очень высокой температуре. Врачи уже не ручались за благополучный исход болезни, а потому родители решили её причастить и пособоровать.

Всю эту картину я хорошо помню. Особенно врезался в память обряд соборования. Два священника и два дьякона, облаченные в чёрные ризы, с кадилами, пели какие-то траурные песнопения, напоминающие отпевание покойника или панихиду, над головой и в ногах стояли большие свечи в подсвечниках. В руках всех присутствующих также были зажженные свечи. Женщины плакали. Потом священники помазали больную мирром, т.е. душистым маслом, — лоб, щёки, руки и ноги болящей, изображая на коже маленькой кисточкой кресты, и причащали её. Наконец, читали, так называемую, “отходную”. Все присутствующие в это время вставали на колени. Жёня была в полусознании, и, когда ей предлагали перекреститься, она крестилась.

В последующие дни улучшения состояния больной не было. Кто-то посоветовал вызвать Дмитрий Соколовского. Срочно послали телеграмму, и на другой день он приехал. Жёня, услышав его голос, пришла в сознание. Он не отходил от её кровати в течение целой недели. Болезнь быстро пошла на излечение, и через несколько дней Жёня уже была в состоянии вставать с постели. От неё тщательно скрывали обряд соборования, так как в то время было предубеждение, что соборованный человек не должен вступать в брак, а должен идти в монастырь.

Родители, учтя обоюдную любовь этой пары, решили больше не препятствовать их браку, но просили особенно не торопиться и дать время подготовить необходимое приданое. Весной 1909 года у Дмитрия кончался срок политических ограничений и он освобождался из-под надзора полиции.

Однажды вечером в конце июня месяца, сидя за вечерним чаем на своем излюбленном месте, мы были напуганы каким-то шумом и хлопками вроде выстрелов, которые с большой скоростью приближались с запада. В те времена, конечно, не летали ни самолеты, ни ракеты. Мы все подняли вверх головы и увидели, как какой-то раскаленный огненный шар, очень напоминающий по величине и форме наш медный самовар, с огромным шумом промчался в восточном направлении, оставляя за собой длинный светящийся хвост.

Мы все были страшно поражены этим явлением, не зная, на что подумать. Родители вывели заключение, что это не что иное, как “огненный змий”. Через несколько дней узнали, что в Сибири, в районе реки Подкаменной Тунгуски, упал небывалой величины метеорит.

Среди простого народа шли слухи, что в мире обязательно что-то должно случиться. Одни говорили, что скоро опять будет война, другие ждали второго пришествия. Ни того, ни другого не случилось, а произошло неожиданное и вовсе не связанное с метеоритом событие.

В июле месяце Кострому навестила холера, пришедшая вместе с яблоками и арбузами из Астрахани и Царицына. Сперва были отдельные случаи заболеваний среди работников пароходств и грузчиков, а потом заболевание быстро стало распространяться и на горожан. Все возможные в то время меры были приняты. Санитарные организации вывешивали объявления, плакаты и аншлаги с предупреждением, чтобы не пить сырой воды, не купаться, не есть непромытые в кипящей воде фрукты и овощи.

Имеющихся больничных стационаров уже не хватало. Были специально построены большие тесовые бараки около пристаней и в конце Мясницкой улицы. Над бараками вывешивались желтые флаги как символы острозаразного заболевания. По улицам города разъезжали закрытые фуры с такими же флагами. Везде в городе пахло карболовой кислотой. Широко применялся известковый раствор, которым заливали умерших от холеры, уборные, выгребные ямы и прочие места общественного пользования.

Наибольшее количество заболеваний падало на городские окраины, на Заволжье, фабричную часть города, но и в нашем районе также были случаи заболеваний, даже молниеносной формой холеры. Так, один из них пришлось наблюдать мне на нашем дворе. К прислуге жильцов из третьей квартиры пришёл её родственник, красивый, кудрявый паренёк лет 16-ти, и сел на крыльцо. Я его знал, подошел к нему и присел рядом. Мы стали о чем-то говорить. Вдруг он схватился за живот, застонал и очень побледнел. Я напугался и отбежал от него на своё крыльцо. Выбежали его родственница и другие жильцы. Все сразу определили приступ холеры. Побежали в

санитарный пункт. Мальчик упал на землю, у него открылась рвота, он сто-нал и корчился от судорог, сильно скрежеща зубами. Скоро приехала фура. Больного отвезли в барак, а место, где он сидел и лежал, облили раствором негашеной извести и карболовой кислотой. К вечеру паренек умер. Смер-тельных случаев было много, так что в конце Лазаревского кладбища при-шлось отводить специальное место.

К счастью, холера свирепствовала недолго. К концу сентября месяца эпидемия прекратилась, с тем чтобы в следующем году вспыхнуть с ещё боль-шей силой.

Попутно хочется вспомнить о свободном от классных занятий време-ни. О том, какие игры и развлечения занимали нас в первые годы ученичес-кой жизни.

В стенах гимназии, кроме шумных подвижных игр, мы организовы-вали и тихие. Так, в первых классах все до одного увлекались игрой в “пё-рышки”, в “картинки” и в “фантики”. Каждый гимназист имел целую кол-лекцию перьев, которые, в зависимости от их формы, отделки и величины, имели различную условную стоимость, независимо от того, сколько за них было уплачено в книжном магазине. Игры в пёрышки были разнообразны. В одном случае они напоминали игру в “чижика”. На тупую часть пера на-давливали другим пером, пытаясь его перевернуть и, таким образом, выиг-рать; в другом случае, как и в игре в фанты, перо клали на ладонь и ударяли ей о край парты, стараясь попасть своим пером в перо партнера, и т.д.

Большой азарт вызывала игра в картинки. Во всех писчебумажных магазинах продавались красивые штампованные картинки из тонкого кар-тона, изображающие цветы, небольшие пейзажи, букеты и пр. Они прода-вались целыми небольшими листами и предназначались для наклейки в аль-бомы, что и делали девочки. Нас же интересовал азарт выигрыша. От листа отрывались отдельные картинки, закладывались в какую-нибудь книгу че-рез лист или через два, а потом игроки пером просовывали между листов книги. Если игрок не попал туда, где была вложена картинка, он отдавал перо, а попавший брал себе картинку. Такие игры, как вызывающее азарт и материальные расходы, в классе не разрешались, но и строго не преследо-вались.

В гимназии была своя самодеятельность, ставили театральные поста-новки, проводили концерты и устраивали танцевальные вечера. У старших гимназистов был очень неплохой хор, под управлением классного надзира-теля и учителя пения Б.В. Пиллера, был симфонический оркестр, руково-димый учителем музыки. На школьные вечера приглашались родители и

гимназистки. Выступали хор, оркестр и солисты. Хорошими вокальными данными владели Николай Сологуб и Иван Виноградов, руководил танцами восьмиклассник Треберт, соло на скрипке исполнял Антон Цимблер, а драмкружок был в руках Бориса Славочинского, который впоследствии, окончив университет и получив диплом врача, всю жизнь отдал театру, выступая под фамилией-псевдонимом “Седой”.

К сожалению, все они окончили гимназию, пока я был в первых двух классах. На их место подрастали новые и новые кадры, пока очередь не дошла и до нашего класса. Нередко по праздничным дням организовывались литературные чтения, так называемые “воскресники”, — силами старших гимназистов и некоторых учителей. Чтения сопровождалось показом цветных картин с помощью проекционного фонаря. Так как в Костроме в то время электрического освещения не было, то фонарь освещался ацетиленом, получаемым из карбида кальция. Запах в помещении был очень сильный, и у всех по окончании сеансов всегда болела голова.

Кино тогда только начинало входить в обращение и было монополией временных тесовых балаганов, которые устанавливались на площадях во время ярмарок и народных гуляний в Рождество, Масленицу и в Пасху. Показывали тогда за пять копеек маленькие эпизоды из японской войны, комедии-шутки с участием американского киноартиста Макса Линдера, похождения Глупышкина и другие. Были иногда и цветные феерии, но длина пленки была не более 300-400 метров и весь сеанс длился около 15 минут. Стук, трескотня и шум движка сотрясали балаган и заглушали все звуки, вплоть до музыкального инструмента, сопровождающего сеанс, так как кино, конечно, было немое. Видимость на экране была плохая, как сквозь дождь, движения неестественные и неравномерные, так как аппарат приводился в движение с помощью ручки руками. Такие увеселительные предприятия почему-то назывались “синематографами”. Не зная лучшего, мы их охотно посещали.

Много веселее и разнообразнее были игры дома, во дворе, на улице и на Муравьевке. Эти игры с возрастом приобретали различное содержание, меняясь и усложняясь, но они всегда носили массовый, групповой характер и отражали всевозможные события, происходящие в то время в России. Во время японской войны мы играли в войну и революцию, но больше всего любили играть в “казаки-разбойники” и в “сыщиков”.

Большими выдумщиками в этой части были Слава Василевский и брат Володя. Когда Слава начал учиться в Ярославском кадетском корпусе, то все каникулы проводил у нас, даже с ночёвками. Кроме того, к нам в то время приехали новые квартиранты — Моргенфельды, у которых были три дочери, учительницы музыки по классу рояля, и младший сын Карлуша,

который ещё не учился в гимназии, но ходил в детскую музыкальную школу. Их родители, Карл Христианович и Августина Карловна, были уже в пожилом возрасте. Это были типичные немцы, педантичные, со строгим распорядком дня, пунктуальные и с претензией на аристократизм.

С Карлушей мы очень сдружились, так как по возрасту он был нам ровесник. Нам всегда было смешно, когда заигравшегося с нами мальчонка к вечеру вызывали домой, переодевали в детский костюмчик немецкого образца, с большим, белым, крепко накрахмаленным воротничком, в виде хомута, и с огромным шелковым галстуком, а на “долговязые” ноги надевали детские коротенькие штанишки и фасонные туфли, а потом вели его на городской бульвар, где он был обязан сидеть около сестёр и, конечно, страшно скучать. Мы всеми средствами старались избавить его от таких испытаний и часто к этому часу уводили его на Волгу или в ближайший лес. Потом он получал выговор и даже иногда ставился в угол, но всё же весело проведённое с нами время стоило того, чтобы полчаса постоять в углу, чем три часа без движения высидеть на бульваре. Нам очень нравилось нарушать режим семьи Моргенфельдов, и мы постоянно придумывали средства для этого, первоспитывая Карлушу в более вольном духе.

Мы очень часто играли в солдаты. Роль офицера выполняли я или Слава, Володя был знаменосцем, а Карлуша один выполнял роль целого духового оркестра. Инструментом ему служила одна большая садовая лейка. В трубку он издавал музыкальные звуки, а дно лейки служило барабаном. Имея большие музыкальные способности, Карлуша выполнял свою роль отлично. Ребятишек для игры мы приглашали со всех дворов, и их набиралось человек до пятнадцати.

Происходили у нас и “войны”, которые чаще всего были с ребятами Дурляпиными, проживавшими на соседнем дворе, примыкающем к нашему двору с задней стороны; у них также собиралось целое “войско”. Активное участие в военных играх с их стороны принимала старшая сестрица Шура Дурляпина, которая по азарту и смелости превосходила любого озорного мальчишку. Ей в то время было около шестнадцати лет. Это была очень симпатичная блондинка, но мы ее просто ненавидели и дразнили “белобрысой крысой”. Война иногда принимала столь угрожающие формы, что приходилось вмешиваться родителям обеих сторон. В особенности было опасно, когда в ход пускались большие камни. Тогда разбивались лица и стёкла в окнах дурляпинского дома. Мы прятались в крепости, сооружённой из больших ящиков.

Однажды из ихнего двора к нам был подослан “лазутчик”, который заявил, что не желает больше дружить с Дурляпиными, так как они его побили. Не проверив как нужно, мы приняли его в наше “войско” и произве-

ли в знаменосцы. Как-то, проходя строем мимо забора дурляпинского двора, он быстро перебросил “знамя” через забор и перескочил туда сам. Мы сначала растерялись, а потом на “военном совете” решили зазвать его к себе и наказать. Начали переговоры. Он согласился вернуть знамя и снова дружить с нами. Мы собрали “военный суд” на чердаке над погребками. Было постановлено виновного наказать двадцатью ударами ремнём. “Экзекутором” был назначен Слава Василевский. Мы связали “преступнику” руки и увели его в “проулок” между флигелем и забором, сняли с него штаны, примерно выпороли, в штаны положили крапивы и выгнали его со двора. Больше он к нам не показывался и никому не жаловался.

Много было у нас забав, и не только военного направления. Однажды по инициативе Славы мы решили через вырытую яму пролезть в Америку. Недолго раздумывая, мы приступили к осуществлению этого плана. В этом “сложном” мероприятии принимали участие я, Володя, Слава, Фриц и Карлуша. Яму начали рыть за сараем. Когда не стало возможности выбрасывать песок лопатами, мы приспособили вёдра с верёвками. Уже вырыли яму аршин на пять глубины, когда, на наше счастье, это увидел кто-то из взрослых и сообщил маме. Нам было предложено яму тут же засыпать и разъяснено, какой опасности мы подвергались, так как обвал ямы неминуем, и те, кто находились бы в тот момент в яме, обязательно погибли бы. Инициаторам, не смотря на лица, была учинена хорошая порка.

Бывали у нас забавы и озорного свойства. Так, иногда, мы на тротуаре по другую сторону улицы по вечерам протягивали тонкую проволоку и через щели забора наблюдали затем, как там падали пешеходы; или же клали на тротуар старый кошелёк с ниточкой, протянутой в щель забора. Когда проходящие нагибались, чтобы его поднять, мы тянули его под забор. Ещё придумывали подбрасывать пакетики из-под чая, куда насыпали сухой травы, коробки из-под шоколада с черепками и прочее и следили, как проходящие, быстро подняв найденное и оглядываясь, быстро уходили. Нам всё это было очень забавно. Увлечшись такими развлечениями, сестра Лиза однажды подобрала новую коробку из-под обуви и, положив туда свои новые ботинки с новыми калошами, также вынесла на тротуар. Хорошо, что это заметила мама и предотвратила, а то бы прохожий был очень рад находке.

Мы знали всех людей, постоянно и в определённые часы проходивших мимо дома. Были объекты, над которыми мы постоянно подсмеивались и их дразнили. Так, ежедневно проходил мимо отставной старый исправник Перрате, очень полный и низкого роста. Его мы дразнили “бочкой”. Он сердился, грозил нам палкой и даже ходил жаловаться на нас родителям, а это нас забавляло. Дразнили мы и молодого чиновника, который поражал всех огромным ростом. Когда он проходил по улице, то его голова



*Выезд пожарной команды Добровольного пожарного общества.
Фото Д.И. Прянишникова. 1910-е гг.*

была выше забора. Его звали “полтора чиновника”, а настоящей фамилии его я не помню. Мы всегда ему вслед кричали: “Дяденька, достань воробышка!”

Все эти забавы были у нас в самые ранние гимназические годы. С возрастом содержание и характер игр изменялся и усложнялся. Но военные игры очень долго не снимались с нашего репертуара. Мы играли и в такие игры, как крокет, кегли, лапта, городки и чижик, но никогда не увлекались играми на деньги.

Ещё надо сказать, что мы мало занимались чтением книг, за исключением похождений сыщиков, которыми увлекались очень серьёзно, расходуя на покупку книжек все деньги, заработанные “честным трудом” от продажи утиля, собранного по свалкам и помойным ямам.

(...)

Как-то жарким летним полднем, играя во дворе, мы услышали редкие колокольные удары. Стали их считать. Насчитав двенадцать ударов, мы поняли, что умер какой-то священник. Выйдя на улицу, увидели бегущий по Муравьёвке народ. Тут мы узнали, что на Нижней Дебре бандиты вырезали целую семью священника Бушневского. Подбежав к дому, услышали, что кроме священника, зарезаны его жена и прислуга. Бандиты забрали ценные вещи и скрылись. Нам очень хотелось увидеть погибших, но полиция в

дом никого не допускала. Через три дня мы увидели похоронную процессию, которую и сопровождали до самых могил на Лазаревском кладбище. Всех очень удивляло, что в этой процессии не было гроба с телом прислуги. Её хоронили более скромно, спустя несколько часов. Социальное неравенство сказалося и тут, несмотря на то, что человек погиб за имущество своих хозяев. Позднее на главной аллее кладбища мы любовались двумя большими красивыми памятниками из красноватого мрамора, а креста на могиле прислуги и даже самой могилы мы так и не нашли.

(...)

Подростки, как известно, самый любопытный народ в мире: где бы в окрестности ни случилось какое-нибудь происшествие — они тут как тут. Драка ли среди пьяных с вмешательством полиции, семейный ли скандал, ловля ли бродячих собак, похороны, свадьбы ли — им всё надо видеть и всё знать. Самым же важным происшествием в городе у нас считались пожары. Тут уж без нашего присутствия не проходило ни одного из них. Как только мы слышали громкие, частые удары пожарного колокола, а потом грохот пожарного обоза о булыжную мостовую, мы все бежали в направлении звука.

Действительно, выезд пожарных команд представлял из себя великолепное зрелище: прекрасно откормленные лошади галопом мчались по улицам. Впереди всех скакал верховой, в обязанность которого входило первым прибыть к месту пожара, а потом вернуться и вести за собой весь пожарный расчёт. За вестовым скакала четвёрка лошадей с брандмейстером, непрерывно трубящим сигнальщиком, топорниками, ствольщиками и пожарными других специальностей. На этих огромных красных дрогах были багры, раздвижные лестницы, пожарные рукава, ручная пожарная машина, факелы в медных подставках и прочий пожарный инвентарь. Всё блестело от ярко начищенной меди касок, факелов, стволов и прочего. За этой упряжкой мчалась тройка с пожарными машинами и добавочным пожарным инвентарём. А за ней следовало несколько парных упряжек с бочками воды.

Тут было на что полюбоваться, в особенности, когда на большие пожары проводился сбор всех частей. Пожарных команд в то время в Костроме, не считая Заволжья и фабрик, было три, и все они отличались различной мастью лошадей: на главной пожарной части вначале были светло-серые, впоследствии заменённые вороньими, на Воскресенской части были гнедые лошади и в добровольном пожарном обществе — светло-рыжие.

Каждый выезд главной пожарной команды всегда сопровождала большая, мохнатая, рыжая собака из породы волкодавов, по кличке Бобка, общий любимец всех пожарных работников. Говорили, что на пожарах она не раз выносила из горящих домов детей.

При звуке пожарного колокола этот постоянный и бесменный дежурный первым выскакивал в открытые ворота и всегда бежал сбоку головной упряжки. Будучи уже очень старым, Бобка как-то подвернулся под пожарные дроги и был задавлен насмерть. Из его шкуры сделали чучело, которое сохранялось в команде даже в революционные годы. Много лет спустя, по военной работе, мне приходилось часто бывать в пожарных командах и я видел чучело Бобки.

Там же мне приходилось наблюдать условный рефлекс, выработанный у лошадей на пожарные тревоги. Как только они слышали электрический звонок с каланчи, который заменил пожарный колокол, мгновенно рвались из своих станков к упряжкам. Хомуты с приподнятыми дышлами были всегда наготове. Быстро открывались стойки, и каждая лошадь стремительно бежала на своё место и всовывала голову в хомут. Даже огромный, белый, мохнатый козёл Кузя, или, как его чаще называли, “Василий Иванович”, и тот при тревоге вскакивал на ноги и громким бляением высказывал свою нервозность, хотя на пожары его никогда не брали. Он часто гулял на пожарном дворе, а иногда выходил и на Сусанинскую площадь, к Мучным рядам, путая прохожих своими огромными рогами с закреплённой спереди их медной доской. Кстати сказать, пожарные приучили его к курению и оставляли ему недокуренные сигарки. Он делал несколько затяжек дымом, а потом с большим удовольствием разжжёвывал и съедал сигарки.

В каждой пожарной команде, как в любом конном парке, обязательно держали козлов по примете, что они оберегают лошадей от ласки — зверька, который щекочет лошадей и путает их гривы. Насколько это верно, я судить не берусь.

Припоминаю, что добровольная пожарная команда находилась на Марьинской (Шагова) улице, в красном кирпичном корпусе, на углу, а каланча с дежурным пожарником была вначале на верхнем этаже колокольни Покровской церкви, а потом — на вновь выстроенной водонапорной башне. Говорят, что раньше тут была деревянная каланча, которая сгорела, а дежурный спасся, прыгнув сверху на натянутый брезент. Этого я сам не помню.

Сравнивать по скорости прибытия на место пожара конного обоза с современным автомобильным транспортом, конечно, нельзя, но парадность выездов раньше была куда выше. При уровне пожарной техники того времени старые пожарные работали неплохо, и среди них было много энтузиастов своего дела, в особенности в добровольном обществе.*

* См. также: Л.А. Колгушкин. Костромская старина // Костромская земля, вып. 4, с.58-60.

(...)

Я снова отвлекся от прямой задачи — изложения по памяти своей жизни в кругу родителей, близких родственников и верных друзей, но без описания жизни города и всей обстановки это изложение было бы куцее и не давало бы полного представления картины минувшего.

Прежде всего, болезнь папы быстро прогрессировала. Он сильно исхудал, ходить, даже опираясь на палку, он мог только с большим трудом, придерживаясь свободной рукой за косяки и мебель. У него тряслись ноги и очень болели (...). Он сделался до предела нервно-возбуждённым, каждый пустяк его раздражал и вызывал неудержимый гнев. Зрение и слух резко падали, и он почти не читал газет, а иногда даже не вставал днями с постели и просил пищу подавать в его комнату. Однажды я чем-то ему не потрафил за обеденным столом. Он вспылил и, размахнувшись своей палкой, ударил меня резиновым наконечником по голове. Я без сознания упал на пол. Придя через некоторое время в себя, я увидел вокруг всю нашу семью и папу, который ползал по полу, плакал и жарко меня целовал. Это происшествие не прошло для него бесследно — он слёг в постель на несколько дней, его сильно угнетала совесть за свой поступок, и ему было очень жаль меня. Вскоре его положили в Мещанскую больницу, и мы часто навещали его там. Он был очень слаб.

Было начало лета, стояли самые длинные, жаркие дни, в садах цвела сирень, а у меня на душе не было спокойно, так как я получил переэкзаменовку по математике. Мало того, что я огорчил этим своих родителей, но и себе испортил всё лето, а брат Володя злорадствовал, при всех называя меня тупицей и лентяем. Этим он часто доводил меня до слёз.

В то время как раз в городе открылась традиционная Девятая ярмарка, которая продолжалась две недели. Девятой она называлась по числу недель от Пасхи. В это время в Костроме в течение трёх воскресений проводились крестные ходы вокруг города в трёх разных его частях — в память больших пожаров, которым подвергалась Кострома в прошлом и позапрошлом веках. Ярмарка была большим праздником как для детей, так и для взрослых. Особенно многолюдно было в городе по воскресеньям, так как для участия в крестном ходе съезжалось множество крестьян из ближайших уездов.

На Сусанинской площади, в том месте, где в настоящее время разбит красивый сквер, а тогда была пустая булыжная мостовая, буквально за несколько дней, как “по щучьему велению”, строилось множество тесовых палаток, полков и балаганов, где раскладывались по полкам и витринам различные ярмарочные товары. Персы, армяне, грузины, сарты (узбеки), таджики и прочие восточные купцы привозили в огромном количестве сухие

фрукты, различные орехи, кишмиш (изюм), турецкие рожки, “дивий мёд” и восточные сладости, а ярославские кондитеры Лопатины, Петровы и Сапожниковы в своих остеклённых тесовых магазинах художественно раскладывали по полкам и витринам разнообразные аппетитные пряники в виде огромных рыб и диковинных драконов, белую и розовую хос-халву, рахат-лукум, цукаты и всевозможные засахаренные фрукты и орехи. Целый ряд был с детскими игрушками, завезёнными из Сергиева-Посада, Палеха и Семёновского-Лапотного. Тут же были небольшие ларёчки, где на глазах покупателей делали сахарную вату, вафли, пончики, пирожки, пышки и сладкие огурчики, рядом торговали красным и ярко-жёлтым квасом и другими напитками.

Обязательным товаром с рук были воздушные шары, мячики на резинках, тёщины языки и надувающиеся резиновые “чёртики”. Только на ярмарках можно было приобрести так называемых “морских жителей”. Они были двух систем: одни представляли из себя запаянную с двух сторон толстую стеклянную трубку, длиной 25-30 см и диаметром около 3 см. Небольшое боковое отверстие затягивалось резиной. В трубку наливалась вода и помещался маленький стеклянный “чёртик”, жёлтого или зелёного цвета, с белым обвитым вокруг тела хвостиком, имеющим отверстие на конце. Нужно было взять трубку вертикально и нажимать на резину, тогда чёртик начинал кружиться и опускаться вниз. Продавали их всегда с различными приключениями, вроде: “Три года картошку копал — на четвёртый в бутылку попал!”

Вторая модель представляла из себя также стеклянную трубку, но более тонкого стекла и меньшего диаметра, снизу было утолщение. В трубку, запаянную наглухо, был налит подкрашенный спирт и помещен такой же чёртик. Ее нужно было крепко зажать в кулак, при этом спирт в ней начинал кипеть, а чёртик — прыгать. Знающие физику сразу бы сказали, что это “кипятыльник Франклина”, в основу которого положено кипение жидкости в разреженном пространстве при более низкой температуре. Эти игрушки пользовались большим спросом у мальчиков-подростков.

Последними около Мучных рядов, располагались палатки, торгующие текстильным лоскутом, деревянной посудой, иконами и сельхозинвентарём. На Лыняной площадке, в том месте, где в настоящее время разбит сквер, против многоквартирных домов, за Мучными рядами, выросли увеселительные предприятия. Обязательно ставились две карусели, иногда бывал цирк шапито, в ряд стояло несколько балаганов, где показывали различные фокусы, силачи поднимали штанги и гири, иногда и картонные. Были иллюзионисты, шпагоглотатели, укротители диких зверей, а также показывались различные человеческие уродства, вроде волосатых людей-собак, кар-

ликов и великанов и т.д.

С 1905 года появились, как я говорил выше, и синемаатографы.

Народ любил балаганы с “Петрушкой”. С утра и до позднего вечера на ярмарке не смолкали шум, музыка, писк рожков и резиновых чёртиков, крик, смех, плач детей и даже драки, избивание карманных воришек. Мы каждый день бегали на ярмарку, но туда нужны были деньги, а их у нас было в обрез.

Мама ассигновала каждому из нас по 20 копеек на неделю, но был у нас ещё один источник — это копилка, куда мы опускали медяки и серебро в будничные дни, а на ярмарку извлекали оттуда, но эти накопления были также весьма скудны. Деньги приходилось расходовать с большим расчётом, так как вход в любой балаган или синемаатограф был не менее 5 копеек, катание на карусели — 1 копейка, качели — 1 копейка, и, кроме того, надо было купить сластей, вроде сахарной ваты, на 1-2 копейки, хос-халвы, пряник и ещё что-нибудь.

Всегда очень хотелось попасть в цирк или паноптикум (музей восковых фигур с отделом анатомии), куда дети до 16 лет допускались только в первое отделение, и то вход стоил 10 копеек, а в цирк — не дешевле 20 копеек. Планировать деньги было очень трудно, так хотелось всё попробовать и везде побывать. В дни безденежья мы все же бегали на ярмарку хотя бы только любоваться игрушками, смотреть на персов с красными и синими бородами и слушать зазывал на балконах балаганов.

... Но вот в начале июня месяца доктор Понизовский предложил маме немедленно взять папу из больницы. Говорили, что он очень не любил, когда у него умирали больные, и всегда за несколько дней или часов до смерти безнадежных больных отправлял домой. Мама сама видела, что папа очень слаб, и с большим трудом перевезла его домой. Он говорил очень тихо и невнятно, а двигаться почти не мог.

В этот день у нас заранее было условлено идти с мамой на ярмарку, а это значило, что нам предстояло много всего покупать и даже, может быть, побывать в цирке. О предстоящем походе мама сказала папе, и он, к общему удивлению, отдал ей кошелёк с деньгами, с которым раньше никогда не расставался, и сказал: “Купи ребятишкам гостинцев и по игрушке”.

В отличном настроении мы пошли на ярмарку, взяв с собой и Машу. Гуляли там не менее трёх часов, а, придя домой, мы сразу побежали к папе, чтобы похвастать покупками, и тут же были очень удивлены тем, что папа крепко спал и очень громко храпел. Мама сразу поняла, что дело плохо, вызвала врача и оповестила всех знакомых. Первым прибежал Иван Нико-

лаевич, который тотчас же определил кровоизлияние в мозг и сказал, что храп может продолжаться ещё несколько часов. Пришли чета Ладе и Екатерина Михайловна. Приехавший доктор Понизовский подтвердил диагноз и сказал, что храп — это агония и его помощь бесполезна. Послали телеграммы Жене и всем близким родственникам. Папа храпел всё реже и реже. К утру он скончался.

Тело усопшего обмыли и положили на стол в зале. Утром служил панихиду причт Рождественской церкви, после них причт Борисоглебской церкви. В квартире пахло ладаном, горелым воском свечей и специфическим запахом, который почти всегда бывает при покойнике, даже в первые сутки после смерти. До самого выноса дни и ночи заунывным голосом читали монахини, приглашённые из Богоявленского женского монастыря. Приехали родственники: дядя Капитон с тёткой Соней, тётя Дуня из Петербурга, а также вся семья Соколовских из города Кинешмы.

Мама не желала брать похоронный катафалк или носилки, а потому договорилась с похоронным бюро нести покойника на руках с помощью новинных помочей. На второй день был привезён красивый, блестящий серебром, глазетовый гроб и небольшой металлический венок. Панихиды служили не менее 3-4 раз в день. Жизнь нашей семьи вышла из нормальной колеи, и мы, дети, временно были предоставлены сами себе.

Я впервые в жизни видел смерть близкого человека, и в моей голове рождались фантастические мысли о том, как бы сделать человека бессмертным. В своём воображении я представлял себя великим учёным, изобретшим средство от всех болезней и смерти. Мне было очень грустно и жаль папы, но я не плакал, считая слёзы уделом женщин. Большую помощь оказал нам Иван Николаевич, который все эти дни не оставлял нашей семьи и всем вселял бодрость своими рассказами и анекдотами, при нём как-то не так остро чувствовалась утрата дорогого и близкого нам человека.

Покойный был сплошь заложён цветами и ветками сирени. Было очень жарко, и это способствовало быстрому разложению тела. К тому же в последнюю ночь прошла сильная гроза, покойник почернел и никакие средства не в силах были смягчить трупный запах.

Утром 6 июня состоялись похороны. Похоронная процессия, по старому обычаю, представляла из себя следующее: впереди на некотором расстоянии ехала подвода с ельником, который бросали по ходу процессии, далее несли икону, за ней большой деревянный крест с перекинутой белой новиной, потом венок, крышку гроба и далее шли священнослужители в облачении с кадилами и пением, за ними шёл хор слепых певчих и несли покойника. За гробом шли родные, родственники и провожающие знакомые. В конце двигалась другая подвода, на которую складывали подобран-

ный с земли ельник, с тем чтобы его использовать при дальнейшем следовании процессии на кладбище. Провожаящих было не так уж много. После отпевания покойника в церкви Рождества, стоявшей на Царёвской улице (проспект Текстильщиков), процессия в том же порядке направилась на Лазаревское кладбище, где гроб был опущен в могилу в своей ограде, где уже были могилы моих сестёр, Клавдии и Тамары.

Все родственники и духовенство на извозчиках поехали на поминки. В зале были богато сервированы столы для поминального обеда, а в столовой специальные закусовые. Сервировка столов, приготовление поминального обеда, организация закусовой комнаты были поручены предпринимателю Сидоренко, бывшему повару, который славился в городе хорошей кухней и оборудованием парадных и похоронных обедов. Им за 100 рублей были представлены богатая сервировка, изысканные блюда и даже официанты во фраках и белых перчатках.

Помню, что все приходящие на поминки прежде всего подходили к кутье и съедали по ложечке, а потом шли к обеденному столу. В “красный угол” садились священники, рядом наша семья и все родственники покойного. Когда подали уху из осетрины, то все встали, начался короткий молебен, а потом протоиерей о. Алексей Андроников, как старший, благословил стол, и все приступили к “трапезе”. Помню, что на столе стояли кулебяки с визигой и какой-то другой начинкой, что-то подавали ещё из горячей пищи, и, наконец, был подан миндальный крем с миндальным же молоком. Пропели “Вечную память” и постепенно начали расходиться. Желающие посидеть шли в закусовую комнату, где к услугам гостей были всевозможные закуски, вплоть до зернистой икры, семги, омар и прочих деликатесов. Вина были самых различных марок. Тут же можно было попить чаю или кофе. Обслуживали в этой комнате также официанты. Обязанности метрдотеля здесь принял на себя Иван Николаевич и так увлёкся этим занятием, что от “усталости” обессидел и опять остался ночевать у нас.

Вот и всё. Не стало одного члена нашей семьи, её главы, мы осиротели. Впереди маму ожидала тяжёлая нагрузка воспитания детей, и эта энергичная женщина, не боясь никаких трудностей, умно и расчётливо организовала новую жизнь, преодолевая все трудности и, порой, материальные затруднения.
(...)

Через несколько недель после похорон на могиле папы поставили чёрный гранитный памятник с большим крестом из белого мрамора. На памятнике золотыми буквами были высечены фамилия, имя, отчество и дата рождения и смерти. На кресте был закреплён металлический венок с черными траурными шелковыми лентами.

Мы часто всей семьёй ходили на это старое кладбище. Под сенью ве-

ковых берёз и лип даже в самую жаркую погоду там всегда стояла приятная прохлада, так как солнечный луч с трудом проникал туда через густую листву. Крутом пели птицы, порхая с ветки на ветку, тихо шептали листки в кронах высоких деревьев, и стояла такая тишина, которая может быть только на старых кладбищах. На дорожках было много деревянных скамеек, а в оградах пышных цветов. Кладбище было богато разнообразными памятниками, надгробиями и разной формы крестами.

На некоторых из них были всевозможные надписи, стихами и прозой, выражающие скорбь или восхваление заслуг умерших, их труда при жизни и любовь к семье. Были и такие надписи, которые своей неграмотностью или явной неискренностью вызвали смех или возмущение, но никак не уважение к покойнику. В некоторых “изречениях” настолько отсутствовали какое-нибудь чувство и искренность, что казалось, все это сделано для оправдания не совсем чистой совести оставшейся в живых “половины”.

На меня всегда навевало какую-то грусть это место вечного упокоения. Я очень любил ходить среди могил и читать все эти надписи, в особенности на старых забытых могилах, а их на Лазаревском кладбище было довольно много. Были даже конца XVIII века. Читая надписи, я думал об этих умерших, задумывался над тем, как они жили в далёкое старое время, какие радости и горя они пережили, оставили ли после себя потомство и т.д. В то время мне уже доходил двенадцатый год, моё мировоззрение расширялось и я начал интересоваться более сложными жизненными вопросами. Мне в руки попадали естественные и медицинские журналы, брошюры и даже книги. Я стал задумываться над происхождением жизни на земле и появлением человека. Меня интересовали проблемы пола, семейной жизни и даже социальных отношений между людьми различных сословий и имущественного положения. Безусловно, всё это в самом примитивном, узко конкретном понимании.

Вот я стою перед небольшой чёрной металлической часовней, где написано, что тут погребены потомственные почётные граждане города Костромы Чумаковы, фабриканты-миллионеры. Их в этом семейном склепе было не менее десяти в различном возрасте. Обеспеченная, полная материальных благ жизнь этих людей не миновала конца, порой даже преждвременного. А вот другая большая деревянная полусгнившая ограда, где под простыми деревянными покосившимися крестами лежат одинокие престарелые женщины из Чижовской богадельни, которая в то время была в двухэтажном каменном доме тут же, впереди кладбища. Эти женщины прожили долгую жизнь, но каждая по-разному, а закончили её совершенно одинаково — одинокой старостью, призреваемой казённой благотворительностью. Рядом с этой оградой, у самого алтаря кладбищенской церкви, лежала врос-

шая в землю, поросшая зелёным лишайником чугунная плита, на которой было указано, что под ней похоронено тело жены священника, умершей в 1807 году, в возрасте 18 лет. “Прощай, прекрасная душой и телом, моя единственная...” — писал убитый горем муж. Да, здесь рано окончилась семейная жизнь для обоих, так как духовенству разрешалось вступать в брак только один раз в жизни.

Тут же недалеко стоял большой монументальный памятник над прахом генерал-аншефа Мещерского, “в Бозе почившего в 1800 году”, на 76-м году жизни. Вот этому человеку, наверное, жизнь дала немало радости. Он должен был видеть пышные празднества при дворе Екатерины II и Павла I, а, будучи на покое, он, наверное, был владельцем тысяч душ крепостных крестьян и первым человеком в губернии.

Многие поколения костромичей нашли здесь место последнего упокоения, переступив свой последний рубеж от жизни к смерти. Вот эти богатые и бедные, забытые и безымянные могилы навевали на меня грустные думы и заставляли задумываться над многими вопросами человеческого существования.

(...)

Да, действительно, очень плохо испортить себе лето только потому, что не захотелось, как нужно, заниматься зимой. Пришло время готовиться к осеннему экзамену. Мама взяла репетитора, очень серьёзного студента Московского университета Симонова-Врублевского, приехавшего на летние каникулы к родным. Мне очень не хотелось сидеть за задачками, когда все ребята гуляли и наслаждались подлинным отдыхом. Я рассеянно слушал объяснения репетитора, а сам был мысленно далеко от различных алгебраических уравнений с одним или двумя неизвестными.

Мне не давала покоя ещё одна страсть — это голуби. Ещё при жизни папы мы с Володей осуществили эту общую нашу мечту. В специальной будке во дворе у нас уже была пара “жарых” (красных) ленточных голубей-турманов и две пары белых “чаек”. У каждой пары уже подрастали птенцы, что должно было увеличить голубиное стадо вдвое. Заботы, конечно, было много: надо было три раза в день кормить питомцев подсевом и просом, наполнять поилки чистой водой, чистить голубятню и посыпать пол сухим песком. Необходимо было покупать корм, а пуд подсева стоил 50 копеек. Деньги также доставляли большую заботу. Мама давала их очень скупо. Нам приходилось экономить на всём и всеми путями добывать деньги собственным трудом. Первое время выручал утиль, а потом мы нанялись к маме “в дворники” за 1р.20к. в месяц выметать ежедневно тротуар и двор, а зимой

огребать снег. Володе очень не хотелось вставать рано по утрам, и мне почти всегда приходилось это выполнять одному.

Голубеводство настолько заманчивое занятие, что оно увлекает каждого, кто серьёзно возьмётся за это благородное занятие. Я уже в то время осуждал голубятников, которые держали голубей с целью наживы за счёт поимки своей стаей чужих голубей и получения денежного выкупа, а также не признавал приёмы подбрасывания своих “гонных” голубей под чужое стадо с целью увести молодняк. Я не любил лазать по крышам с тряпкой, навязанной на шест, и шугать голубей, вынуждая их к полёту. Меня интересовало наблюдение за жизнью этих благородных птиц, за их повадками, за выводением птенцов, а, главное, меня интересовала их привычка к людям. Они отлично признают своего хозяина, его голос, шаги, постукивание ключей и высказывают своё чувство полётами и сильным хлопаньем крыльев. Этот условный рефлекс прививается, конечно, на основе инстинкта питания. В дальнейшем этого вида спорта я коснусь более подробно, а в тот период это увлечение только начиналось.

Всё это, вместе взятое, отвлекало от скучного занятия математикой, и я с нетерпением ждал, когда кончатся эти ежедневные, нудные для меня, два часа работы с репетитором. И так было ежедневно. А мама и Жёня в это время были заняты активной подготовкой к свадьбе, которую намеревались сыграть после сорокового дня смерти папы. Для свадебного стола мама специально откармливала большого индюка и двух индюшек.

В первых числах августа была назначена свадьба. Снова были оповещены все родственники, но никто уже не приезжал, а только присылали поздравления. Дня за два из Кинешмы приехали всей семьёй Соколовские, т.е. родители жениха и две его сестры — Шура и Маруся, которые были приблизительно нашего возраста. Мама была не в настроении, сторонилась новой родни, тайком плакала — ей так не хотелось этого брака, не предвещавшего ничего хорошего для будущего Жёни. Невеста же была непривычно весела и всё время находилась в кругу семьи Соколовских, а это ко всему вызывало ещё и ревность у мамы.

Для свадебного поезда заключили договор с лучшим в городе извозчиком-лихачём Берёзкиным, который имел каретный выезд (пара вороных рысаков) и ещё несколько одноконных упряжек в ландо. Я, вместе с другом Фридрихом Ладе, должен был выполнять роль шафера со стороны невесты. Кто были шаферами со стороны жениха, я не помню, но знаю, что были его кинешемские друзья. Невесту одели в белое, шёлковое подвенечное платье с вуалью, украшенной восковым флердоранжем. Мама купила золотые обручальные кольца и венчальные свечи с золотыми украшениями и также с флердоранжем. Шаферам закрепили на груди по бутоньерке из живых цве-

тов. Посажённым отцом Жени был Николай Антонович Василевский. Родители с обеих сторон благословили молодых, и первым выехал в церковь Рождества жених со своими шаферами и родными, а когда лошади вернулись, поехали и мы. На первую лошадь сели шафера, в карету усадили невесту с “почётной дамой” Екатериной Михайловной, Володо, Лизу; на других экипажах разместились ближайшие родственники и знакомые.

С сознанием собственного величия, в белых гимназических кителях и в белых трикотажных перчатках, мы ехали впереди свадебного поезда, держа на руках икону. Нам казалось, что взоры всех проходящих были устремлены только на нас. Нам заранее объяснили наши обязанности, и мы знали, что от кареты мы должны идти за невестой и, по очереди, придерживать шлейф её платья за белую атласную петлю, когда же священник станет надевать венцы, мы обязаны держать один из них над головой невесты. За весь распорядок во время венчания ответственность была поручена Екатерине Михайловне и Ивану Николаевичу.

А в это время дома шла горячая подготовка к встрече “молодых”. Тот же Сидоренко оборудовал приличный стол, мама и другие женщины, оставшиеся дома, подготовили комнату молодых и наводили общий порядок в квартире. Венчание прошло вполне удовлетворительно, не считая разве того, что Фриц во время движения молодых вокруг аналоя, заглядевшись по сторонам, зашнуровался за ковёр и упал на колени, а я на это тихонько рассмеялся, в остальном же мы со своими обязанностями справились вполне удовлетворительно.

Дома нас встречали с большой пышностью. У входа в зал официанты держали подносы с бокалами шампанского, и когда молодые взяли по бокалу, все закричали “ура”, “горько” и поздравляли их с законным браком. Кто-то посыпал им на головы лепестки шиповника, а под ноги какие-то другие цветы.

Помню некоторое моё разочарование и даже обиду. Я знал, что много лет родители берегли три бутылки отличного заграничного шампанского, которое было намечено распить на Жениной свадьбе. Мне его очень хотелось попробовать. И вот я, стоя за молодыми, жадными глазами смотрел, как опоражничивались бокалы на первом подносе. Я чувствовал, что мне не останется. Так и получилось. На втором же подносе бокалы наполняли уже другим шампанским, которое было доставлено от Сидоренко. Моё огорчение быстро прошло, когда я вошёл в зал и увидел пышный свадебный стол, на котором красовались пирамиды фруктов, масса живых цветов, разнообразные пироги, закуски, вина различных марок, торты и прочие сладости.

Гостей было много, но преобладала молодёжь. Были барышни Васи-

левские, Ладе, а также и подростки нашего возраста. Выпивая и закусывая, продолжали кричать “горько”, пели под граммофон и гитары. Было очень весело. Я же, под шумок, выпил две рюмки коньяку, позахмелел и очень налегал на сдобную кулебяку, отбивные котлеты, ветчину и жареную индошку. Пировали до поздней ночи. При активном содействии двоюродного брата Ивана Николаевича мне удалось выпить ещё запеканки, какого-то виноградного вина. Я почувствовал себя плохо и ушёл спать.

На другой день я не мог поднять головы и у меня открылась сильная рвота. Это всех ужасно напугало, так как в городе, как и в прошлом году, свирепствовала холера. По совету того же Ивана Николаевича мне налили большой лафитник крепкой перцовки домашнего приготовления на красном стручковом перце, которую считали лучшим профилактическим средством от желудочно-кишечных заболеваний. Приняв это “лекарство”, я проспал ещё часа три, а потом встал совершенно здоровым. Я просто объелся.

Свадебный пир продолжался и на другой день, но уже по-домашнему, без официантов и без всяких условностей свадебного церемониала. Вскоре все разъехались, молодые также решили недели на две съездить в Кинешму, и жизнь нашей семьи постепенно начала входить в свою обычную, будничную колею.

Холера свирепствовала не только в городе, но и перекинулась даже в отдалённые уезды Костромской губернии и косила сотни и даже тысячи людей. Снова переполнились больничные бараки с жёлтыми флагами, везде пахло карболкой, можно было видеть следы известкового раствора в местах, где лежал холерный больной. Чаще и чаще мы видели плотно закрытые гробы, засмоленные и пахнущие карболкой.

Мы боялись есть сырые фрукты и овощи даже ошпаривали крутым кипятком. Кто-то сказал маме, что даже нельзя пить чай, и мы пили только какао, как будто бы это была профилактика. Утром, перед обедом и вечером мы все получали от мамы по столовой ложке крепчайшей перцовки, от которой глаза вылезали из орбит и перехватывало дыхание. С плачем всё же мы принимали это лекарство.

Осенний экзамен я выдержал и был переведён в 3-й класс.

Из материальных расчётов мама решила снова переехать во флигель, а большую квартиру выгодно сдать в наём, так как попался богатый квартиросъёмщик, один из одиннадцати сыновей фабриканта Михина. Старик Михин, не надеясь на своих сыновей, перед смертью завещал каждому из них по одному миллиону рублей, которым они могли воспользоваться лишь по

достижении сорокалетнего возраста. Этот счастливый день наступил для Ивана Ивановича Михина, который нашёл удобную нашу квартиру для своей побочной семьи, состоящей из матери и двоих сыновей-гимназистов, которые были несколько моложе нас и с нами не подружились. Вместе с квартирой были сданы Михину каретный сарай, все три конюшни и сеновал, так как у него были два рысака и маленькая лошадка пони для детского выезда. В это время Михин достраивал себе дом на Русиной улице и весь нижний этаж снаружи отделал зелёными кафельными плитками. Он стоит и сейчас, под названием “кирпичики”.

К этому времени Маша Бабутина от нас ушла, под предлогом того, что её помощь нужна в деревне, а потом выяснилось, что она была сосватана замуж в деревню Елотово. На её место к нам пришла её младшая сестра Феня, которая была всего на два года старше меня. Это была русская красавица-подросток, со свежим румяным лицом, несколько курносая, со светло-русыми волосами. Мы приняли её в нашу семью как родную. За одним столом пили и ели, играли в карты и в лото на знаменитой печке и даже играли во все подвижные игры. Иногда и ссорились, а Володя даже вступал с ней в драку. У меня к ней стало проявляться какое-то ещё непонятное для меня чувство особого уважения, связанное с застенчивостью и робостью. Я тайно любовался ею. Мне нравилось в ней всё: лицо, фигура, походка, мелодичный голос, такой же сильный и задорный, как у её матери тётки Матрёны. Я никогда ничего не говорил ей о моем чувстве, но она, видимо, догадывалась, так как у неё проскальзывало кокетство и рисовка передо мной. Мне всегда хотелось сделать ей что-нибудь приятное и сказать что-то такое, что доставило бы ей удовольствие. Так, я совершенно освободил её от ходьбы за покупками мелких товаров в бакалейную лавку Смирнова Ивана Евграфовича, которая была в белом каменном доме на углу Русиной и Покровской улиц*.

В этой лавочке мы брали товары на заборную книжку и расплачивались один или два раза в месяц. Я всегда любил ходить туда. Там было всё: гастрономия, кондитерские изделия, мучные товары, масло, керосин и даже табачные изделия, на которые в то время нужен был особый патент. Эта лавочка занимала весь нижний этаж, а квартира хозяина была вверху. Иван Евграфович был человек средних лет, лысый, с небольшими рыжеватыми усами, очень приветливый, услужливый и умел предложить и продать свой товар любому покупателю. Он имел смешную привычку: прежде чем заговорить с покупателем — всегда “шмыгнуть” носом и поддёрнуть под фартуком брюки.

Когда мы были ещё маленькие, то всегда любили ходить туда с мамой

* Угол улиц Советской и Энгельса, на том месте, где сейчас “Лакомка”. (Прим. ред.)

в дни расчёта по заборной книжке, так как Иван Евграфович дарил нам по шоколадной конфете или на всех небольшую коробку недорогих конфет. Вот обязанность ходить в эту лавочку я и взял целиком на себя.

Помимо уборки квартиры и помощи маме при стирке белья за Феней осталась ещё одна обязанность, выполнять которую мне было как-то стеснительно. Из экономии, в обычные дни мама не покупала свежих булок, а брала вчерашних. Каждое утро Феня ходила в булочную Заблотского и брала там венскую сдобу, слоёнки, французские булочки, калачи, розанчики, ёжики и прочие вкусные булочки, оставшиеся от вчерашнего дня. Они были почти вдвое дешевле, а если их положить под крышку кипящего самовара, они становились тёплые и очень мягкие. Мы их любили больше, чем свежие, так как выбор был куда больше, чем последних.

Раза два в неделю, к окончанию торговли, она ходила в колбасную Головановых и там брала обрезки колбасы или ветчинные ножки. Этот товар мы также очень любили, так как в обрезках попадались самые дорогие и самые разнообразные кусочки колбас, каких нам не покупали даже к большим праздникам. Обрезки представляли из себя горбушки колбас или кусочки, неправильно срезанные. Они были всегда свежие и стоили всего 10 копеек фунт. За эту же цену шла и ветчинная ножка, которая иногда достигала четырёх фунтов, и от неё мы нарезали чуть ли не половину отличной ветчины, а сырую часть этой ножки употребляли в борщ. У нас была ещё одна возможность получения вкусной гастрономии — это брат Фени, Николай Яковлевич, который служил приказчиком у рыботорговца Скалозубова, о чем я уже упоминал ранее.

Каждую субботу, ещё при жизни папы, Николай Яковлевич приходил навещать своих сестёр и приносил коробочки вкусных консервов, дорогой красной рыбы, семги, кеты и различной икры. За это он получал от мамы один рубль или побольше, в зависимости от количества и качества товара. Каким способом он его брал, мы не интересовались, но он говорил, что хозяин в субботу каждому рабочему разрешал брать товар в небольшом количестве, что могло быть правдоподобно. Жаль, что он вскоре был взят на действительную военную службу во флот и отправлен в Кронштадт.

На базар мама ходила всегда сама, иногда брала с собой прислугу, если приходилось нести много продуктов. Это бывало не чаще трёх раз в неделю.

Долгие, тёмные осенние и зимние вечера мы почти всегда коротали дома. Придя из гимназии и пообедав, мы садились за подготовку домашних уроков, на что у меня уходило не менее двух часов, тогда как Володя с тем же заданием справлялся за полчаса; у него были выдающиеся способности и отличная память. Лиза к тому времени начала обучаться в образцовой начальной школе при женской учительской семинарии. Эта школа времен-

но находилась на Русинной улице в небольшом одноэтажном деревянном доме, на месте которого в настоящее время находится кинотеатр “Дружба”. Мама вечерами что-нибудь шила или ушивала старое, вязала тёплые рукавички или носки и в это время очень любила, чтобы кто-нибудь из нас читал вслух. Она любила слушать сочинения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, предпочитая прозу поэзии. Некоторые произведения, как “Борис Годунов”, “Русалка”, “Повести Белкина” Пушкина, “Герой нашего времени” Лермонтова, “Русские женщины” и “Мороз, Красный нос” Некрасова, просила читать по несколько раз, так что они запоминались на всю жизнь. Большой интерес проявляла мама и к приключенческим рассказам о похождениях сыщика Шерлока Холмса, Ната Пинкертона и др.

Феня вечерами тоже была свободна и всегда слушала чтение. Ещё в деревне она окончила начальную школу, любила сама читать детские книжки и постоянно прислушивалась к нашим разговорам при подготовке домашних заданий. Ей очень нравился немецкий язык. Имея приличную память, она быстро выучила несколько фраз на этом языке и даже один стишок-загадку.

(...)

В описываемый мною период (конец первого десятилетия XX века) за прошедшие десять лет произошли большие изменения в нашей семье, а также семьях родных и знакомых.

Прежде всего, смерть папы и замужество Жени сильно покоянули мамино здоровье. Из полной цветущей женщины она стала медленно превращаться в пожилую; лицо теряло свежесть и стало украшаться морщинками, угасла подвижность и жизнерадостность. Самое же главное — стало сдавать сердце. По ночам случались сердечные припадки, и врачи нашли у нее приобретенный декомпенсированный порок сердца. Она начала регулярно лечиться. Я же был всегда начеку и во время сердечного приступа давал необходимые лекарства и клал холодную тряпку на сердечную область.

Женя устроилась на работу статистиком в пчеловодческий отдел губернской земской управы, а её муж Дмитрий Михайлович жил в Кинешме, занимался репортёрской работой и очень часто приезжал в Кострому. Иван Николаевич из-за равнодушия к спиртным напиткам не удержался на работе в уездной больнице, и ему пришлось со всей семьёй уехать в Грязовец, где он работал ранее и зарекомендовал себя с хорошей стороны. Но он часто навещал Кострому и нашу семью.

Большие изменения за этот период произошли в семье Василевских. Тамара вскоре после замужества Жени вышла замуж за офицера, поручика Гарундова, и уехала к месту его службы в Хабаровск. Клеопатра окончила институт и уехала учительницей иностранных языков в Бендеры. Борис

в чине поручика служил в артиллерийской бригаде в Бобруйске. Вячеслав учился в Ярославском кадетском корпусе. Лидия и Ариадна продолжали учиться в Тамбовском институте благородных девиц. Таким образом, родители Василевские в зимнее время были одиноки. Екатерина Михайловна любила посещать своих знакомых и, в первую очередь, маму. Если один, два дня она не забежит на Ивановскую, то мама спешит на Ново-Троицкую.

Николай Антонович не любил ходить в гости, но у себя принимал очень радушно. Он не знал рельефного шрифта Брайля для слепых, а поэтому самостоятельно читать не мог и очень любил, когда кто-нибудь ему читал. Екатерина Михайловна успевала прочитать ему только газеты “Русское слово”, “Поволжский вестник” и какие-то ведомости, где публиковались производство в чины, перемещения по должности военного и гражданского ведомств, выход на пенсию и прочее. Художественную литературу систематически читал ему учащийся химико-технического училища им. Чижова Пётр Карлович Веска. Он был сыном рабочего, происходившего из прибалтийских губерний. Семья у него была очень большая, и Василевские приняли над ним как бы шефство. Он постоянно жил у них на полном иждивении. Они считали его своим приёмным сыном. Это был очень скромный юноша, лет шестнадцати, дипломатично ухаживал за всеми дочерьми Василевского и много помогал по хозяйству Екатерине Михайловне. Часто читал Николаю Антоновичу и я, приходя к нему специально по воскресеньям или в каникулы.

В семье Ладе также произошли некоторые изменения. Елизавета, или, как её звали в семье, Лиля, вышла замуж за молодого чиновника Черногубова, жила в Костроме, но на отдельной квартире. Амалия, окончив городское училище, поступила в третий класс Смольяниновской гимназии. Это была смуглая “кубышка” с крупными чёрными глазами и постоянной улыбкой на довольно привлекательном лице. Она нравилась мне больше всех сестёр, и мне всегда было приятно играть с ней и посидеть где-нибудь с глазу на глаз. Родители шутя говорили, что это подрастает жена для Леонида, но, как потом узнаем, их предсказание не сбылось. Это юношеское увлечение со временем прошло, и наши дороги разошлись навсегда. Весной умерла от воспаления лёгких предпоследняя дочь Соня, в возрасте семи лет. Это горе свалилось на головы семьи Ладе совершенно неожиданно. Здоровую, весёлую девочку смерть скосила на третий день болезни. (...)

Не могу не упомянуть и о Моргенфельдах, так как мы были очень дружны с этой семьёй. В ней также произошло неожиданное несчастье. Казалось бы, ничего не могло нарушить годами установленный с немецкой пунктуальностью порядок этой, претендующей на интеллигентность, семьи, а всё

произошло совершенно неожиданно. Как-то, ранней весной, младшая восемнадцатилетняя сестра Карлуши Анюта, поскользнувшись на льду, упала затылком и, не приходя в сознание, через несколько дней скончалась. Горе в семье Моргенфельдов было неописуемое. Анюта была любимицей не только родных, но и всего нашего дома. Она только что вступила в жизнь и начала самостоятельно преподавать музыку на дому, имея несколько своих учеников и собственное пианино, как и у старших сестёр, Розалии и Августы.

(...)

1910 год дал нам, детям-подросткам, много впечатлений, обогатив наш ум жизненным опытом и практическим знакомством с родной русской природой. Ещё зимою мы уговорили маму на летнее время снять дачу где-нибудь в красивом сельском уголке, с обязательным условием, чтобы это место было не так далеко от города и вблизи реки и обязательно большого леса.

При активном содействии Бабутиных, в особенности тётки Матрёны, нам удалось снять хорошенький дачный домик в деревне Шувалово Гридинской волости Костромского уезда, вблизи усадьбы Караваево, на реке Сендеге по Кинешемскому тракту. Этот дом мы сняли у крестьянина Амберова Алексея Ивановича за 25 рублей в лето и с отелной оплатой по одному рублю за поездку на его лошади в город Кострому за продуктами один раз в неделю. Предоставленное нам помещение являлось “чистой избой”, выходящей своими окнами на проезжую часть улицы и состояло оно из двух небольших комнат и довольно хорошенькой светёлки. Мама, Женья и Лиза устроились внизу, а мы с Володей — в светёлке. К дому примыкала небольшая крытая терраса, где мы пили чай и проводили все пищевые процедуры.

Хозяева жили в задней, зимней, половине дома. Детей было трое: дочь Аннушка, 20 лет; дочь Паня, 14 лет, и маленький Митя, 2-х лет, которого за его сильно кривые ноги все в деревне звали “Митя-колесо”. Лет через сорок я встретил его в звании капитана. Он занимал должность пом. нач. хозяйства тюрьмы. Ноги его были вполне нормальны.

Амберовы принадлежали к крепким середнякам. У них были две рабочих лошади, две коровы, телята, штук десять овец с ягнятами, а также много кур, гусей и уток. Работали в поле все четверо, но кто-нибудь один из них оставался дома для ухода за скотиной, за ребёнком и для приготовления пищи. Чаще всего, конечно, оставалась мать.

Для нас, горожан, всё было ново, интересно и вовсе не похоже на городскую жизнь. (...) Мне доходил уже тринадцатый год, а Володе было один-

надцать. Нас в это время весьма интересовала природа, и мы учились ценить красоту деревенского пейзажа.

Деревня Шувалово находилась в 8-ми верстах от города. Не доезжая до деревни Семёново и реки Сендеги, мы с Кинешемского тракта сворачивали влево на караевский посёлок и от деревни Никулино попадали прямо к своему дачному дому, стоявшему у самого края деревни. В деревне Шувалово в то время была всего одна улица на два порядка домов, а всего домов было не более 30-35. Среди деревни был небольшой пруд, на поверхности которого плавали белоснежные и серые гуси и утки. Вода из пруда шла для скотины, и в нём полоскали бельё. Воду же для питья и приготовления пищи брали из двух чистых колодцев.

В двух верстах от Шувалова находилась барская усадьба Караваево, принадлежавшая помещице-генеральше Усовой. Эта усадьба славилась большим стадом рогатого скота швицкой породы, послужившего впоследствии основой для знаменитой костромской породы. Кроме того, усадьба отличалась громадными сторожевыми собаками и хамским обращением с крестьянами барских холуев, в лице управляющего и приказчиков. Как ни плохо было отношение администрации к крестьянам, последние вынуждены были идти в усадьбу на подработку, так как собственные земельные участки не



*Усадьба Караваево, принадлежавшая генеральше А.С. Усовой.
Конец XIX века.*

всех прокармливали. Большая часть ближних лесов принадлежала помещице, и туда даже боялись ходить за грибами и ягодами. Пойманных в лесу крестьянских детей пороли, а взрослых штрафовали за поправу.

Несколько слов о караваевском быке. Даже взрослые мужчины опасались встречи в лесу с караваевским стадом, так как огромный тёмно-бурый бык Урал бросался на людей и, по рассказам крестьян, не одного человека поднял на свои могучие рога.

Везжая из города, мы захватили с собой маленькую голубятню с четырьмя парами лучших голубей, а уход за остальными поручили Карлуше Моргенфельду, который кормил и ухаживал за ними целое лето. Для него это составляло большое удовольствие.

Учебные занятия в гимназии заканчивались около 20 мая по старому стилю. Я получил переэкзаменовки по математике и немецкому языку, а потому учителя посоветовали маме оставить меня на второй год в третьем классе, и я с лёгким сердцем настроился спокойно гулять всё лето. Володя же успешно перешёл в 3-й класс. Жёня готовилась стать матерью, а потому, стесняясь своей фигуры, с радостью уединилась в деревню. Её муж в то время проживал в Кинешме, помогая отцу по сапожному делу и писал “раешники” и корреспонденции в костромскую газету “Поволжский вестник”.

Первая неделя жизни в деревне прошла для нас в наблюдении окружающей обстановки, в знакомстве с деревенскими сверстниками и в изучении их интересов. Конечно, не обходилось и без хвастовства с нашей стороны в рассказах о городской жизни, в частности, в рассказах о гимназии. Правда, большинство наших сверстников неоднократно бывали в городе, и для них общая картина городской действительности была известна не хуже нас, но зато их жизнь для нас была вовсе неизвестна и являлась большой загадкой. Мы, мысля конкретно, вовсе не задумывались о материальной небеспеченности и несправности крестьян, а видели их жизнь поверхностно, такой идиллической, какой она представлялась нашему детскому воображению. Нам в то время казалось вполне естественным, что крестьянские дети плохо одеты, постоянно ходят босые и что с самых ранних лет они включены родителями в регулярный труд по нянчанью младших братьев и сестрёнок, по уходу за животными и домашней птицей и оказывают посильную помощь семье в полевых работах. В будничные дни редко можно было видеть деревенских подростков без дела — каждый из них получал от родителей трудовое задание на предстоящий день.

Нам, отдыхающим на лоне сельской природы “барчукам”, очень хотелось теснее сдружиться с крестьянскими ребятишками. Они же робко и недоверчиво относились к дружбе с “городскими”. Вздорный и вспыльчивый характер Володи с первых же дней знакомства с деревенской детворой

привёл к соре и к “сражениям” палками и камнями, иногда переходящим в рукопашные схватки. В этих случаях победа всегда оставалась на стороне крестьянских ребят, которые были физически много сильнее и ловчее городских “выкормков”. Рукопашные схватки, через спортивную борьбу, быстро привели к тесной дружбе, начавшейся с поездок в “ночное”. После пригона стада, с наступлением вечера, все деревенские мальчишки отводили на пастьбу лошадей в ночное. Для этого на шею каждой лошади навязывался колокольчик-“глухарь” или одевался “ожерелок” с бубенцами. Ребята брали с собой тёплые фуфайки и верёвки-“путлища”. Все садились верхом на своих лошадей и с криком и смехом скакали вдоль деревни в луга к реке Сендеге.

Нас неудержимо влекло принять вместе с ребятами участие в этих прогулках. Поскольку у хозяев не было мальчиков-подростков, то свою пару меринов водила в ночное Паня. Мы уговорили её разрешить на одной из лошадей прокатиться кому-нибудь из нас. Первая же попытка Володи проехать на низеньком Карьке тут же печально кончилась — он через минуту оказался в дорожной пыли. То же случилось и со мной. Я выбрал высокого Воронка и летел на землю с большой высоты. Ведь нам никогда не приходилось даже просто сидеть верхом на лошади, тем более на неоседланной.

Настойчивое желание научиться скакать верхом, не отставая от крестьянских ребят, привело к тому, что мы, в синяках и шишках, превозмогая боль в ногах и от ушибов в тех местах тела, которыми мы сидели на лошадях, добились умения, держась за гривы, удерживаться на конской спине. За лето мы привыкли к лошадям, изучили их повадки, и вот в это время у меня возникло желание по окончании гимназии идти учиться в кавалерийское военное училище и посвятить свою жизнь кавалерийской службе.

Конечно, не каждую ночь мы проводили в лугах, а уж в неделю раз обязательно сидели у костра, спали, покрывшись фуфайками, пахнущими грязью, человеческим и лошадиным потом, слушали страшные рассказы мальчишек о нападении на табун лошадей волков, о разбойниках, о конокрадах-цыганах. Эти рассказы слышали они от отцов и дедов, а от матерей и бабушек их воображение было возбуждено сказками об оборотнях, ведьмах, леших, водяных, колдунах. При умелом пересказе, в обстановке тихой летней ночи, при всплесках рыбы на гладкой поверхности заводи, при кваканьи лягушек и криках ночных птиц, все эти сказки сильно действовали на детское воображение и невольно вызывали какой-то невольный страх смотреть по сторонам, оставляли желание всё время смотреть на огонь костра, а не в темноту лесной опушки.

Особенно крепко засыпалось под утро, когда над тихой заводью Сендеги начинал подыматься седоватый туман, набежавший лёгкий воздух вы-

звал приятную дрожь, а на восточной стороне неба появлялась светло-розовая полоса предутренней зари. Спать было уже некогда, приходило время гнать табун в деревню. Мы нехотя подходили к своим лошадям, снимали с них пута, накидывали им на спины фуфайки, подсаживали друг друга и без особого шума возвращались в деревню. Оставив лошадей у дворов, мы все шли в свои сенные сараи, стоящие на гумнах за каждой избой, и спали на сене ещё часа три-четыре. В хорошую тёплую погоду мы редко спали в своей светёлке, а всегда предпочитали сенной сарай, где спали всей семьёй и хозяева.

Днями мы первое время занимались голубями: в вязках выпускали их на приловок и на крышу скотного двора. Не обошлось без неприятностей — как-то утром на глазах у всех, на бреющем полёте большой ястреб-тетеревятник выхватил из кучки самого лучшего, палевого, хохлатого голубя и, не дав нам опомниться и прижав его своими острыми когтями к груди, скрылся в ближайшем лесу. Мы с криком бежали за летящим хищником, но всё было бесполезно. Горе наше было неописуемо, тем более, что у этой пары на днях должны были вывестись птенцы, а голубка в горе выбросила гнездо, и, таким образом, мы сразу лишились трёх ценных голубей.

Близко соприкоснувшись с природой, в это лето мы познали очень многое из жизни животного и растительного мира. В светёлке у нас стихийно образовалось подобие живого уголка. Весь потолок мы опутали гирляндами плауна, в щели стен повтыкали ветки берёзы, можжевельника, папоротника и прочих растений. На столе и на подоконнике всегда были букеты свежих лесных и полевых цветов, смотря по сезону: черёмухи, ландышей, сирени, лесных фиалок, иван-чая и прочих. Мы ловили светлячков, всевозможных жуков, бабочек, личинок и выпускали их прямо в светёлке. На столе и подоконнике у нас стояли большие стеклянные банки из-под варенья, в которых были устроены аквариумы и террариумы. В аквариумах у нас плавали мелкие рыбки, тритоны, жуки-плаунцы и прочие водяные жители, а в террариумах появлялись различные лягушки, ящерицы и даже в отдельной банке находились уж и гадюка. Всю эту живность мы кормили различными насекомыми, а больше всего мухами, которых кругом было более чем достаточно, так как рядом с домом стоял скотный двор.

Попадали к нам ящерицы, которые в наших банках даже размножались. Тут мы на практике убедились, что один вид ящериц, так называемых “живородок”, размножается живыми ящерками, а другие откладывают белые яички в мягкой оболочке, из которых через несколько часов появлялись детёныши. Мы увидели на скотном дворе в навозе яйца ужа, взяли их домой, но они быстро высохли, а вот самка гадюки родила несколько штук живых детёнышей, из которых двоих тут же съела. Мы её отсадили в бу-

тылку, но остальные две гадючки у нас убежали. Это случилось во время ночной грозы и урагана — сильным ветром открыло окно нашей светёлки и сшибло на пол все наши аквариумы и террариумы. Стекло банки разбились, а животина разбежалась. После этого случая много дней и ночей мама и сёстры боялись укуса змей, но, конечно, ни одно живое существо не осталось в доме, а все они быстро ушли в родную стихию. Взамен разбитых банок маме пришлось покупать новые, так как приближалось время варки варенья.

Чтобы оправдаться дачные расходы, на семейном совете мы решили за дачный период наварить варенья и заготовить грибов на целый год. Как только стали появляться ягоды, мы всей семьёй начали ходить в ближайшие леса собирать землянику, чернику, гонобобель и другие ягоды. Их досыта ели с молоком и сахарным песком, пекли пироги, сушили и варили варенье. Когда же появились грибы, мы почти не выходили из леса. Особенно много было грибов в так называемом бору, но ходить туда без знающих людей было опасно: во-первых, можно было легко заблудиться, а, во-вторых, в глубине бора была замаскированная растительностью коварная трясина, попав в которую, трудно было спастись — она медленно засасывала не только случайно попавший в неё скот, но и неосторожных людей. Много страшного, с дополнениями фантастики и мистики рассказывалось деревенскими женщинами и подростками об этом боре и трясине, что невольно вселяло в нас какой-то страх — поодиночке мы туда никогда не ходили.

Всё же без происшествий у нас не обошлось. Постараюсь описать, как умею, некоторые из них. В тот год во всех лесах было очень много всяких грибов и малины, но больше всего белых и боровиков (подосиновиков) было в знаменитом бору. Мы рано утром, взяв несколько бельевых корзин, всем семейством отправились за грибами. С нами ходили деревенские девочки-подростки. Они-то и научили нас распознавать грибы. Правда, мама отлично знала грибы, но она редко ходила с нами по лесам, так как хозяйственные заботы почти целиком ложились на её плечи, да и долго бродить по лесам из-за своей тучности и сердечной болезни она не могла.

И вот как-то, увлекшись сбором ягод среди большого малинника, мы нос к носу столкнулись с двумя медведями, которые, также увлекшись этим занятием, не учуяли нас и подпустили на несколько шагов, должно быть, ветер был в нашу сторону.

Когда же мы встретились глазами, то инстинктивно разбежались в разные стороны, и трудно сказать, кто напугался больше: мы или медведи. Во всяком случае, по пути нашего марафонского бега мы растеряли весь малиновый сбор и потом никогда не ходили больше в этом направлении.

В другой раз, собирая грибы, мы очень близко подошли к караваевс-

кому стаду. Нас завидел Урал. Нагнув к земле голову и приняв воинственную позу, он медленно направился в нашу сторону, издавая угрожающие звуки. Ближе всего к быку оказались я и один мальчик из деревни Никулино. Мы, побросав корзины с грибами, пустились бежать, но бык уже догонял нас. Тогда нам ничего не оставалось, как влезть на ближайшую берёзу. Бык, подбежав к дереву, несколько раз, с разбега бодал ствол своим могучим лбом с толстыми рогами, пытаясь сшибить нас с дерева. Мы лезли выше. Бык, упёршись рогами в землю и коная от злобы землю ногами, издавал яростные звуки, далеко не похожие на мычание, и пытался с новой энергией броситься в атаку, но в это время пастух, осторожно подкравшись, схватил его за железное кольцо, проколотое между ноздрями, и спокойно отвёл к стаду. Каждый бык становится спокойнее самого безобидного животного, когда его берут за кольцо. Мы, подобрав свои корзины, пустились бежать, наказав себе никогда не встречаться с любым стадом, где есть быки. С тех пор до самой старости я очень боюсь быков и всегда избегаю встречи с ними на близком расстоянии.

Был ещё такой случай с нами в этом труднопроходимом бору: однажды мы, все четверо, собирая грибы, не заметили приближения грозы. Когда же поднялся ураганный ветер и зловеще зашумели деревья, сгибая свои нарядные вершины, было уже поздно возвращаться домой, и мы решили укрыться от дождя за корнями выкорчеванной ранее бурей огромной сосны. Присев в образовавшуюся после корней естественную яму, мы под себя подложили хвойный лапник и сверху прикрылись такими же ветками. Вначале всё казалось нам очень поэтичным, но гроза продолжалась около двух часов. Темноту леса резко освещали молнии, гром гулким эхом прокатывался по всему лесу, дождь лил сплошной водяной струёй, ураганный ветер вокруг ямы ломал и ронял старые сосны. Нам становилось жутко, мы промокли, озябли, а главное, очень оголодали. У нас с собой не было ни карманных часов, ни компаса. Мы потеряли ориентировку. Гроза стала утихать. Из-за туч и деревьев не было видно солнышка, и мы решили идти наугад, так как даже Жёня не знала примет, по которым можно было бы ориентироваться в лесу. Мы шли долго, устали, промокли до нитки, теряли силы, а лес был бесконечен. Нам не попадалось ни одной просеки, ни одного намёка на близость жилья. Лиза плакала, Жёня нервничала, Володя кричал и пытался обвинять всех, кроме себя. Только я со своим стоическим спокойствием молча шёл вперёд, зная, что когда-нибудь это кончится.

Совершенно неожиданно мы повстречали шуваловского мужика-грибовика, по кличке Микула Селянинович. Как было его настоящее имя, никто не знал. Самый плохой, покосившийся дом, под дырявой соломенной крышей, принадлежал ему. Этот дом стоял за прудом, и вокруг него не было

никаких хозяйственных построек. Микула Селянинович был безлошадный бедняк, имел молодую, но весьма флегматичную и ленивую жену и троих маленьких детей. Старшая десятилетняя дочка Мотя была замечательно красивая девочка, весёлая, словоохотливая и умненькая. Она любила труд и была очень услужливая. Мама и Жёня оценили эти её качества. Она помогала нам по хозяйству, примывалась и полоскала бельё на Сендеге. За это мама кормила её, угощала сладостями и как-то на Девятой ярмарке купила ей красивого красного материала на платье.

Микула Селянинович был здоровенный мужчина, лет 32-34, с окладистой тёмно-русой нечесаной бородой, но с довольно привлекательным лицом, весёлым нравом, природным юмором и недюжинными способностями. Он служил лесником, имел плохонькое ружьишко, неказистую собачонку и кое-какие охотничьи доспехи. Не занимаясь крестьянским трудом, он все дни проводил в лесу и только вечером приходил домой, садился на завалинку, плёл корзины или рыболовные снасти, курил махорку. Никогда не унывающий балагур, он знал много забавных рассказов из своей бродячей жизни, анекдотов и всевозможных побасенок; у него даже была гармошка двухрядка, и он иногда выходил с ней на улицу, но играл довольно плохо. Больше всего нам нравился его охотничий медный рожок. По вечерам мы, деревенские ребята, и даже мужчины любили посидеть у его избы и послушать новости, которые у Микулы Селяниновича всегда были в большом ассортименте.

Вот он-то и попался нам навстречу. Он с улыбкой сказал, что мы идём в противоположную сторону и отошли от Шувалова более чем на восемь вёрст. Так как он шёл домой, мы с удовольствием присоединились к нему и, слушая его бесконечные рассказы, забыли усталость и голод и даже не заметили как пришли домой, а был уже вечер, мама очень волновалась за нас и уже подумывала организовать поиски. Всё кончилось благополучно, и, обильно утолив волчий голод, мы снова были готовы играть и веселиться.

Большое удовольствие нам доставляла ловля рыбы на реке Сендеге, в верхнем омуте, у мельницы. Правда, мы очень боялись старика-мельника Кирсана, про которого говорили, что он колдун и дружит с водяным, живущим в этом омуте, а также знает, где водятся русалки, которых он будто бы показывал Микуле Селяниновичу. Кирсан был высокого роста, с большой седой бородой, худощавый и очень суровый на вид. Нам он напоминал мельника из оперы “Русалка”. Мы ходили на омут только днём, а потому уловом похвастаться никогда не могли. Нам попадались пескари, мелкие окуньки и сорожка; между тем, в омуте водились щуки, карпы, налимы и даже сомы.

Как-то к нам на дачу забежал из города Иван Николаевич Колгушкин. На почве возлияния Бахусу, он быстро сдружился с Микулой Селяниновичем, и в ночь они решили половить в омуте раков. Где-то достали железных обручей, оплели их тонкой бечёвкой в виде решётки и, положив в центр каждого обруча по кусочку падали, на верёвках спустили их в разные места омута. Охота на раков оказалась неудачной. Иван Николаевич принёс всего одного рака, которого мы и устроили в наш живой уголок. Через несколько дней Кирсан поведал маме, что у этих друзей на омуте была весьма знатная гулянка. Они пили, пели, курили и рассказывали друг другу смешные истории. (Кирсан, как старовёр, не пил и не курил). После всего, на утро, задумали купаться и чуть не утонули. Кирсану пришлось оказывать им помощь.

Нам очень нравились воскресные дни и праздники. Утром женщины и дети, одевшись по-праздничному, шли к обеду в село Николо-Трестино, а вечером молодёжь и подростки деревень Шувалова и Никулина собирались на лужайке между деревнями, пели песни под гармошки, водили хороводы, устраивали коллективные пляски, а потом гурьбой ходили вдоль деревни и по проганам с пеньем частушек и прочими развлечениями. Гармошки не умолкали до утра. Мы же, младшие подростки, образовывали свою компанию: играли в горелки, водили хороводы и организовывали коллективные игры, причём обязательно с поцелуями. Сильными, мелодичными голосами отличались Паня и Мотя, хотя последняя была моложе всех, но уже в то время подавала большие надежды.

Мне же нравилась Паня, хотя ничем она не выделялась. Беловатая, худенькая, с обычным русским лицом, она привлекала к себе как формирующаяся девушка, как нераспустившийся бутон. Во мне, видимо, начинало просыпаться влечение к противоположному полу. Я ей тоже нравился своей скромностью и корректным обращением, несвойственным деревенским “ухажёрам”. В праздничные вечера мы иногда отделялись от общей компании, играли вдвоём, шутили, даже боролись. Нам обоим было приятно прикасаться друг к другу. У нас зарождалось чувство, похожее на юношескую любовь.

В прогулках по лесам и лугам, во всевозможных увеселениях незаметно прошло лето. Пришла пора выезжать в город. Были наняты три подводы. На две первые погрузили домашние вещи, голубятню, посуду, а главное — лесные трофеи в виде двух кадок соленья, банки с вареньем, связки сухих грибов и даже нескольких пар берёзовых веников и пучок можжевельника для запаривания кадок. На последней подводе разместились мы вчетвером, так как мама уехала в город накануне, с тем чтобы приготовиться к нашей встрече. Провожать нас вышли хозяйева, соседи, ребяташки. Всем

было жалко расставаться. Девочки плакали, мы обещали приехать на следующее лето, но обстоятельства сложились так, что мы расстались с Шуваловом навсегда и больше никогда никого не видели и долгое время ни о ком не имели никаких сведений.

Совсем недавно, через Бабутиных, я узнал, что наши дачные хозяева Амберовы умерли в начале революции, а раньше всех умерла их старшая дочь Аннушка. В год нашего пребывания на даче её выдали замуж, в германскую войну 1914-1917 гг. мужа у неё убили, а вскоре умерла и она. До последних лет Паня была жива, она была тётёй Павлой, а потом бабушкой Павлой Алексеевной, которая нянчилась с многочисленными внучатами. Последнее время она проживала в Николо-Трестине. Интересно было бы узнать, как прожила свою жизнь Мотя. Думается, что красота и веселый, беспечный характер в совокупности с вопиющей бедностью толкнули её на скользкий жизненный путь. Расцвет её жизни прошёл при капитализме и НЭПе.

Впоследствии, лет через 12, по делам службы мне пришлось проезжать через деревню Шувалово. Я не нашёл старых строений, после пожара были выстроены новые избы и планировка деревни сильно изменилась. Из знакомых людей я не нашёл никого, так как была пережита первая германская война, две революции, голод и Гражданская война.

“Одних уж нет, а те далече...”

(...)

В середине августа начался учебный год и мы пошли в гимназию, а Лиза — в образцовую школу при женской учительской семинарии. Меня классный наставник Дмитрий Сергеевич посадил на предпоследнюю парту, с моим другом Ваней Смирновым, также оставшимся на второй год. Володя сидел в том же ряду, но на второй парте, с одним из лучших учеников — Свирским. Как стыдно было сознавать, что ты слабее других. Очень оскорблял взгляд на нас со стороны лучших учеников класса. Такие антагонистические отношения между второгодниками и коренными учениками класса оставались довольно долго. Нас, второгодников, оказалось в классе шесть человек, и мы никак не давали себя в обиду, тем более, почти все мы обладали недюжинной физической силой. Человек быстро привыкает к любой обстановке, и я сравнительно легко освоился в классе и смирился со своим печальным положением.

В сентябре месяце у Жени родился сын, которого назвали Виктором. Для нас это было большое развлечение, тем более что нам давно не приходилось видеть новорождённых детей. Мальчик был очень здоровый, но через

три недели неожиданно чем-то заболел и дня через три умер. В нашей семейной ограде на Лазаревском кладбище выросла четвёртая могила под маленьким железным крестом. Первое время мы все очень жалели мальчика, но, как это всегда бывает, вскоре забылся и этот мимолётный эпизод в нашей семье — его заслонили новые впечатления.

Ожидался приход в Кострому из “Царства Польского” пехотного полка. Ещё с весны квартиры снимались в городе, и, на радость домовладельцев, вовсе не торговались в цене. У нас пустовала верхняя левая квартира, которую и сняли для семьи капитана Даманского Вацлава-Марцелия Александровича. Всё лето квартира пустовала, хотя и была оплачена, так как офицер с семьёй жил в лагерях.

Мы с нетерпением ожидали прихода в Кострому “настоящего” войска, так как после революции 1905 года в Костромской губернии стояли два резервных батальона: Солигаличский и Красненский, которые были расквартированы по уездам и несли исключительно караульную службу. Нам почти не удавалось видеть офицеров и солдат, кроме разве жандармских или из конвойной команды; скучали и костромские барышни. Мы знали, что в Костроме будет 183-й пехотный Пултусский полк. Наконец наступил долгожданный день. Во двор въехали двухконные тёмно-зелёные фурманки, в дышловой упряжке, гружённые квартирной обстановкой. Для чистки от дорожной пыли всё было расставлено во дворе. Сопровождали имущество несколько солдат в фуражках-бескозырках, с белым околышем, и с синими погонами на гимнастёрках. Следом за вещами приехала супруга офицера Ванда Титовна с четырёхлетним сыном Чеславом, страдающим полным идиотизмом. При нём неотлучно находился денщик-нянька Бронислав Ендриховский.

К вечеру приехал и сам командир роты, капитан Даманский. Это был мужчина средних лет, ниже среднего роста, худощавый, смуглолицый, с тёмной с проседью бородой, постриженной клином. Говорил он с заметным польским акцентом.

Эти культурные люди очень быстро сдружились с нашей семьёй. Ванда Титовна была очень милая женщина, в возрасте за 30 лет, худощавая, с некрасивым, но довольно симпатичным лицом и прекрасным, мягким характером. Она очень любила сидеть во дворе за столиком около ворот и беседовать с мамой по всем житейским вопросам. Она крайне была удручена тяжким заболеванием своего единственного Чесё, как родители называли своего сына. Это был очень симпатичный мальчик, с крупными, но совершенно бессмысленными большими чёрными глазами на мраморно-белом лице. По причине полного идиотизма, вследствие перенесённого менингита, он не был способен к каким-либо самостоятельным действиям, даже по

самообслуживанию. Иногда его личико оживлялось детской улыбкой, но тяжёлый недуг всегда был виден на окаменелом лице. Он не умел говорить, а только мычал, при выражении любой эмоции издавал звуки, напоминающие звук “ы”. Он часто плакал и раздражался. Бронислав же был отличной нянькой, в любой момент мог его успокоить и развеселить и никогда не оставлял его без своего надзора.

Командир роты Вацлав Александрович имел и второго денщика, который выполнял обязанности эконома, повара, горничной и даже прачки. Это был наш земляк, костромич, Смирнов Фёдор Иванович. Мы, подростки, как-то быстро сдружились с этими славными солдатами. Их дружба была для нас первым жизненным университетом. Они знакомили нас с жизнью царской казармы, от них мы узнавали биографии и характеры всех офицеров этого полка. Благодаря рассказам о военной жизни, у нас обоих зародилось и ещё больше закрепились желание получить офицерское звание, а наши друзья, Карлуша Моргенфельд и Фридрих Ладе, только и мечтали об этом.

От дружбы с денщиками было и отрицательное влияние на наше юношеское воображение. Через их рассказы мы неприкрыто знакомились с взаимоотношениями между мужчиной и женщиной, со всевозможными пороками, развратом, половыми извращениями и венерическими болезнями. Особенно сведущ во всех этих вопросах был Бронислав, который до военной службы работал в ресторанах и гостиницах Варшавы. Федя Смирнов был более простоватый парень и хорошо знал жизнь пригородной деревни, вроде его родных Калинок, а также жизнь отходников-плотников, с артелью которых он дальше Костромы не бывал.

Оба парня были холостые и в выходные, праздничные дни успешно ухаживали по вечерам за молоденькими горничными и нянями, которых в нашем дворе и в соседних домах было более чем достаточно. Большим успехом у девиц пользовался опытный и галантный ухажёр Бронислав, а менее ловкий и стеснительный Федя был много скромнее, а в конце военной службы нашёл всё-таки себе подругу жизни, такую же, как и он, скромную девушку из прислуг, с которой и прожил всю жизнь в собственном доме на Тихой улице. Он умер в конце пятидесятых годов от рака желудка.

Бронислав оставил о себе хорошую память в нашем дворе: в 1911-1912 годах, гуляя с Чесиком, он около забора губернаторского сада выкопал три маленьких дубочка и, вместе со мной, посадил около флигеля. Два из них живы и по настоящее время, затемняя своими могучими ветвями свет в окнах флигеля. Дубки живы, но Бронислава, наверное, уже нет в живых. Он демобилизовался в 1912 году и уехал в Варшаву. С его пылким темпераментом трудно было уцелеть во время первой германской войны и революций.

Денщики у Даманского менялись, но с другими мы дружили как-то

меньше, и они в моей памяти оставили меньший след, чем эти двое славных парней. Я помню Франтишека и Федю Низова, припоминаю и других, с которыми мы играли в лапту, крокет, городки, но уж такой тесной дружбы с ними не было.

В эти годы мы с Володиёй очень серьёзно занялись голубеводством. На чердаке сарая отгородили большое помещение для голубятни, с выходом в слуховое окно. Эта голубятня, рассчитанная на помещение до 150 штук голубей, была оборудована по всем требованиям голубеводства. Задняя стена представляла из себя сплошные ряды гнёзд с узкими приполками и круглыми лазами. Гнёзд в стене было сделано сорок, остальные устроены на противоположной стене, под навесом крыши. Каждая пара голубей знала только своё гнездо.

В зиму мы оставляли не более 25-30 пар, так как большое количество голубей прокормить нам было не под силу. Мама давала денег на корм очень скупо, а доходов от голубей зимой у нас не было. Летом мы продавали молодняк. Брли выкупы за приставших к нашим голубям чужих, обменивались своими дорогими голубями, получая денежную придачу, и т.д. Зимой эта коммерция отпадала. Мы экономили на карандашах, тетрадках, школьных завтраках и, кроме того, как я писал ранее, имели постоянный заработок в размере 1р. 20к. в месяц за очистку от снега и посыпку тротуара и за расчистку тропок во дворе. Эта работа почти целиком падала на меня, так как Володя умел найти причину не вставать рано утром, а по “обязательному постановлению” тротуары и дворы должны быть очищены от снега и посыпаны песком до 7 часов утра. Мне же по утрам приходилось кормить голубей и чистить голубятню. Я, как всегда, был безотказен. Голубеводство, если его поставить на научную основу, очень полезное и интересное занятие. Правда, оно требует больших расходов, так как окупить себя полностью не может.

(...)

Неприятный случай произошёл у нас поздней осенью того же года: совершенно неожиданно в одной из квартир нашего дома заболела маленькая комнатная собачонка. Ветеринарный врач признал бешенство. Собаку изъяли, но предложили немедленно сдать всех собак и кошек нашего двора. У нас же более 12 лет жила черно-пегая кошка Марусяка, которую мы все очень любили, берегли и всегда её любовались. У неё была интересная особенность — она даже молодой ни разу не котилась. Будучи уже в старом возрасте, она очень любила играть с нами и всегда находилась там, где были мы. Спала она всегда на печке. Когда мы ездили на дачу в Шувалово, то её

брали с собой, но там она чуть не одичала, проводя все дни и ночи в лесу, занимаясь ловлей полевых мышей, а также разорением гнёзд мелких птичек и поеданием птенцов. Домой она приносила кротов, полёвок и даже медведок. Уезжая с дачи, мы едва разыскали её и с трудом привезли в город.

Вот тут-то и постигло её несчастье. Мама и Лиза плакали навзрыд, мы с Володей едва сдерживали слёзы. Никакие хлопоты не помогли. Городской ветеринарный врач Василий Иванович Просвирнин был неумолим, и мы навсегда расстались со своей любимицей. После этого у нас много перебивало разных кошек, но такой привязанности, как к Маруське, уже не было.

В эту же осень Женя с мужем уехали на зимний сезон с какой-то драматической труппой в город Режицу. Дмитрий Михайлович устроился суфлёром, а Женя билетёршей. С этого года они до 1914 года ездили с театральными коллективами, исколесили почти всю Россию. По зимам работали до Великого поста, во время которого русские зрелищные предприятия закрывались и разрешались только гастроли иностранцев, а потому Женя с мужем до летнего сезона приезжали к нам.

(...)

До сих пор я не знаю, чем было объяснить мою неуспеваемость в учении: то ли это была лень, то ли неспособность вообще, то ли позднее умственное развитие, но, учась второй год в 3-м классе, я всё же еле-еле тянулся по математике и немецкому языку. Эти предметы вели самые опытные и авторитетные учителя. Математику преподавал ещё не старый, очень серьёзный и всеми уважаемый учитель Павел Дмитриевич Яковлев, который несколько позднее и до самой революции был инспектором гимназии. (П.Д. Яковлев скончался в 1961 году в глубокой старости).

Немецкий язык преподавал Карл Карлович Дотцауер. В то время ему было далеко за 50 лет. Мы же, мальчишки, из-за его седины и большой, белой, окладистой бороды считали его глубоким стариком. Все гимназисты уважали почтенного учителя и в то же время очень боялись его. Он кричал на учеников и очень любил подсмеиваться. Я, будучи самолюбив и крайне стеснителен, запутавшись при ответе урока, краснел и замолкал, уткнувшись глазами в книгу или тетрадь — и двойка была обеспечена. Анализируя те годы учёбы, я всё так же склонен думать, что причиной моей неуспеваемости была исключительно лень.

Я долгие часы просиживал за подготовкой домашних заданий, но в то же время мои мысли были далеко от учебника. Я думал о голубях, о технике изготовления бенгальских огней и фейерверков, о приобретении очередных выпусков сыщиков Шерлока Холмса, Ната Пинкертон, Ника Картера и других. Я плохо сдружился с этим классом, никогда не видел поддержки сильных учеников, а, наоборот, они отпускали злые шутки и чувствовали

какое-то удовлетворение, если я получал очередную двойку.

Незабвенная мамочка, безгранично любя всех нас, неумышленно вредила нам своим баловством. Она старалась, по возможности, удовлетворить все наши желания, капризы и прихоти. Она очень прилично нас одевала, кормила, как говорят, “на убой”, мы имели в общем пользовании мужской велосипед фирмы “Диана-Дюркоп”, купленный в рассрочку в магазине Людвиг Фёдоровича Демме, тульскую берданку центрального боя и красивый катер с двумя парами вёсел. Оба мы имели по карманным часам, что в то время являлось редкостью. Всё это материальное благополучие давало возможность жить без забот и лишений, порождая порой мысли о ничемности образования. Мне в то время казалось, что такая жизнь будет вечна и нет смысла утруждать себя каким-то образованием. Володя, имея выдающиеся способности, учился без особой затраты труда и энергии, мне же не хотелось себя утруждать. Лень, и только лень, была причиной моей слабой успеваемости, иначе, чем можно объяснить, что, начиная с пятого класса, я стал учиться не хуже других и к окончанию гимназии стал близок к получению серебряной медали. За время моей учёбы в первых классах гимназии у меня перебивало много репетиторов. Мама не жалела никаких расходов на то, чтобы как-нибудь дать мне гимназическое образование. За это я бесконечно благодарен этой неутомной труженице, отдавшей всю свою жизнь воспитанию своих детей.

Из своих репетиторов я помню учителя Петра Никитича Виноградова, студентов Симонова-Врублевского и Сергея Павловича Прошина. Лучше всего в моей памяти сохранился образ последнего моего репетитора, Бориса Николаевича Шамонина, а попросту, Борьки, гимназиста 6-го класса, сына директора гимназии Николая Николаевича Шамонина. Это был типичный белоподкладочник, “экс-гусар”, а в современном понятии — “стиляга”. Он воображал себя уже вполне зрелым мужчиной, хотя в то время ему едва ли было восемнадцать лет. Он открыто курил, любил кутить в компании себе подобных, ухаживал за женщинами и, как он любил хвастать, всегда успешно. Правда, как потом стало известно, один его роман кончился не совсем для него удачно. Он начал ухаживание за наездницей из временно пребывающего в Костроме цирка шапито. В гостиницу, где проживала наездница, он носил цветы, конфеты и сувениры. Деньги, видимо, тайно брал у отца. Об этом увлечении узнала его мамаша. Она приехала в гостиницу в тот момент, когда Борис находился в номере объекта своей любви. Поговорив серьёзно с женщиной, она взяла Бориса за ухо и довела до извозчика. Так неудачно кончился для него этот роман.

Он бравировал своими успехами у женщин и, не стесняясь моего присутствия, рассказывал маме о своих похождениях, при этом он никогда не

забывал перехватить у мамы 1-2 рубля из своего 10-рублёвого месячного заработка. В качестве репетитора он пришёл по объявлению, вывешенному на воротах, и очень просил маму предоставить ему эти уроки за любое вознаграждение, на что мама согласилась очень неохотно.

По договорённости, Борис был обязан репетировать меня по математике и немецкому языку и просматривать выполнение мною домашних заданий по другим предметам. Он занимался со мной ежедневно по два часа, кроме воскресных и праздничных дней. Для “пущей” важности Борис любил кричать, ругаться и даже топать и стучать кулаком о стол, обзывая меня “остолопом”, “дубиной стоеросовой” и прочее. Правда, мама его одёргивала и запрещала обидно обзывать меня. Как я потом узнал, он во всем подражал своему отцу. Вначале я его боялся, а поняв его повадки, на его горячность только улыбался. Через несколько недель мы с Борисом стали почти друзьями. Когда почему-либо он не мог прийти ко мне, он с запиской присылал служителя, и я шёл к нему.

Директор имел при гимназии большую казённую квартиру, комнат 6-8, во втором этаже правого крыла. У Бориса была отдельная комната, являвшаяся кабинетом и спальней, с ходом из общего коридора. Он познакомил меня со своей мамашей Евгенией Николаевной и сестрой Зиной, гимназисткой 8 класса Григоровской гимназии. Я нередко по вечерам бывал в их семье. Иногда горничная подавала нам чай с сухарями, конфетами и булочками. В отсутствие директора приглашала меня в общую столовую. Бывал я и в гостиной, где Зина играла на рояле, а Борис что-нибудь пел по нотам. Я присматривался ко всему и тщательно изучал манеры аристократического общества. У Бориса был старший брат Николай, который в то время учился в Московском университете и приезжал домой только на Рождество и летом.

Мне приходилось всячески скрывать от своих одноклассников знакомство с семьёй директора, дабы не получить ярлыка доносчика, шпиона и подлизы, но от служителей, или, как их тогда называли, дядек, этого скрыть мне не удалось. Они часто ходили ко мне с записками Бориса и часто видели меня входящим в квартиру с чёрного хода. Все служители имели квартиры при гимназии. Мои посещения квартиры директора они поняли по-своему, причислив и меня к категории костромской аристократии. При входе в гимназию швейцар-гардеробщик открывал передо мной двери, снимал с меня шинель и убирал галоши, при уходе домой всё это проделывалось в обратном порядке, причём галоши всегда были вымыты. Таким почётом среди гимназистов пользовались только сыновья аристократов, фабрикантов и богатых купцов. Это льстило моему самолюбию уже потому, что таким “уважением” не пользовался брат Володя. Я же такое отношение ко мне служителей поддерживал

“чаевыми”, сэкономленными из своих карманных расходов.

Однажды Борис, узнав, что у нас в классе была письменная работа по немецкому языку, вечером предложил мне вместе с ним пройти в учительскую, где на этажерке он нашёл пачку тетрадок с диктантом по немецкому языку, изъял оттуда мою, и мы с ним ушли в один из пустых классов. Он взял чистую тетрадь и предложил мне, под его диктовку написать текст, сделал умышленно несколько ошибок. Тут же тетрадь была положена на старое место, а через несколько дней Карл Карлович вручил мне её с отметкой три с плюсом. В душе мне было очень стыдно за свой вынужденный неблагоприятный поступок, совесть была неспокойна. Я не умел и не любил обманывать кого бы то ни было.

А однажды репетитору и ученику попало довольно серьёзно от мамы. Как-то вечером у Шамониных, после занятий, Борис предложил мне выпить виноградного вина, сказав, что у него сильно болит голова после вчерашнего кутежа у Треберта, гимназиста 8 класса, известного в то время “покорителя сердец”, сына губернского архитектора. Борис из прикроватной тумбочки вынул две рюмки и бутылку кагора. Мы выпили, и я сразу почувствовал опьянение. Борис тут же предложил по второй, и я пришёл домой под хмельком. Мама очень расстроилась, обещала иметь серьёзный разговор с Борисом и крепко меня отругала. На другой день она стала строгим голосом говорить с Борисом, доказывая ему недопустимость подобных действий. Он вначале растерялся, а потом, вынув из кармана портсигар, сказал: “Пустьяки, Лукия Денисовна, у меня было церковное вино. Вот лучше разрешите угостить вас новомодными папиросами”, и он действительно предложил маме какие-то особенные папиросы. На этом инцидент был исчерпан.

Впоследствии Борис, по окончании гимназии, поступил в петербургский Морской кадетский корпус, где его застала революция, и он эмигрировал во Францию. Долгое время Борис работал шофёром такси в Париже. Дальнейшая судьба его мне неизвестна.

Николай Николаевич Шамонин в 1915-16 годах был переведён директором гимназии в Рязань, где вскоре и скончался, подавившись косточкой от сливы. Сын Николай по окончании университета женился на дочери известного историка Платонова и в начале революции также эмигрировал за границу. Судьба остальных Шамониных мне неизвестна. Директором гимназии был назначен известный историк Добрынин, который и оставался на этом посту до самой революции.

Костромская первая классическая гимназия по количеству учащихся была крупной. В ней обучалось более 700 человек, причём не только из города, но и изо всех уголков губернии. Все учащиеся обучались в одну смену;

кроме приготовительного класса, все остальные делились на два отделения. Учителей было не менее 30 человек, и все они на несколько лет закреплялись за одним отделением и преподавали в нём до прохождения программного курса, а потому мы, гимназисты, знали более близко только определённую группу учителей, с остальными же сталкивались крайне редко. Я всё время учился по первому отделению.

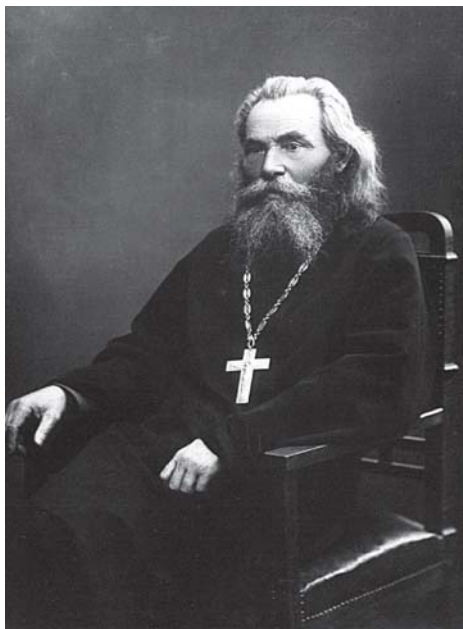
В классы основного, первого, отделения зачислялись перешедшие из приготовительного класса, а также все дворянские сынки, проживающие в дворянском пансионе, который находился в то время в большом красном каменном доме в начале Еленинской (ул. Ленина) улицы. Из-за них первое отделение считали привилегированным. В это отделение зачисляли детей костромской буржуазии и крупного купечества. Более опытных и авторитетных учителей также закрепляли за первым отделением. Надо сказать, что по социальному положению в классе оказывались самые разнообразные ученики. Были дети предводителей дворянства, офицеров, учителей, врачей, торговцев, фабрикантов, попов, зажиточных домовладельцев и очень мало крестьян. Детей рабочих были единицы. Евреев принимали не свыше 10%.

(...)

В каждом возрастном периоде нашей гимназической жизни у нас были учителя-любимчики и такие, которых мы не любили, но боялись и слушались. Так, в приготовительном классе мы любили своего учителя и классного наставника Петра Никитича Виноградова и классного надзирателя (он же учитель пения) Бориса Владимировича Пиллера и страшно боялись и недолюбливали законоучителя о. Аполлоса Благовещенского за его суровый наружный облик, резкий голос и грубое обращение с приготовишками. Как не имеющий высшего образования, он допускался к ведению уроков только в приготовительном классе.

От о. Аполлоса один раз была большая неприятность, о чём я коротенько упомянул ранее. Как-то за уроками закона Божьего я засмотрелся в окно на Волгу и ничего не слышал из его объяснения о скрижалях с десятью заповедями, переданных Богом пророку Моисею на горе Синае. Он заставил меня повторить. Я же не мог вымолвить ни одного слова. Жирная единица украсила классный журнал против моей фамилии. Правда, на следующих уроках она легко была исправлена мною на четвёрку.

Начиная с 1-го класса, в гимназиях было уже предметное преподавание, и мы знакомились со многими учителями, привыкая к приёмам и методам каждого из них. Классным наставником в нашем классе с 2 по 4 год обучения был законоучитель, священник о. Михаил Раевский, которого мы



*Отец Аполлос. (1916 г.).
Репр. А. Хурсяк. 1989 г.*

не боялись, полюбили и уважали за его отзывчивость, чуткость и отцовский подход к каждому гимназисту. Отец Михаил был в возрасте около 50 лет, маленького роста, худощавый, с реденькой, седеющей тёмно-русой бородкой. Его желтоватое лицо изобороздили глубокие морщины. На уроках он редко сидел, а любил ходить между партами, а иногда стоял около классной доски, держась руками за грудь в области сердца. Видимо, он страдал какой-нибудь сердечной болезнью. Ни один гимназист не имел по его предмету оценки ниже четырёх.

Чем мы становились старше, тем с большим количеством учителей нам приходилось сталкиваться. Мы наблюдали за ними на уроках, вне класса, интересовались их личной жизнью, изучали их привычки, увлечения, стра-

сти и прочее. Среди гимназистов ходило много различных анекдотов об учителях, которые, быть может, полностью и не соответствовали действительности, но конкретно и метко рисовали образы того или другого учителя. Некоторые учителя даже после своего ухода из гимназии надолго оставляли после себя хорошую или дурную память. Рассказы о них передавались из поколения в поколение.

В моё время в учительском коллективе гимназии были такие, о которых можно рассказать много интересного. Остановлюсь только на некоторых, выделявшихся из общего учительского коллектива своей оригинальностью. Как живой встаёт в моей памяти оригинальный образ учителя латинского языка Евгения Матвеевича Арбатского. В то время это был мужчина в возрасте под сорок лет, среднего роста, с розовым цветом лица, с бритой головой и маленькими светло-рыжими усами. Из-за сильной дальнозоркости, он носил очки с большим увеличением и всегда в золотой оправе. Его некрасивое лицо отличалось богатой мимикой, отражающей частые изменения настроения.

Евгений Матвеевич обращал на себя внимание чрезвычайно громким, резким голосом, отчего получалось впечатление, что он чем-то расстроен или на кого-то сердит. Гимназисты его очень боялись, а те, которые ближе познакомились с Евгением Матвеевичем и изучили его увлечения, умели легко влиять на его настроение и своими своевременными вопросами отводили его от эмоциональной вспышки и последующих неприятностей. А увлечений у Евгения Матвеевича было много. Прежде всего, он был заядлый пожарный, являясь активным членом правления добровольного пожарного общества. В учительской у него всегда находилась медная каска и специальный пожарный пояс. Если случался где-либо пожар, Евгений Матвеевич даже прекращал уроки, бежал в учительскую, быстро надевал пожарные доспехи и на первом попавшемся извозчике мчался к месту пожара. Разговор о пожарах был его любимой темой, и он говорил о них с подъёмом и возбуждением; конечно, не без добавления фантазии, как это всегда делают энтузиасты, охотники и рыболовы.

Зная эту слабость Евгения Матвеевича, догадливые гимназисты “в минуту трудную”, говорили: “Евгений Матвеевич! Кажется, прозвучал пожарный колокол на главной”. Этого было достаточно, чтобы Арбатский прекращал урок и бежал к телефону в учительскую. Пока он выяснял, гимназисты успевали выйти из затруднительного положения, а он остывал, и всё входило в нормальную колею.

В общем же Евгений Матвеевич был довольно неплохим учителем и далеко не односторонне развитым человеком. Кроме латинского языка, он давал уроки географии, в каникулярное время много путешествовал по России, занимался спортом, любил русскую литературу, недурно писал стихи и находил время бывать в весёлой компании друзей.

Он был махровый монархист и чуть ли не член “Союза русского народа”, а в части религии — глубоко верующий. Одно время он даже был помощником церковного старосты при гимназической церкви. Старостой же очень долго был купец 2 гильдии, заводчик по отливке колоколов Серапион Забенкин, тесть гимназического учителя Василия Ивановича Смирнова, о котором будет сказано ниже.

Не менее оригинальной личностью был учитель французского языка Альберт Евгеньевич Дестор. Он приехал в Кострому непосредственно из Парижа. Поговаривали, что, будто бы, он даже не имел высшего образования, а во Франции служил клерком (чиновником). Может быть, в действительности это было и не так, но разговоры такие среди гимназистов были.

До приезда Дестора уроки французского вёл француз Борель, но я в гимназии его уже не застал. Говорили, что это был молодой и красивый мужчина, кутила и “донжуан”. Однажды с ним произошёл весьма неприятный

для него случай, из-за которого ему пришлось расстаться с гимназией и покинуть Кострому. Как-то после большого ночного кутежа он проспал и, заторопившись на уроки, надел длинный форменный стюртук, а брюки забыл. В таком виде на парадной лестнице он повстречался с директором гимназии, и с того времени его уже никто не видел в нашем учебном заведении. Так или не так это было, но легенда о Бореле передавалась из поколения в поколение.

А.Е. Дестор был человек в другом роде. Он был в среднем возрасте, рыжеват, невысок, сутул и некрасив. В движениях суетлив, чрезвычайно вспыльчив и криклив. С первых же дней своей работы в Костроме он проявил себя как добровольный сыщик, шпион и доносчик гимназической администрации на гимназистов. Его можно было встретить в вечернее время на людных улицах, в горетатре, около кино, на бульваре и на Муравьёвке. У гимназистов — нарушителей ученических правил — он отнимал ученические билеты, а тех, у которых таковых с собой не было, передавал полиции для удостоверения личности; задержанные записывались в книгу нарушений, называемую “кондуит” и, по решению педагогического совета, получали снижение оценки по поведению или отсиживали по 6 часов в воскресные дни под наблюдением надзирателей. Встречи с Дестором и инспектором 2-й гимназии Воскресенским, занимавшимся тем же, боялись все гимназисты.

В первое время Дестор очень плохо понимал по-русски, еще хуже изъяснялся. Пользуясь этим, гимназисты любили разыгрывать его за уроками. Более смелые, вроде Абрама Залкинда или Владимира Салькова, вместо положенного в начале урока рапорта, подкидывали набором самой отъявленной похабщины или, вместо утренней молитвы, читали неприличные стихи типа “Гавририады” или произведений Баркова. Как-то, запомнив несколько самых отборных похабных слов, Альберт Евгеньевич, при общем собрании учителей в учительской, обратился за переводом их к пожилой учительнице французского же языка Марии Александровне Вознесенской. Тут же присутствовала молоденькая учительница, бывшая институтка Орнатская. Учителя не выдержали и разразились гомерическим хохотом, а женщины покраснели и крайне сконфузились. Всё же Дестор был удовлетворён переводом, и после этого ученикам пришлось изменить тактику разыгрывания учителя.

Как ни шумно проходили уроки французского языка, всё же гимназистам нравилась постановка преподавания Дестором, и мы все очень полюбили этот язык. У него была система — весь урок вести в разговорной форме, избегая употребления русских слов, кроме необходимых переводов. С каждым годом мы лучше и лучше знали французский язык и к окончанию

гимназии свободно объяснялись в обычном разговоре и свободно читали и понимали в подлинниках французских поэтов и писателей. На оценки он не скупился. Спустя 8-10 лет по окончании гимназии, я, работая в органах милиции, часто встречался с Альбертом Евгеньевичем на улицах, и мы всегда разговаривали на его родном языке, к удивлению прохожих, так как в то время не было работников милиции, знающих европейские языки.

Ко мне Дестор проявлял особую симпатию, всегда останавливал меня на улице и жаловался на своё тяжёлое материальное положение и трудности получения визы на выезд во Францию. Наконец, ему удалось этого добиться и в 1928 году уехать во Францию, где он и умер в начале тридцатых годов.

Хочется более подробно описать жизнь ещё одного учителя, которого я знал лучше других. Большую, долгую жизнь прожил учитель словесности и русского языка Владимир Алексеевич Андроников. В описываемое мною время он из всех учителей гимназии выделялся элегантным костюмом, галантным обращением со всеми и чересчур слащавым, с явным проявлением лести с людьми, стоящими выше его на иерархической лестнице, как-то: директором и инспектором гимназии, видными в городе родителями гимназистов, не говоря уж о губернаторе, попечителе Московского учебного округа, предводителе дворянства, архиерее и городском голове.

Я очень хорошо знал личную жизнь Владимира Алексеевича, и мне хочется остановиться на её описании более подробно. В доме Андрониковых в Борисоглебском переулке я впервые начал систематическое обучение у домашней учительницы Дерновой Анны Афиногеновны.

Отца Алексея я знал как настоятеля губернаторской церкви Бориса и Глеба, прихожанами которой были и мои родители. С церковными требами в праздники всегда бывал у нас весь причт этой церкви. Владимира Алексеевича я знал и как своего учителя. Таким образом, мне невольно в гимназии и в домашней жизни приходилось постоянно сталкиваться с этой довольно небозынтересной семьёй. Много разговоров бывало о всех членах этого патриархального семейства. Ближе к их интимной жизни была, конечно, прислуга, которая из-за скупости хозяев и постоянного контроля за куском хлеба, редко уживалась, и вот она-то и выносили всё наружу. Вероятно, не без участия домашней работницы трагически окончилась жизнь маститого, заслуженного старца, но к этому происшествию я вернуться в своё время.

Я помню отца Алексея уже в довольно преклонном возрасте. Это был седенький, маленький, довольно крепкий старичок, с елеиным, приветливым личиком. Благодаря умелой, тонкой лести перед губернатором и другими высокопоставленными лицами, отец Алексей сумел получить, помимо всех наград по епархиальной линии, орден св. Анны I-й степени; это была



Древний район Дебри. Справа — церковь Вознесения на Дебре, за ней на горе — церковь Бориса и Глеба. Фото нач. XX в.

звезда и красная, с узкой жёлтой каймой, муаровая лента через плечо. В особо торжественные дни он надевал все эти регалии на свою атласную рясу. Отец Алексей давно был вдов. С ним, помимо Владимира Алексеевича, проживали ещё две дочери, обе уже в возрасте за сорок лет. Говорили, что одна из них была замужем, но рано овдовела. Они были очень похожи друг на друга — маленькие, худенькие, с весьма ограниченным кругозором. Одевались всегда старомодно. Всё хозяйство вела самая старшая — Надежда Алексеевна.

Эта семья отличалась какой-то отчуждённостью от мира сего. Редко кто бывал в их доме, они же тоже ни с кем не дружили. Жили очень скупо. Домашняя обстановка не отличалась богатством и была старомодна. Люди говорили, что у Андрониковых были большие денежные накопления, золотые вещи и драгоценные камни, вплоть до бриллиантов.

Владимир Алексеевич, как самый младший в семье, был любимцем и баловнем. В противоположность сёстрам, он одевался даже богато. Мундир, форменные сюртук и тужурка у него были новее и богаче, чем у прочих учителей. В гимназию он являлся всегда тщательно выбритым, припома-

женным и надушенным, чёрная бородка-эспаньолка очень гармонировала с его округлым, розовым лицом и всей приземистой полной фигурой. Благодаря унаследованным от папаша иезуитски льстивым приёмам при обращении с нужными людьми, Владимир Алексеевич быстро продвигался по служебной дорожке, и, имея от роду не более сорока лет, он уже был обладателем чина статского советника и нескольких внеочередных орденов, в то время как его сверстники-учителя едва имели чин титулярного советника.

В расцвете своей служебной карьеры, т.е. в возрасте 40 лет, он женился на дочери священника, которая была моложе его на 17 лет и представляла собой полную противоположность Владимиру Алексеевичу. С первых дней своей супружеской жизни она показала себя как далеко незавидная хозяйка, неряшливая и от природы обиженная умом и каким бы то ни было талантом. Владимира Алексеевича при женитьбе, видимо, больше всего привлекло приданое, на которое не поскунился тесть. С женитьбой круто изменилась жизнь Владимира Алексеевича: он перестал так тщательно ухаживать за своей внешностью, начал с головой уходить в личную жизнь. Заметив какое-то расточительство и беспечность со стороны своей молодой супруги, всю заботу о семье и хозяйстве он принял на себя, учитывая в расходах каждого члена семьи.

Впоследствии у Владимира Алексеевича были две дочери, которым не удалось получить хотя бы среднего образования. В 1918 году бандиты с целью грабежа зарезали старика о. Алексея. Вскоре одна из сестёр Владимира Алексеевича, купаясь, утонула в реке Сендеге, а другая сестра ещё много лет проживала в этом маленьком домике в Борисоглебском переулке. Её знали все соседи и всегда смеялись, глядя на её неизменный узелок, с которым после смерти отца она никогда не расставалась. Поговаривали, что в нём она носила все фамильные драгоценности. После революции Владимир Алексеевич преподавал в школе, а потом, находясь на пенсии, до последних лет своей жизни занимался чтением лекций на историко-филологические и археологические темы. Он скончался в ноябре месяце 1961 года, в возрасте 87 лет.

Вспоминается мне ещё учитель истории Василий Иванович Смирнов. По своим политическим убеждениям среди учительского персонала гимназии он считался самым левым, так как официально состоял членом социал-демократической партии (меньшевиком). На уроках истории в старших классах он систематически и очень искусно внушал гимназистам передовые, социалистические идеи, открыто бичевал пороки самодержавного строя. Основное большинство гимназистов, за исключением ярых монархистов, очень уважали Василия Ивановича. Он любил организовывать экскурсии по городу и в сельскую местность, и желающих ходить с ним было множество. Во время таких походов он ближе знакомился с гимназистами и бывал с ними



*Василий Иванович Смирнов.
1924 год.*

гораздо откровеннее.

Мы все знали, что им интересовалось жандармское управление и он был под негласным надзором полиции. Учителя близко не сходились с Василием Ивановичем из боязни навлечь на себя неприятности со стороны начальства. Василий Иванович, как я уже говорил выше, был женат на дочери заводчика Забенкина, и это родство, вероятно, и спасало его от более серьезных репрессий со стороны жандармского отделения. Уроки истории, даваемые Василием Ивановичем, мы все очень любили, так как они не были насыщены монархической пропагандой, а преподносились учащимся с критическим подходом к историчес-

ким событиям и не являлись пересказом материала, излагаемого в учебниках того времени.

Василий Иванович и Владимир Алексеевич вели большую общественную работу в археологическом обществе и принимали активное участие в создании местного краеведческого музея, хотя по своим политическим взглядам они были чуть ли не диаметрально противоположны.

(...)

В нашей гимназии появился новый преподаватель военного дела, капитан Пултусского пехотного полка Николай Петрович Репин. Это был типичный царский служака, едва после сорокалетнего возраста получивший в командование роту. (...) Он был среднего роста, худощавый, с ярко-рыжей небольшой квадратной бородкой, одет всегда строго по форме. Говорил тихо и спокойно, но команды подавал отчётливо, громко и точно. На уроки он всегда приводил одного или двух унтер-офицеров, которые демонстрировали упражнения на гимнастических снарядах (параллельных брусьях, коне, кольцах, турнике и буме). Сам капитан показывал упражнения редко. Этому причиной был, вероятно, возраст. Мы, гимназисты, в основном очень любили военные занятия, в особенности те из нас, которые готовили себя к военной карьере. К этой категории, конечно, принадлежал и я. Моё усердие было отмечено капитаном, и я вначале был назначен командиром отделения, а вскоре и командиром взвода, т.е. всего класса.

В мою обязанность входило: строем привести взвод в актальный зал, по-

строить его по расчету и, при входе в зал офицера подав команду “смирно”, подойти с рапортом. По окончании занятий я уводил взвод в класс. Это меня очень увлекало, поднимало мой авторитет перед товарищами по классу и льстило моему честолюбию. Я особенно гордился маленьким, защитного цвета погоном, обшитым трёхцветным шнурком вольноопределяющегося и с настоящими нашивками старшего унтер-офицера. Этот погон нашивался на груди, с левой стороны, у края разреза куртки.

(...)

1913 год для царской России был юбилейным годом — исполнялось 300 лет царствования Дома Романовых, а Кострома, считавшаяся колыбелью этой династии, готовилась праздновать юбилей особо торжественно.

Губернские и городские власти начали подготовительные работы ещё с 1909-1910 годов. Помимо текущего ремонта существующих домовладений и общественных зданий, который возлагался целиком на домохозяев и общественные организации, по линии городского правления было запланировано и принято к немедленному выполнению следующее: переоборудование и расширение сети городского водопровода по проекту профессора Энша, с постройкой водонасосной станции с фильтрами и отстойными баками на берегу реки Волги, около Молочной горы. Предусматривалось увеличение протяженности водопроводной сети по направлению к фабрикам, а также постройка водонапорной башни на Мясницкой улице.

Кроме того, приступили к постройке городской электростанции общего пользования мощностью 400 квт. Здание электростанции было запланировано и построено рядом со зданием горводопровода. В общем виде эти два здания сохранились до последних лет. Вскоре началось строительство зданий музея и больницы Федоровской общины сестёр милосердия Красного Креста.*

Из всех подготовительных мероприятий самым сложным и ответственным было утверждение проекта памятника “300-летию Дома Романовых”. Разрешение этой задачи целиком взяло на себя правительство, утвердив из многочисленных проектов, представленных на конкурсе, проект скульптора Адамсона. Костромскому дворянству было предоставлено право заняться сбором средств на это строительство. Место для этого памятника было отведено на краю Соборной площади у самого обрыва к Волге.

Здесь я перечислил более крупные объекты капитального строительства, которых без юбилея костромичам, быть может, скоро не пришлось бы

*Ныне — старая часть здания онкологического диспансера на ул. Нижняя Дебря. (Прим. ред.)



Царская беседка. 1910-е гг.

увидеть, но были постройки и другого значения, которые требуют больших материальных затрат, имели только лишь временное значение, в основном в дни празднования. К таким надо отнести: постройку красивого павильона на обрыве к Волге, около соборной ограды, который назывался “Царская беседка”, шатра у предполагаемого памятника, нескольких пристаней-дебаркадеров в стиле старинных ладей екатерининских времён, а также постройка павильонов губернской земской выставки в районе между современными улицей Поддипаева (бывш. Воскресенская) и Коротким (бывш. Никольским) переулком. На очищенной от дровяных складов и жалких лагуч обширной территории было построено не менее тридцати одно- и двухэтажных павильонов в древнерусском стиле из гладко струганных брёвен со сложной резной отделкой. На выставочной площади была сооружена из бетона скульптура русского богатыря, сидящего на могучем боевом коне в полном вооружении. Заводчик Забенкин построил “старинную” деревянную звонницу с набором всей гаммы блестящих колоколов.

На все запланированные мероприятия требовались большие денежные средства, но государство ассигновало крайне скупо, надеясь на благотворительность. Так, Кострома давно ожидала специального здания для краеведческого музея, так как накопленные за многие годы архивные, археологические и палеонтологические экспонаты были размещены в совер-



*1913 год. Костромская губернская земская выставка,
посвященная 300-летию Дома Романовых.*

шенно непригодных для этой цели помещениях. Учёная архивная комиссия в течение десяти лет собирала пожертвования и, только воспользовавшись юбилеем, сумела приступить к постройке специального здания музея, который и был открыт 16 января 1913 года под названием “Романовский”. Точно так же, в ложнорусском стиле, было построено здание больницы “Красный крест” на Нижне-Дебринской улице, ниже Муравьёвки. Костромичи в то время очень нуждались в больницах и во врачебной помощи, но государство не нашло нужным отпустить средства на это строительство, и больничный корпус был построен на средства Федоровской общины Красного креста.

При подготовке к торжествам большое внимание было обращено и на людские кадры. По церквям, учебным заведениям, в казармах и даже в рабочих общежитиях и клубах возносились заслуги романовской династии и здравствовавшего в то время “августейшего семейства”. К юбилейным торжествам всем учащимся, мальчикам и юношам, было предложено иметь белые тужурки и белые чехлы на фуражки, а девочкам и девушкам — белые фартуки, нарукавники, пелерины на форменные платья. Учителя, чиновники и все служащие обязывались иметь также парадную летнюю фор-

му при всех положенных по чину регалиях.

Небывалая работа ожидала портных, модисток, шапочников, сапожников и прочих ремесленников. Все подобные мастерские и отдельные мастера были завалены работой за много месяцев до торжеств. Бойко торговали ходовыми товарами мануфактурные торговцы и галантерейщики. Немалую подготовительную работу проделали судебные органы, жандармское отделение и полиция по очистке Костромы от политически неблагонадёжных людей, которых постарались заблаговременно выслать за пределы Костромской губернии. Малейшее подозрение давало повод к помещению в тюрьму или в камеру предварительного заключения. Охранка и полиция особенно строго следили за всеми приезжающими в город и гласно или негласно проверяли личность каждого вновь прибывшего. Выборочно проверялась и почтовая корреспонденция. На ноги был поставлен весь актив тайной полиции.

За несколько недель до торжеств в Кострому прибыли лейб-гренадерский Ериванский полк из Петербурга, отборная сотня конного Кизляро-Гребенского казачьего полка и сотня 30-го Донского казачьего полка. За несколько дней до празднования на улицах города появились франтоватые офицеры и нижние чины столичной полиции и жандармерии, а сколько было их без официальной формы, секретно, — это простому костромскому обывателю известно не было.

Губернатор Шиловский, видимо, по мнению правительства, не мог в должной мере обеспечить безопасность “августейших гостей”, а потому ещё в конце 1912 года на его место был назначен действительный статский советник, егермейстер двора Его Величества Пётр Петрович Стремухов, мужчина средних лет, вылощенный царедворец, ярый монархист, поклонник и покровитель “чёрной сотни” и всех их организаций. На такого начальника губернии, конечно, можно было положиться, такой не подведёт, и он, действительно, не подвёл.

В последние дни перед празднованием много работы и заботы было у домовладельцев. Им было предложено восстановить пресловутые фонари на воротах домов, покрасить фасады и заборы, выровнять тротуары, углубить водосточные каналы и покрасить тумбы фонарных столбов.

Кострома переживала горячие дни. Все жители были заражены этим предпраздничным подъёмом, а уж нам, мальчишкам, работы было больше всех. Мы толпами бегали смотреть на строительство выставки, больницы, музея и успевали везде.

Всем очень хотелось ускорить приближение этих “торжественных” дней, немало потрудились “отцы города” и органы, обеспечивающие порядок и заботу о безопасности “высоких гостей” (...). В памяти народа ещё свежи были

Кровавое воскресенье, стольпинская реакция и, ещё ближе, Ленский расстрел рабочих на далёких золотых приисках в 1912 году, давший мощный подъём революционного движения по всей стране, в особенности в таких крупных рабочих центрах, каким была революционная Кострома.

Для встречи гостей всё было продумано довольно основательно. Поскольку этот юбилей праздновался во всероссийском масштабе, то, в основном, подготовка к нему велась в верхах.

Всем населённым пунктам, расположенным по берегам Волги, от Нижнего Новгорода до Углича, было приказано строить арки, украшенные национальными флагами, государственными гербами, императорскими вензелями, верноподданнейшими аншлагами и лозунгами. Всё взрослое население обязывалось выходить на берег и приветствовать флотилию криками “ура!”. Прибрежные сельские церкви должны были встречать гостей колокольным звоном.

Флотилия двигалась серединой фарватера реки, нигде не останавливалась до самого города Костромы, лишь замедляя ход около городов и крупных населённых пунктов.

(...)

Большие реставрационные работы были произведены в Ипатьевском монастыре за рекой Костромой, где было решено организовать царскую резиденцию и провести первую встречу. Хозяева города наивно думали, что царь и его семейство рискнут провести ночи на берегу, но этого не случилось.

В последние предпраздничные дни ежедневно, по несколько часов, все учащиеся тренировались, маршируя по городу с деревянными бутафорскими ружьями. Учащиеся женских учебных заведений маршировали с букетами цветов.

Вот, наконец, наступили долгожданные дни. Надо сказать правду — все, от мала до велика, с нетерпением ожидали приезда “Божьего помазанника” и его августейшего семейства. Ведь ни один из костромичей не видел никого из царствующего семейства, кроме как на портретах. Пропаганда, наглядная агитация, вся предпраздничная суэта разжигали интерес каждого. Всем хотелось скорее и поближе увидеть гостей.

За два-три дня в Кострому стали приезжать высшие офицеры и гражданские лица из императорской свиты, министры и великие князья.

19 мая празднично украшенный город с самого раннего утра ждал приближения речной флотилии. С рассветом весь берег Волги против города и с городской стороны заполнился празднично одетым народом. Каждый стремился занять своё место ближе к реке или на холмах у собора, Маленького бульварчика, на Городищенских холмах, а также на Стрелке.

Нас, гимназистов, установили развёрнутым строем по двое по Ильинской (Чайковского) улице от пристани “Самолёт” до Русинной улицы. Против нас стояли гимназистки Григоровской гимназии. Как только царская флотилия показалась около Татарской слободы, по удару большого соборного колокола, раздался оглушительный колокольный звон всех сорока церквей. С заволжской стороны, от Городища, раздались залпы артиллерийского салюта. Вдали, около Ипатьевского монастыря, а также на городской стороне играли духовые оркестры. Народ криком “ура!” приветствовал “царственных гостей”.

Флотилия в составе пароходов “Межень”, “Стрежень”, “Свияга”, “Цесаревич Алексей” и “Царь Михаил Федорович”, эскортируемая паровыми катерами речной инспекции, медленно проплыла мимо города к Ипатьевскому монастырю. Царь Николай со своим семейством находился на пароходе “Межень”, и все они у города вышли на палубу, приветствуя костромичей. Так как флотилия шла центром реки, то за дальностью расстояния рассмотреть кого-либо было очень трудно. После проезда гостей учащиеся распустили по домам, на завтрак, с тем, чтобы через три часа всем быть на тех же местах.

Первая встреча состоялась в районе Ипатьевского монастыря. Там собрались высший генералитет, царская свита, представители костромского дворянства, сановники, отцы города и войска. После церемониала встречи все проследовали в монастырский храм, где был отслужен торжественный, благодарственный молебен, после чего состоялся парад войск Костромского гарнизона совместно с прибывшими ериванцами, кизляро-гребенцами и донцами.

После осмотра древностей Ипатьевского монастыря, усыпальницы Годуновых, дворца Михаила Федоровича гости и сопровождавшие их лица водным путём направились в Кострому, где всё уже было готово для торжественной встречи. По маршруту следования гостей, по обеим сторонам улиц, стояли плотным строем учащиеся, за ними были натянуты канаты, за которыми разрешалось стоять неорганизованному населению. Между рядами учащихся и населением была цепь полицейских, жандармов и каких-то типов в штатских костюмах. Внешне казалось, что детям и учащимся выделили наилучшие места, чтобы лицезреть “обожаемого монарха” и его свиту, а на самом деле это было придумано исключительно из страха и предосторожности, из расчёта, что никто не решится бросить бомбу через головы детей. Во время проезда процессии не разрешалось открывать окна, залезать на крыши домов и деревья, но это указание полиции везде нарушалось и нарушителей не преследовали.

Всё шло по плану, лишь подводила погода, с утра угрожавшая дож-

дём, а к вечеру разразившаяся сильной грозой и ливнем.

Хочется сказать ещё об одной детали. Трудно объяснить, почему для передвижения по городу был полностью исключён автотранспорт, хотя к тому времени в Костроме уже были легковые и даже грузовые автомашины. Откуда-то появились прекрасные вороньи рысаки, упряжного каретного типа, управляемые представительными боролатыми кучерами в блестящих бутафорских костюмах. Открытые экипажи блестели на солнце чёрным лаком. Нам, стоявшим у самой пристани, отлично было видно, как царь и его семейство, окружённое блестящей свитой и встречающим городским и губерньским начальством, выходили по красному сукну пристанского мостка, как все размещались по экипажам и ехали по Ильинской улице на Русину. Первым на паре вороных рысаков, стоя лицом к царю, ехал губернатор Стремоухов в своём белом придворном мундире с красной лентой через плечо (орден Станислава I степени), со шпагой и в треугольной шляпе с плюмажем; за ним следовал экипаж с царём Николаем II, его супругой и матерью Марией Федоровной, а далее — экипажи с дочерьми и наследником Алексеем, с которым неотлучно находился великан-красавец, матрос Деревенько. Свита и генералитет ехали сзади.

У меня до сих пор перед глазами стоит фигура одного странного гостя, ехавшего среди свиты; он был в возрасте старше сорока лет, с длинной чёрной бородой, острижен под кружок. Обращала внимание его одежда: чёрный мужицкий кафтан, белая шёлковая русская рубаха и чёрные шаровары, заправленные в русские сапоги. Говорили, что это был Гришка Распутин. (...)

Я, как и все подростки и взрослые костромичи, в этот день испытывал какую-то торжественность. Нам приходилось своими глазами видеть русского самодержца, “помазанника Божьего”, как в то время именовали царя. Какое-то чувство благоговения, умиления, и в то же время страха, испытывал каждый при виде этого невысокого, худощавого, рыжебородого полковника с ничего не выражающим, холёным, с небольшим отёком лицом. Надменный вид и осанка Александры Федоровны были много величественнее, чем у её венценосного супруга.

Дочери не блистали красотой, но были богато и просто одеты в совершенно одинаковые светлые костюмы. Жалкое впечатление оставалось от вида наследника-цесаревича: он очень плохо передвигался, и с пристани в экипаж выносил его на руках матрос-нянька. Оба дня мальчик был одет в матросский костюм; миловидное, бледное лицо его отражало тяжёлое хроническое заболевание. Такое впечатление осталось у меня от всего семейства Романовых. За два дня пребывания гостей в Костроме мне удалось видеть их трижды.

В первый день гости посетили губернаторский дом, где состоялся приём делегаций от всех учреждений, а также религиозных общин и сект; дворянское собрание, где также был приём дворянско-помещичьих делегаций во главе с уездными предводителями. После всего был осмотрен недавно открытый местный музей. Резиденцией для отдыха и сна ими был избран один из пароходов флотилии, поставленный на рейд под охраной полиции. Торжественные завтраки и обеды проходили в губернаторском доме, дворянском собрании а также в Богоявленском и Ипатьевском монастырях.

Особенно торжественным был второй день праздника. С утра, после пышного богослужения в кафедральном соборе, процессия, возглавляемая высшим духовенством, направилась к специальному шатру, оборудованному в конце Соборной площади, для церемонии закладки памятника 300-летия Дома Романовых. Фундамент для будущего памятника был уже готов. После специального молебна в этом шатре император, взяв два юбилейных серебряных рубля, положил их в лунку фундамента, то же сделали все члены царской фамилии, после чего Николай II заложил первый кирпич. (Не знал Божий помазанник, кому он заложил этот памятник). Тут же, на площади, состоялся парад всех войсковых соединений. Мы в этот день стояли по пути следования на Борисоглебском переулке, а к 4 часам дня были переведены в район выставки. После парада царское семейство перешло в беседку, откуда приветствовало толпы костромичей.

После обеда был снова приём делегаций. Большую изобретательность проявили земские дельцы, подобрав волостных старост и старшин: одного к одному, солидных, бородатых и, конечно, самых зажиточных. Все они были одеты в новые синие суконные кафтаны, в синие картузы и смазные кожаные сапоги. У многих из них были какие-то медали, и у всех — большие медные бляхи на цепях, одетых на шею. Это был знак государственной власти. Верхушка деревни на самом деле не могла представлять интересы крестьянских масс, но зато была яркой сторонницей абсолютной монархии.

Благодаря тёплой ясной погоде, приём крестьянской делегации состоялся прямо на свежем воздухе в губернаторском саду. Там же был организован торжественный обед, за которым старшины получили юбилейные кружки и гостинцы в шёлковых платках с портретами Николая II и царя Михаила Федоровича.

Представлялась царю и преподносила хлеб-соль и еврейская делегация во главе с самыми богатыми и почётными купцами — Гутманом, Домбеком и другими. Всем известно отношение главы “великой империи” к еврейскому населению, и совершенно непонятно было это представительство. Всё это я описываю более подробно, потому что сам был свидетелем, смотря на всё происходящее в губернаторском саду с соседнего двора Яковлева.



Романовская больница Феодоровской общины, состоявшей при Костромском отделении общества «Красного креста» (в просторечии — больница «Красный крест»). Фото времени Первой мировой войны.

После приёма и торжественного обеда царь с дочерьми посетили новую больницу Красного креста, приняв участие в её открытии, а также губернскую земскую выставку. Царица же во второй половине дня посетила Богоявленский женский монастырь, где вместе со своей свекровью Марией Федоровной и фрейлинами, А. Вырубовой и другими, пробыла несколько часов и приняла участие в торжественной трапезе в покоях игуменьи Анны (бывшей княжны).

Костромичи все сумели принять какое-то участие в этих торжествах, в большинстве своём, хотя бы как пассивные зрители, а вот крестьянам, даже из ближних деревень, это удалось очень немногим. Для крестьян, желавших принять участие в торжествах, было устроено народное гулянье в первый день празднования в районе циклодрома, на территории, занятой в настоящее время областной больницей. (...) Кстати сказать, гулянье полностью не удалось из-за грозы и проливного дождя. С наступлением темноты город был иллюминирован расстановкой по тумбам площадок с горящим маслом, зажигались цветные фонарики, жгли фейерверки.

К вечеру второго дня костромичи провожали гостей. Под звон колоколов, звуки духовых оркестров, салют артиллерийских орудий и крики “ура” флотилия, эскортируемая катерами речной инспекции, вышла вверх по Волге в Ярославль. (...) Костромичи, проводив гостей, постепенно стали убирать всё праздничное убранство, за исключением выставки, которая функционировала до поздней осени. Жизнь древнего волжского города вошла в свою обычную колею, до новых испытаний, которые были уже не за горами.

Большое впечатление в сознании многих костромичей оставило это редкое событие. Каждый оценивал его по-своему. Много было довольных, обласканных и оценённых. Вот, благодаря юбилею, протоиерей о. Алексей Андроников получил орден св. Анны I степени и одел через плечо орденскую ленту, полицмейстер Волонцевич и его заместитель Красовский были “пожалованы” именными золотыми часами с императорским гербом, а начальница епархиального женского училища Любовь Ивановна Поспелова в течение нескольких лет никому не подавала руки, говоря: “Её жал Государь-император”, и очень кичилась золотым жетоном и юбилейной медалью. Да, таких было много, но, в основном, руководящие лица, дворянство, деревенская верхушка.

(...)

То ли моё страстное желание поскорее покончить с гимназией и идти на военную службу было причиной, то ли я умственно созрел для преодоления гимназического курса, но, начиная с четвёртого класса, где я просидел два года, моя успеваемость стала иной. Очень важно, что я теснее сдружился с товарищами по классу, чем это было в тех коллективах, от которых волею судеб я отстал в своё время. Сначала я стал средним учеником, а потом попал в разряд хороших по успеваемости и отличных по поведению. Этих успехов я уже более не снижал до окончания всего гимназического курса. Никаких репетиторов мне уже не требовалось, наоборот, я сам стал помогать отстающим товарищам, но только по гуманитарным предметам, так как математика и в то время оставалась для меня “камнем преткновения”.

С Борисом Шамониным мы расстались друзьями. С того времени я у него больше не бывал. Он же изредка забегал к нам, покурить и признаться у мамы рублишко-другой на перевёртку, причём с долгами всегда расплачивался по-честному.

Быстро прошла зима 1913-1914 учебного года. Весной я успешно перешёл в шестой класс, а Володя — в седьмой. В это лето Слава Василевский приехал из Ярославского кадетского корпуса с нерадостной вестью — его

оттуда исключили за поведение, и он решил с осени поступить в 6 класс Костромского реального училища. Очень слабо учился в 4-м классе нашей гимназии Карлуша Моргенфельд, а ещё хуже во 2-й мужской гимназии одолевал курс Фридрих Ладе, которого родители решили со следующего учебного года перевести в городское училище, чтобы он по окончании его мог устроиться писцом в какую-нибудь управу или контору.

В это лето мы познакомились с весьма интересным учеником реального училища Володей Вешняковым; он по какой-то причине не жил с родителями, богатыми помещиками, проживавшими в каком-то дальнем лесном уезде, а переехал в Кострому к не менее богатому деду — лесопромышленнику и владельцу многих десятин земли Кузнецову, имевшему большой деревянный дом на Никитской улице, №5. Долгие годы часть этого дома он сдавал, как отдельную квартиру со всеми удобствами, вице-губернатору. В то время асфальтированный тротуар и мощёная мостовая доходили только до этого дома. Вице-губернаторы менялись очень часто, и эта квартира всегда была к услугам вновь прибывшего. Боковое крыло этого дома было квартирой деда с его многочисленными прислужниками.

Владимир был любимцем и баловнем своего деда. Карманные деньги у него были в почти неограниченном количестве, и он сорил ими направо и налево. При каких обстоятельствах мы с ним познакомились, я не помню, но тесная дружба завязалась после того, как он купил у нас пару голубей. Видя, что в голубях он ничего не понимает, мы втридорога продали ему красивых убудков, выдав их за высокопородных турманов. Мы же помогли ему оборудовать голубятню во втором этаже оригинального сарая с террасой-балконом, окружённой барьером из точёных балясин. Таких сараев с каретниками и конюшнями в настоящее время уже не делают, и он недавно за ветхостью был заменён стандартным, тесовым.

Своими манерами держаться в обществе, развязностью, донжуанством и хвастовством Володя Вешняков очень напоминал Бориса Шамонина. Он так же любил казаться старше своего возраста, так же хвастал своими победами у девушек и женщин, но он не курил и никогда не пил вина. Ухаживать за гимназистками и прочими молодыми девушками он любил и умел. Меня всегда удивляла его развязность и смелость в обращении с лицами другого пола. В этом я ему всегда завидовал. Ему, например, ничего не стоило заговорить с незнакомыми девушками на бульваре, на улице или в каком-нибудь ещё общественном месте. Он умело представлялся и через час чувствовал себя среди новых знакомых старым другом, а на другой день мог их не узнать и даже не поздороваться.

Благодаря ему, мы с братом Володей и Карлушей Моргенфельдом стали похаживать на бульвар и в другие места общественных гуляний и при его

содействии начали знакомиться с девушками, преимущественно гимназистками, но у нас не было умения ухаживать и мы не имели нужного такта, чтобы быть интересными кавалерами. Мы были скучны для тех веселящихся, разбитых, а порой и ищущих приключений девиц — аборигенов общественных гуляний и танцевальных вечеров. Самое же главное — мы не имели таких денег, чтобы приглашать девушек в кино, покататься на лодках или угостить их мороженым, конфетами, фруктами. Володя Вешняков имел эту возможность и часто выручал нас. Как мотылёк, порхал он от одной компании девушек к другой, везде умел создать веселье, а к вечеру обязательно уединялся куда-нибудь в укромное местечко с избранницей своего сердца. Кстати сказать, уже в эти юношеские годы он не имел привязанности и серьёзного чувства ни к одной девушке. Эта черта его темперамента осталась у него и тогда, когда он превратился в известного заслуженного артиста Нельского Владимира Николаевича, если не считать его увлечения на одном отрезке времени маленькими собачками-болонками и канарейками.

Мы часто ходили к Володе на Никитскую улицу смотреть его всегда новых голубей, которых он с нашей лёгкой руки покупал по высокой цене у известных в то время крупных голубятников — как старичок, зубной врач Константин Африканович Полохов, проживавший на Русиной улице, торговец швейными машинами и велосипедами Демме Людвиг Федорович, проживавший на Пастуховской улице, провизор Венцкевич с Сенной площади, и многих других. Он никогда не жалел, если голуби у него улетали, так как вместо них он покупал новых и более ценных.

В доме у его дедушки в то время проживал вице-губернатор граф Борх. Это был красивый высокий мужчина, лет сорока, с небольшой чёрной бородкой, расчёсанной на две стороны. Он был женат на ещё молодой дамочке, которую звали Мария Павловна. Ей в то время было не более 25 лет, а может быть и меньше. Это была живая по натуре женщина, но скучающая от одиночества и безделья, так как муж её день и вечер был на работе. Володя был хорошо знаком с ней, а потом познакомил и меня. Мы частенько днём заходили к графине и своим присутствием кое-как её развлекали. Она много рассказывала нам о светской петербургской жизни, об интригах, о придворных балах, о гвардейских офицерах и прочее. Она учила нас манерам аристократического общества, играла на рояле, иногда пела, показывала фамильные альбомы, втроём мы играли в домино, в карты, в “флирт цветов” и прочие тихие игры. Как это всегда бывает у мальчишек в возрасте 16-17 лет, мы воображали себя влюблёнными в Марию Павловну, а её кокетство каждый из нас старался отнести на свой счёт. Володе казалось, что она проявляет особую благосклонность к нему, а я всё приписывал себе. В

общем, мы оба были вполне удовлетворены. Брат Володя и другие приятели с Марией Павловной знакомы не были. После нового графа назначили губернатором в какую-то далёкую губернию, и наша дружба с Марией Павловной прекратилась навсегда.

Ещё в 1912 году левую нижнюю квартиру сняли у нас Нестеровы. Они приехали к нам с Ильинской улицы, где у них, видимо, было какое-то торговое предприятие. Доказательством тому служили привезённые во двор остеклённые витрины, стойки и буфеты, окрашенные в белый цвет. Должно быть, у Нестеровых была булочная, которая себя не оправдала, и её пришлось ликвидировать. Было известно, что глава этого многочисленного семейства, Дмитрий Александрович, был ранее заведующим пивным складом “Корнеев и Горшанов”. Всё хозяйство этой семьи находилось в руках Александры Алексеевны, полной энергичной женщины, в возрасте около сорока лет. Всего детей у Нестеровых было шесть человек. Старшая дочь Мария уже в то время была замужем и проживала где-то в другом городе. При родителях же находились дочери Лидия, Вера, Римма и Капитолина, сын Владимир обучался в московском Алексеевском военном училище. Самой младшей дочери Капитолине в то время было около 16-ти лет, она училась в женском городском училище. Вера была в последних классах Григоровской гимназии; чем занимались в то время Лидия и Римма, я забыл. Затрудняюсь сказать, на какие средства существовало это семейство, но они материально жили довольно неплохо. Неутомимая, постоянная хлопотунья Александра Алексеевна при помощи не совсем умной прислуги Лизы, помимо своей семьи, имела ещё трёх постоянных нахлебников, молодых людей, двух братьев Лобовских — Сергея и Виктора Васильевичей — и Малинина Дмитрия, или попросту “Митяя”, как его звали в этой семье.

Очень интересен и оригинален был Сергей Васильевич Лобовский. В то время ему было около тридцати лет. Он был выше среднего роста, носил пышные, длинные волосы, лицо, вопреки моде того времени, гладко брил. В тёплое время года очень любил ходить в модной в то время чёрной суконной крылатке. Своим видом он напоминал молодого учёного или артиста. Его младший брат Виктор был небольшого роста, рыжеватый, особо ничем не выделяющийся, за исключением того, что любил покурить, иногда на несколько дней запивал и в эти дни выказывал свой буйный характер. Митя Малинин был приблизительно того же возраста, как и братья Лобовские, но он отличался тем, что никогда не имел денег, даже на покупку самой необходимой одежды. Он был крутом в долгах, одевался бедно и неряшливо. Появлявшиеся деньжонки он тут же “прогуливал”. Нестеровы по отноше-

нио к нему проявляли опекунскую заботу, оберегая его от полного падения на социальное дно. Все трое работали в редакции местной газеты “Поволжский вестник”. У Лидии был серьёзный роман с Сергеем, а у Веры — с Виктором.

Таким образом, ко второй половине 1914-го года в нашем доме проживали следующие квартиросъёмщики. После выезда семейства Михиных в свой дом на Русину улице, в самую большую квартиру переехали Моргенфельды, а их квартиру заняли Даманские. В левой квартире, на нижнем этаже, жили Нестеровы, а в правой нижней — как-то получилось, что квартиросъёмщики очень часто менялись, и кто проживал в то время, сказать затрудняюсь. Мы жили во флигеле. Вот в таком окружении жильцов нас и застала первая империалистическая война.

В ночь на 1-е августа старого стиля 1914 года по всему городу был расклеен Высочайший манифест о начале войны с Германией, вероломно напавшей на наше государство и поработившей славянские народы на Балканах. Народ призывался грудью встать на защиту веры, царя и отечества и освободить от порабощения братьев-славян. Одновременно с манифестом были расклеены приказы костромского воинского начальника о призыве по мобилизации на действительную военную службу нескольких возрастов нижних чинов запаса и всех возрастов запасных офицеров и военных чиновников, а также объявлялся набор в армию лошадей и транспортных средств.

С раннего утра мобилизационная машина уже заработала на полном ходу. Прежде всего, в ту же ночь экстренно были опечатаны все винные склады, казённые винные лавки, пивные и все предприятия, связанные с продажей спиртных напитков. Для некоторых категорий людей это мероприятие оказалось роковым. Так, распалась корпорация “зимогоров”, которых объединял в один коллектив исключительно алкоголь. В первые же дни “сухого закона” было отмечено несколько случаев скоропостижных смертей привычных алкоголиков, не имевших возможности поддержать сердце “опохмелкой”. Было много случаев отравления спиртовыми лаками, политурами, одеколонами и прочими суррогатами спиртных напитков. Только самая верхушка костромского общества имела какой-то доступ к запретному, и, кажется, без всякого ограничения.

Мне помнится, капитан Даманский, зная о нашем знакомстве с заведующим казённой лавкой Ладе, обратился к маме с просьбой достать хотя бы немного водки, которую он любил выпивать перед обедом по 1-2 рюмки, но мама не смогла этого сделать, так как Георгий Христианович сказал, что даже себе он не успел ничего взять, так быстро и под строжайшим контролем всё было опечатано.

Неузнаваемо изменился облик города всего за один день. У всех появилась какая-то озабоченность, суетливость, беготня, неудержимое любопытство побольше всего узнать. Кончился медлительный ход жизни волжского города, исчезли привычные скука, неудовлетворённость, хандра.

По городу открылись призывные пункты, куда со всех концов уезда потянулись призывники-лапотники, для этого случая особенно бедно одетые, так как знали, что собственная одежда будет заменена на военную шинель. За спинами некоторых призывников висели заплатавшие мешки — “сидора”, с сухарями и немудрёным солдатским скарбом. Призывников сопровождали родители, жёны и даже дети. Из особого уважения к призывникам мешки несли родители или жёны. Городские призывники шли на те же призывные пункты, но почему-то сторонились крестьян.

Монархические организации и правые партии в первый же день начали организовывать патриотические манифестации, которые с иконами, царскими портретами, с флагами и патриотическими лозунгами маршировали по улицам города с пением гимна “Боже, царя храни!” и прочими патриотическими песнями. На площади, у здания городской управы и около памятника Ивану Сусанину, стихийно возникали митинги всё с теми же призывами, которые были указаны в манифесте. Во всех церквях города служились молебны о даровании победы “христолюбивому русскому воинству”.

Туговато приходилось домовладельцам, которые не освобождались от постоя мобилизованных, так как они обязывались обеспечить на некоторое время помещением и обслуживанием какую-то партию призывников. Мы от этого постоя освобождались, так как в нашем домовладении проживал офицер.

Бойко торговали трактиры, чайные и заезжие дворы, где проводили последние часы призывники со своими родными. Владельцы, пользуясь случаем, много посбывали залежалых селёдок, колбасы и сыру; баранки же были всегда свежие и пользовались большим спросом. Пьяных почти не встречалось, но женских слёз и истерических криков было в изобилии.

В первые дни войны мы ещё не учились, а поэтому имели очень много свободного времени, чтобы везде побывать и всё повидать. Меня особенно тянуло на Сенную площадь, где военно-ремонтные комиссии мобилизовали конный состав. В те времена было из чего выбирать. Выводились из барских и помещичьих усадеб и частных конных заводов породистые лошади, зажиточные крестьяне сдавали также коней неплохого качества. Армии требовалось очень большое количество лошадей, так как никакой автотяги в те времена не было даже в артиллерии.



*На улицах Костромы в годы Первой мировой войны.
Сбор вещей для воинов действующей армии.*

С первых же дней войны стали печататься официальные бюллетени и телеграммы о ходе военных действий на фронтах. В них больше говорилось о наших победах, о поражении и отступлении вражеских войск, с большими потерями в людской силе и технике. А в то же время в городе срочно очищались и переоборудовались помещения больниц, некоторых школ и прочих зданий под военные лазареты, как в то время называли госпитали. Новая больница Красный крест, частная водолечебница, духовное училище на Козьмодемьянской улице*, училище слепых и некоторые другие крупные здания переоборудовались под лазареты в первую очередь.

Пултусский полк в течение двух суток, пополнившись запасными и развернувшись по штату военного времени, выбыл на фронт, оставив для формирования маршевых рот штаб будущего 88-го пехотного запасного полка. К нам в гимназию вместо ушедшего на фронт Репина, получившего чин подполковника, для преподавания военного дела был назначен подполковник Слободов, оставшийся в штабе запасного полка. Наш квартиросъем-

*Ныне это квартал ул. Князева. (Прим. ред.)

щик В.А. Даманский, также получивший чин подполковника и батальон в командование, выбыл на фронт.

(...)

Общество “Красный крест” организовало краткосрочные курсы сестёр милосердия. Благодаря патриотическому подъёму в первое время желающих обучаться на этих курсах было очень много. Форма сестры милосердия стала скоро очень модной, и её носили не только при исполнении служебных обязанностей, а повседневно. Даже ходили в ней в гости и на вечера. Она состояла из светло-серого длинного закрытого платья, белого фартука с красным крестом на груди, белой повязки с крестом на левом рукаве и белой же косынки, кокетливо одеваемой под булавку.

Скоро в местной газете “Поволжский вестник”, а также в специальных объявлениях, развешиваемых в городе, стали появляться призывы вступать в действующую армию добровольцами-вольноопределяющимися, а также открылся приём на ускоренный курс в военные училища всех родов войск и во вновь открываемые школы прапорщиков. Срок обучения в военных учебных заведениях был установлен 4 и 6 месяцев, в зависимости от рода войск. Желавших за столь короткий срок получить офицерское звание в первые два года войны было много.

В первую же военную осень различные добровольные общества, а также дамы-патронессы, в основном жёны и дочери высшего чиновничества, буржуазии, офицерши и даже жёны купцов, начали сбор средств на подарки воинам, организовывали с этой целью вечера, балы, карнавалы, гулянья и прочее. Некоторые женщины создавали артели по пошивке тёплых вещей, вязке носков, перчаток, шарфов и тому подобное. Был брошен клич к населению о сборе тёплых вещей, на что костромичи откликнулись очень охотно и продолжали помогать фронту до последних дней войны. Много посылалось индивидуальных посылок с подарками и тёплыми вещами.

Не прекращая коллекционирования еженедельных книжечек о похождениях различных сыщиков, с первых дней войны я аккуратно начал покупать номера еженедельного журнала “Огонёк”, в котором, помимо весьма наивных рассказов и повестей о героизме наших воинов, было отведено несколько страниц для фотографий отличившихся в боях, раненых и убитых офицеров и, реже, солдат. Для генералов была отведена специальная страница, где в виньетке, составленной из переплетённых вокруг лавровых веток георгиевских лент и украшенной регалиями и государственным гербом, размещались крупные фотографии русских полководцев того времени. Кроме “Огонька”, я покупал журналы “Родина”, “Нива” и “Пробуждение”. Они также были иллюстрированы.

В один из первых дней войны был призван на действительную военную службу Виктор Васильевич Лобовский. По просьбе родных его отпустили на сутки домой. Каким-то путём ему удалось достать чего-то спиртного. Изрядно выпив, он, восплавав патриотическим духом, выбежал на улицу и с криком: “Бей немецкое отродье!”, “Круши фрицев!”, употребляя при этом отборную брань, начал бить стёкла в квартире Моргенфельдов. Потребовалось вмешательство многих соседей-мужчин, чтобы связать и успокоить разгулявшегося призывника. В квартире Моргенфельдов оказались перебиты стёкла во всех окнах. Правда, на другой день они были вставлены за счёт Виктора Васильевича, который выразил глубочайшее сожаление по поводу этого прискорбного факта, но эта патриархальная семья оказалась не на шутку перепуганной, а старики Карл Христианович и Августа Карловна даже слегли на несколько дней в постель. Этот инцидент крепко врезался в нашу память, так как до этого времени на нашей тихой Ивановской улице подобных “побоищ” не бывало.

Все костромичи очень энергично готовились к встрече первых санитарных поездов с ранеными воинами. Своевременны были подготовлены лазареты с соответствующим штатом врачей, сестёр милосердия, санитаров и прочего обслуживающего персонала. Встречи первых военно-санитарных поездов были организованы весьма торжественно. Задолго до прихода поезда на вокзале, который в то время был за Волгой, собирались врачи, сёстры милосердия, санитары с носилками, подъезжали конные крытые санитарные повозки. Собирались представители городской администрации, дамы-патронессы, учащиеся. Обязательно выходил военный духовой оркестр.

Прибывшим раненым тут же дарили гостинцы, цветы и неизменные иконки. Тяжелораненых на носилках переносили до подвод, потом “братья милосердия” несли их до перевозного парохода “Горожанин”, заменившего собой допотопного “Бычкова”, и далее, на городской стороне, до лазарета. Некоторые легкораненые, по их просьбе, с помощью медицинских работников переходили сами. Приём раненых в лазаретах также был обставлен с большой пышностью и заботой, но со временем, как это всегда и бывает, патриотический пыл постепенно стал ослабевать. Большую активность в организации встреч раненых, в устройстве благотворительных вечеров, сборе различных пожертвований проявляли гимназисты, гимназистки, реалисты, семинаристы и техники Чижовского училища.

(...)

Телеграммы и бюллетени о ходе военных действий говорили о наших победах, о тысячах пленных немцев и австрийцев, о захвате нашими войсками таких-то и таких-то населённых пунктов, массы пушек, пулемётов,

снарядов и военного имущества. В то же время в Кострому и прочие тыловые города ехали сотни семей беженцев из Польши и Прибалтийского края. За их счёт население города стало быстро расти, так что вскоре начал ощущаться недостаток жилой площади. Если до войны коренные костромичи почти все знали друг друга, то уже в первые месяцы мы каждый день встречали всё новых и новых людей. Чаще слышалась нерусская речь или сильный западный акцент.

Мы, учащаяся молодёжь, пока беспечно гуляли осенью на бульварах, а с наступлением зимы — на Русиной улице, ходя взад и вперёд от центра до Козьмодемьянской (Долматова) улицы и обратно, по левой стороне. Эта часть улицы была излюбленным местом для гулянья молодёжи. Там мы знакомились с девушками, в основном с учащимися. Гимназисты и реалисты пользовались большим вниманием и расположением, чем менее галантные семинаристы, техники Чижовского училища и прочие учащиеся.

Но вот и для нас настала пора уступить своё первенство на Русиной улице — появились “блестящие” прапорщики, в новенькой походной офицерской форме, сверкающие золотыми погонами, хрустящими кожаными ремнями португези и револьверной кобуры. Начищенная новенькая шашка была гордостью каждого юнца, облечённого в офицерскую форму. Некоторые, как например пулемётчики и артиллеристы, надевали ещё и шпоры. Вот это были действительно солидные соперники учащейся молодёжи, будущие герои, защитники отечества, и, кроме того, они всегда были при деньгах, которыми любили шикнуть, покупая для барышень-учащихся цветы, мороженое, билеты в кино и на многочисленные благотворительные вечера с танцами и аттракционами. Конечно, не многие учащиеся могли тягаться с военной молодёжью.

Как-то зимним вечером мы, гуляя небольшой компанией по Русиной улице, обратили внимание на трёх григоровских гимназисток. Все они были одинаково одеты в синие жакеты с белыми меховыми воротниками, с такой же опушкой и с белыми же меховыми муфтами. На головах также были белые меховые шапочки. Они на многих производили впечатление как своими одинаковыми оригинальными костюмами, так и тем, что две из них были похожи друг на друга как две капли воды. Зелёные форменные платья указывали на их учебное заведение. Вскоре мы узнали, что это три сестры Успенские. Старшая из них, Катя, была ростом выше сестёр, очень смуглая, черноглазая, с большим некрасивым носом. Младшие же, Зина и Лиза, были светлые шатенки с тёмными глазами и свежими, миленькими, девичьими личиками. Гуляя, они учились кокетничать, при этом в разговоре с мальчиками все вместе очень быстро говорили, за что их прозвали “пулемётами”. Кате в это время было около семнадцати лет, а сёстрам не более пят-

надцати. Они понравились нам своей юностью, скромностью и неиспорченностью. Знакомств с военными они избегали. Нам очень захотелось с ними познакомиться, что и удалось через несколько дней.

(...)

Шла первая военная зима. Мы учились, гуляли на Русиной улице, катались на коньках на Козьмодемьянском пруду, куда в субботу и в воскресенье приходили сестры Успенские. Мы с ними подружились, встречались очень часто, но они долгое время не хотели сказать своего домашнего адреса. Мы их провожали всегда не дальше начала Рождественской* улицы. Первое время я начал увлекаться Катей, но потом, вскоре, переключился на Зину, и этот роман, как мы узнаем позднее, продолжался несколько лет.

За первый год войны много знакомых было призвано на военную службу. Был мобилизован и наш зять — Дмитрий Михайлович Соколовский. Несколько месяцев он обучался как солдат, живя в общих Мичуринских казармах, дожидаясь направления в школу прапорщиков. По воскресеньям и праздничным дням его отпускали к нам. С момента объявления войны их странствования по России закончились, и Женя поступила опять на работу в Губернскую управу.

Вскоре его направили в одну из московских школ прапорщиков, находящуюся в районе Лефортова. В Костроме по военному ведомству началось строительство военных барачных зданий на Еленинской улице, недалеко от Мичуринских казарм, и на Мясницкой, не доходя до бойни.

В начале 1915 года в Кострому из Риги были эвакуированы металлообрабатывающий завод “Плю”, который был обоснован за Волгой, около села Селища и впоследствии был переименован в завод “Рабочий металлист”, а также каблучно-гвоздильный завод Раабе, который разместили в Нерехте.

Из Гродно был эвакуирован крупный госпиталь, который сначала поместили в здании 1-й мужской гимназии, переведя гимназистов для обучения во вторую смену в здание Григоровской женской гимназии на Пятницкой улице, а вскоре этот госпиталь, из-за большого поступления раненых, занял и соседнее помещение епархиального женского училища, которому пришлось потесниться в одно крыло здания и в деревянное здание на Ивановской улице.

Недолго гуляли молодые выпускники военных училищ и школ прапорщиков. Не дольше, чем через один-два месяца они отправлялись маршевыми ротами на фронты великой войны, охватывающей все страны и превращавшейся в мировую, а при том и затяжную войну. На место уходящих в огромную мясорубку из огня и железа, как из рога изобилия, сыпались все

*Ныне — Галичской. (Прим. ред.)

новые и новые кадры, но качество их медленно, но неуклонно менялось. В первые месяцы войны в Костроме, как и в других городах, первыми появились очень молодые прапорщики, досрочно выпущенные из кадрового состава военных училищ, а потом приезжали более солидные прапорщики, нередко с университетским и институтскими значками, из числа вольноопределяющихся запаса и различных льготников. После них состав выпускников менялся уже в худшую сторону: пошли возрастом моложе, а образованием меньше. Например, начал практиковаться прием в школы прапорщиков и даже в некоторые провинциальные военные училища “зеленой молодежи” из числа выходящих до окончания курса средних учебных заведений; а из рядов действующей армии и из числа вольноопределяющихся в школы прапорщиков направляли и с 4-х летним образованием.



*Леонид Колгушкин — учащийся
7-го класса Костромской гимназии.
1915 год.*

Воспользовавшись такой льготой, Слава Василевский, не окончив реального училища, поступил в Чугуевское военное училище.

Мне, как и многим учащимся старшего возраста, очень хотелось скорее преобразить себя в облик военного, тем более, я знал, что брат Володя кончает гимназию на год ранее меня, а следовательно, и ранее поступит в армию.

Больше же всех хотелось стать прапорщиком Карлуше Моргенфельду, но затруднение было в том, что он учился всего только в пятом классе, а, главное, его родители и сестры категорически возражали против службы Карлуши, готовя его с детства к музыкальной деятельности. Они видели у него выдающийся талант незаурядного музыканта и всеми фибрами души желали в его лице видеть нового Бетховена.

Мне же запало в голову помочь ему в устройстве на военную службу — сначала вольноопределяющимся 2-го разряда, а оттуда и в школу прапорщиков. Что меня толкнуло на это дело, я до сих пор не могу объяснить, но своим упорством я добился исполнения своего желания наполовину, а

жизнь Карлуши испортил на все сто процентов.

Лично я, тайком от его родителей, водил Карлушу в управление воинского начальника, неоднократно разговаривал с “богом и царем” этого управления — делопроизводителем Бровиным, у помощника полицмейстера Красовского получил для него справку о политической благонадежности и, к общему удивлению и большому горю родственников, превратил Карлушу в вольноопределяющегося второго разряда 88 пехотного запасного полка, а дальше... Вот дальше-то и оказались неприятности, непредвиденные и неборимые трудности, испортившие Карлуше всю жизнь, а пока он, как лермонтовский Грушницкий, гордился своей солдатской шинелью с походными погонами вольноопределяющегося.

Вскоре были отстроены бараки на Мясницкой улице, и туда пришел из города Карачаева 202 пехотный запасной полк, созданный на базе какого-то штрафного батальона сибирских стрелков. Количество военных в Костроме все прибывало и прибывало, а наскоро сформированные маршевые роты все шли и шли в западном направлении в неведомую даль.

Как сейчас помню бородатых запасных солдат, одетых в широкие, нескладные военные шинели, или со скатками через плечо, с заплечными мешками, полевыми сумками, неизменными походными лопатками и бессрочными медными котелками. Все было выдано будущим фронтовикам, за исключением оружия, которого уже в 1915 году не хватало, да и, видимо, начальство начинало побаиваться вооружать в тылу; эти мужчины в солдатских шинелях шли под командой безусых мальчишек-прапорщиков, рисовавшихся своим положением перед провожавшими их девицами.

В промежутке между игрой духового оркестра запасного полка они заставляли пожилых людей, у которых кошки скребли на сердце, петь нескладные, глупые песни, вроде: “Соловей, соловей, пташечка, канареечка...” или: “Взвейтесь, соколы, орлами, полно горе горевать...”, а те не могли ослушаться, пели, а слезы невольно текли по небритым щекам.

Сбоку рот всегда бежали бедно одетые и обутые в лапти жены, отцы, матери и дети, провожая в неизвестность иногда единственного кормильца, не зная, увидят ли его когда-нибудь. Провожающие причитали, плача навзрыд, сморкаясь, вытирая глаза и носы нечистыми рукавами или углами головных платков.

Подходя к Молочной горе и поравнявшись с розовой часовней, одиноко стоявшей в то время как раз против Молочной горы*, у конца военного плаца, все солдаты, как по команде, обнажали свои остриженные головы, истово крестясь, должно быть, моля Бога о скором и благополучном возвра-

*Часовня св. блгв. Александра Невского, построенная в память мученической смерти императора Александра II. Варварски разрушена в 30-х годах. (Прим. ред.)

щении к родному очагу, а может быть, прося “Всеблагого и Всемиловитвейшего” сохранить в живых родных и детей, не дав им погибнуть с голоду.

До ледостава маршевые роты грузили на паром, и неизменный перевозочный паром “Горожанин”, отвалив от пристани, всю дорогу оглашал воздух короткими прерывистыми гудками, а в унисон ему печально играл духовой оркестр.

Все это, вместе взятое, еще более натягивало нервы как отъезжающим, так и провожающим, а там погрузка в теплушки и последнее прости. Картина провод была далеко не радостной.

Многие сложили свои головы “безвестными героями” где-нибудь в Мазурских и Пинских болотах, под стенами Перемышля, в Австрии, в Карпатах и прочее, а боги войны Марс или Молох, требовали все более и более жертв.

Правительству и его пособникам нужно было поднимать дух народа, не допускать затухание патриотизма. Досужие, скороспелые писаки сочиняли довольно наивные, нехудожественные и малоправдоподобные песенки о “юном прапорщике”, спасающем знамя полка и погибающем в неравном бою с врагом, о сестре милосердия, ценою собственной жизни спасающей офицера, о полковом священнике, с крестом в руке поднявшем роту в атаку и захватившем важный стратегический пункт обороны противника.

А сколько рассказов, новелл и повестей о русском героизме печаталось во всех периодических журналах. Но мало воспевали истинный героизм “серого героя”, возвеличивая офицеров, военных врачей, полковых священников и сестер милосердия. Популярней же всех оказались рассказы о беспримерном геройстве донского казака Кузьмы Крючкова, который, возвращаясь из глубокой рискованной разведки, один приводил целые подразделения пленных австрийцев и немцев. Кузьма Крючков в начале войны не сходил с языка на фронте и в тылу.

(...)

В эту войну, безусловно, были истинные герои, по-русски сражавшиеся за Родину и не щадившие своей жизни, но, чаще всего, они оставались в безвестности, удовлетворившись солдатскими знаками отличия ордена святого Георгия Победоносца.

Даже не отличившиеся, но вышедшие невредимыми из этой мясорубки, должны были считать себя счастливыми. А сколько инвалидов, вовсе нетрудоспособных и ограниченных в труде дала Первая мировая война! Как бы не был искалечен человек, но все же он радовался тому, что остался жив. Придя домой и став изживенцем, он в городе, а особенно в деревне, видел упадок хозяйства и почти разорение. Грошовая пенсия при полной инвалидности не могла быть подмогой в хозяйстве; он больше и больше чувство-

вал себя иждивенцем и лишним в семье. Это его озлобляло против власти, против всего, что помешало его нормальной жизни.

1915 год, как это всегда бывает в военные годы, внес изменения в жизнь нашего небольшого семейства, а также изменил условия жизни наших знакомых и вообще окружающих нас людей.

Дмитрий Михайлович Соколовский, окончив школу прапорщиков и получив офицерское звание, был направлен в 88 пехотный запасный полк. Вскоре он зарекомендовал себя как один из авторитетных офицеров — честный, чуткий, глубоко и искренне уважаемый солдатами и передовыми офицерами. Как социалист, он гуманно подходил к каждому солдату и даже отказался от офицерской привилегии иметь до отправки на фронт денщика. Он не хотел, чтобы кто-нибудь его обслуживал, когда все он может выполнять сам. Они с женой решили хотя бы недолго пожить отдельно, для чего сняли комнату во втором квартале Еленинской улицы, где и прожили около двух месяцев, до ухода Дмитрия Михайловича на фронт в качестве командира маршевой роты. На передовой позиции под свое командование он получил батальон, а через три месяца — чин подпоручика и красную ленточку на темляк шашки (орден св. Анны 4-й степени). На передовой позиции в те времена офицерские очередные чины давались через три-четыре месяца, а красный темляк — после первого боя.

Жизнь сестры Жени шла на службе в Губернской управе и в переписке со своим фронтовиком. Дмитрий Михайлович всегда слал ласковые, успокоительные письма и никогда не писал об опасностях. Уезжая на фронт, Дмитрий Михайлович подобрал из своей роты вестового, такого же, как и он, скромного и честного мужчину, своего земляка, кинешемца.

А что же случилось с Карлушей Моргенфельдом? Непредвиденным препятствием для направления его в школу прапорщиков послужила его принадлежность к немецкой нации. Никакие хлопоты со стороны родителей, воинской части и даже воинского начальника не помогли, и его пришлось зачислить в очередную маршевую роту, с которой он и ушел на фронт, где через некоторое время, как специалист, был зачислен в духовой оркестр воинской части, в котором и находился до конца войны.

Фридрих Ладе также в конце 1915 года по призыву рядовым ушел на фронт. Таким образом, наша дружба с ними прервалась, и, как мы узнаем позднее, — навсегда.

Среди жильцов нашего дома также произошли некоторые изменения. Семейство Нестеровых уехало от нас куда-то на Власьевскую улицу, а их квартиру заняла большая семья из Минска — судейского работника Ушакова. Глава семьи, Владимир Михайлович, получил должность товарища прокурора, а его супруга, Елизавета Александровна, устроилась сестрой мило-

сердца в городскую больницу на Русиной улице. Их дети-погодки, в количестве пяти человек: Миша, Лева, Таня, Надя и Шура, или “Пудик”, как его звали в семье, почти все были младшего школьного возраста. Вот это была действительно “веселая” семейка. Все, начиная от главы семейства Владимира Михайловича и кончая Надеждой, были до предела нервные люди. “Пудик” представлял исключение. Можно привести хотя бы один, часто повторяющийся, пример этой “веселости”. Как только Владимир Михайлович являлся со службы и все садились за обед, достаточно было малейшего нарушения порядка со стороны кого бы то ни было, как отец вскакивал из-за стола, начинал кричать в полный голос и гнать всех из дома. Все бежали по комнатам, пока не оказывались на кухне или на улице. Много помогала шуму Елизавета Александровна, которая не успокаивала, а своими язвительными репликами подливала масла в огонь. Вскоре гнев остывал, нарушитель порядка просил у отца извинения, и обед продолжался. Мы были свидетелями подобных инцидентов почти ежедневно, но не обязательно во время пищевых процедур, а иногда поздним вечером и даже в ночное время. Надо сказать, что Владимир Михайлович был весьма интеллигентным человеком, с окружающими и на работе был исключительно вежлив и предупредителен, вина никогда не пил, покуривал, был примерным семьянином, жену и детей очень любил, а вспышки гнева происходили у него, видимо, как симптом психического заболевания на почве тяжелой наследственности.

Уже в 1915 году начали сказываться трудности военного времени. В 1914 году в губерниях верхней Волги, в том числе и Костромской, получился неурожай хлебов и трав, а отсюда создались трудности с продовольствием, а в особенности, с кормами для скота. Крестьяне вынуждены были сбывать свой скот за бесценок, а этим пользовались мясники, прасолы и всевозможные спекулянты, получая огромные барыши за счет разорения крестьянских хозяйств.

Фабрики и заводы Костромы начали чувствовать топливный голод, дров не хватало, а каменного угля не было вовсе, так как до войны его в основном привозили из-за границы. Лесопромышленники и владельцы лесных угодий, воспользовавшись создавшимися трудностями, из-за наживы начали хищнически вырубать леса вокруг города и в то же время взвинчивать цены на дрова, строй- и пиломатериалы.

В городе впервые начали образовываться очереди за дефицитными предметами первой необходимости (мыло, соль, спички, керосин, табак и некоторые промтовары), а все это стало порождать спекуляцию, о чем раньше костромичи и понятия не имели.



*Брат Володя — юнкер
Александровского военного
училища в Москве. 1916 год.*

Не плошали и предприниматели по части спиртного — начались изготовление и тайная торговля “ханжой”, как тогда называли самогонку. Это был в то время самый ходовой товар, который разорял и отравлял одних и, в то же время, обогащал других. В особенности в нем нуждались военные, в частности офицеры, которым благодаря ханже не приходилось часто обращаться к врачам за получением рецептов на спирт “для компрессов” или на кагор от заболевания кишечника.

Действующая армия нуждалась в постоянном пополнении, но патриотический подъем начал спадать, добровольцев уже не было. Пришлось прибегать к мобилизации более старших возрастов. Вскоре призывной возраст был установлен в пределах от 18

до 50 лет. Для поступления в военные училища и школы прапорщиков образовательный ценз снизили до 6 классов, а в исключительных случаях фронтовиков зачисляли в школы прапорщиков даже с 4-х летним образованием. Командный состав армии молодел, а рядовой становился все старше и старше. Маршевые роты формировались из солдат различного возраста, положения, боевого опыта, здоровья и политических убеждений. В маршевики, помимо зеленой молодежи, попадали старики — участники Японской войны, бывшие раненые из команд выздоравливающих, различные законные и незаконные льготники, “маменькины сынки”, отсиживавшиеся дома “по состоянию здоровья”, штрафники и бывшие арестанты. Вот таким разношерстным людским контингентом приходилось командовать желторотым птенцам, порой малокультурным и невыдержанным, в то же время облеченным чуть ли не неограниченной властью над солдатами. Такие командиры сплошь и рядом допускали грубое, нетактичное и даже хамское обращение со стариками, ратниками ополчения, и даже с бывальными боевыми солдатами, что создавало непримиримый антагонизм между офицерством и солдатской массой.

Неутешительные вести шли и из действующей армии, где также начинался ропот и возмущение среди фронтовиков. Все стали уставать от этого

бесцельного сидения в грязных, холодных окопах, где начали распространяться вши, тиф и прочие инфекционные болезни. Вместе с ранеными вшивость, сыпной, возвратный и брюшной тиф дошли и до нашей Костромы.

На фронтах и в тылу начали поговаривать об измене среди высшего командования и даже подозревали в ней саму императрицу Александру Федоровну.

Дисциплина среди военных стала падать не только на фронте, но и в таком далеком тылу, каким была Кострома. Прапорщики и прочие офицеры кутили, упиваясь самогонном, играли в картежные игры, развратничали, соблазняя девиц на краткосрочные браки. Многие заражались венерическими болезнями и заражали ими женщин. В обществе был нравственный упадок, еще более ощутимый, чем бывший после поражения революции 1905-1907 годов. Все ждали скорейшего окончания войны. Многих, более дальновидных, страшил начинающийся экономический упадок, а также оживление революционного движения, в особенности в крупных промышленных центрах.



*Леонид Колгушкин — прапорщик
202-го пехотного запасного полка в
Костроме. Осень 1917 года.*

А.Г. Авдеев (Москва)

ХРАМОЗДАННЫЕ НАДПИСИ XVI-XVII вв. КОСТРОМЫ И КРАЯ

По сравнению с типологическим многообразием античных надписей, эпиграфика Руси конца XV—начала XVII вв. очень бедна типами. Наиболее распространенную группу надписей, обычно называемую памятниками лапидарной эпиграфики, — на надгробиях, подписных крестах, строительные и памятные надписи — будет точнее назвать монументальными надписями по следующим причинам. Слово «монументальный» восходит к латинскому термину «monumentum», однокоренному с глаголами *moneo* — «внушать память», *memini* — «помнить» и существительным *mens* — «ум», «разум». Это указывает на основную функцию монументальных надписей: сохранение памяти о каком-либо лице, объекте или событии. Такие надписи очень слабо зависят от материала, из которого они делались. Как правило, для исполнения таких надписей использовались известняковые плиты. Однако надпись, не меняя основной функции, может быть выполнена краской на стене или листах жести, составлена из изразцовых плит или накладных букв, выполнена в дереве и т.п. Во-вторых, любой тип русских надписей XV—XVII вв. очень тесно связан с архитектурой. Это касается в том числе и таких, казалось бы, далеких от архитектуры надписей, как надгробные. Будучи вмонтированы в стену храма, они тем самым становились неотъемлемым элементом его архитектурного декора. Говоря иначе, главные качества таких надписей — монументальность и долговечность — если не совпадают полностью, то значительно дополняют друг друга.

Один из видов монументальных надписей — строительные (*tituli operum publicorum et privatorum*) — фиксируют информацию о времени и обстоятельствах сооружения или реставрации того или иного сооружения. Вошедшие в традицию на Древнем Востоке, они были широко распростра-

нены в античном мире, но в древнерусской эпиграфике этот тип надписей как самостоятельный не выделялся. Так, в наиболее полном на настоящий день своде надписей Москвы и Подмосковья конца XV – первой половины XVII вв., составленном В.Б. Гиршбергом¹, они не отделены от эпитафий. Из строительных надписей Москвы конца XV–XVII вв. за последние 45 лет специальные исследования были посвящены лишь надписям на Спасской башне Московского Кремля², Китайгородском монетном дворе³ и несколькими строительным надписям из московских⁴ и подмосковных храмов⁵. Особо отметим публикацию «каменного путеводителя» по Воскресенскому собору Ново-Иерусалимского монастыря, осуществленную Г.М. Зеленской⁶. Провинциальные же строительные надписи, до сих пор не собранные в виде единого корпуса и практически не изученные, остаются «белым пятном» древнерусской эпиграфики. Приятным исключением являются две работы. Первая — А.Л. Юрганова, где сделана попытка связать строительную надпись в Борисоглебском соборе г. Старицы с политической борьбой середины XVI в.⁷ Вторая — Е.Б. Черняева и В.С. Шилова, посвященная настенной летописи церкви св. Димитрия Солунского в Ярославле⁸. Между тем, строительные надписи из провинции раскрывают многие интересные черты древнерусского зодчества.

Данная статья посвящена публикации и republicации некоторых строительных надписей Костромской области, которые расположены по географическому принципу. За дату создания надписи принята самая младшая из имеющихся в ней дат. В леммах к надписям даны разночтения по существующим публикациям.

1. Кострома. Богоявленский монастырь. Собор Богоявления.

Белокаменная плита «квадратной формы» на западной наружной стене слева от входных дверей⁹.

1564/1565 г.

“В дни благочестиваго и Боговенчаннаго Царя и Великаго Князя Ивана Васильевича всея Руси по благословению Макария митрополита всея Руси и во дни царевичей Ивана и Феодора лета 7067 месяца априлия в 23 день заложена бысть сия церковь святаго Богоявления игуменом Исаиею яже о Христе с братьею. Тогожь лета месяца июня в 8 день был в монастыре архиепископ Никандр Ростовский и Ярославский. Совершена бысть сия церковь лета 7073-го при игумене Исаие”.

по] и по — Церкви... лета] в лето — Церкви... априлия] априлия — И. Баженов, апреля — Церкви... яже] еже — Церкви... братьею] братиею — Церкви... тогожь лета... Ярославский] у И. Баженова нет. тогожь] того же — Церкви... месяца] а месяца — Церкви... совершена] и совершена —

Церкви... 7073—20] 7073 — Исторические... 7073 года — Церкви... Исаии] Исаие —Церкви...

В настоящее время Богоявленская церковь превращена в алтарь, и доступа к плите нет.

По датирующей формуле (“В дни благочестиваго и Боговенчаннаго Царя и Великаго Князя Ивана Васильевича всея Руси по благословению Макария митрополита всея Руси и во дни царевичей Ивана и Феодора лета 7067”) надпись очень близка надписи о строительстве Среднего Золотого дворца в Московском Кремле¹⁰ (“в лето 7069 августа повелением благочестиваго и христоролюбиваго Царя и Великаго Князя Иоанна Васильевича всея России, Владимирскаго, Московскаго, Ноугородскаго, царя Казанскаго и царя Астраханскаго, гдря Псковскаго и великаго князя Тверскаго, Югорскаго, Пермскаго, Вяцкаго, Болгарскаго и иных, г(осу)д(а)ря земли Ливонския, града Юрьева и иных, и при благородных чадах, Царевиче Иване и Царевиче Феодоре Иоанновиче всея России самодержце”), но в костромской употреблен так называемый “малый титул”. И это вполне объяснимо тем, что московская надпись, в отличие от костромской, была парадной, рассчитанной, в том числе и на восприятие иностранцами. Так что “большой титул” был в ней более чем уместен.

В этом отношении данная надпись весьма близка строительной надписи из Борисоглебского собора в Старице, сооруженного в 7068/1560 г., в которой также говорилось, что собор строился «при державе» Ивана Грозного, но не говорилось, по чьему повелению было предпринято строительство¹¹. Любопытный штрих к отношениям эпохи. Среди вкладчиков, пожертвовавших средства на строительство Богоявленской церкви и литье колоколов, источники называют инока Германа Жердина (сумма вклада 50 руб.), Лаврентия Пчелку (80 руб.) и князя Владимира Андреевича Старицкого (50 руб.)¹².

2. Кострома. Церковь Воскресения Христова на Дебре.

Надпись красками на восточной стороне юго-западного столпа над правым клиросом¹³.

1651 г. 12 октября.

“Благоволением Бога и Отца Вседержителя и поспешением сопредельнаго Единороднаго сына Бога Господа Иисуса Христа и содействием Пресвятаго и Животворящаго Духа от единосущнаго существа Единосущныя Троицы создана бысть сия церковь во имя Трдневнаго Воскресения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в лето 7160 при державе Государя Царя и Великаго Князя Алексия Михайловича всея России и при великом господине святейшем Иосифе патриархе Московском и всея Рос-

сии и верою еже во Христа и радением всего чина веродержителей Кирилла Григорьева сына Исакова и Воскресенских прихожан христоролюбивых людей <построена> и освещена церковь сия 7160 года октября 12 дня на память св. мучеников Прова, Тарха и Андроника”.

Благоволением Бога... Троицы] у И. Баженова нет. господине] Церкви... отсутствует. веродержителей] веродержателей — Церкви... Григорьева сына] Григорьева — Церкви... Исакова] Исакова сына — Церкви... <построена>] в публикациях отсутствует, освещена] освящена — Церкви... октября] октября — Церкви... на память... Андроника] у И. Баженова нет. Тарха] Тараха — Церкви...

Храмоздатель Кирилл Исаков, представитель старой московской купеческой фамилии Морозовых, как член гостиной сотни упоминается с 1627 г. В отличие от брата Третьяка, он стал писаться двойной фамилией — Исаков-Катеринин. Старинной фамилией Морозовы оба брата уже не пользовались. С 1632 г. Кирилл Исаков вел торговые дела в Костроме¹⁴. Как храмоздатель, он был погребен в подклете церкви Воскресения на Дебре.

И.В. Баженов передает предание о причине постройки церкви: московский купец Кирилл Исаков, находясь в Костроме, обнаружил среди товаров, привезенных из Англии, бочонок с золотом. Английский купец, к которому Исаков обратился с вопросом о находке, посоветовал употребить золото на богоугодное дело, и оно было пожертвовано на строительство Воскресенской церкви¹⁵. В августе 1997 г. мне довелось услышать в Костроме иную редакцию этого сказания: некий купец случайно обнаружил два бочонка с золотом и так как он был чрезвычайно набожным и благочестивым человеком, то не смог воспользоваться золотом в корыстных целях и построил на него храм. По мнению рассказчика, это было увековечено в надписи, находящейся в подклете церкви. Этот вариант интересен тем, что контаминирует* четыре ключевых эпизода — находку золота, строительство на него храма, создание строительной надписи и погребение храмоздателя в подклете. При этом, как кажется, источником этого предания, скорее всего, служил пересказ книги И. Баженова.

3. Кострома. Богоявленско-Анастасиинский монастырь. Братский корпус.

Белокаменная плита на фасаде¹⁶.

1651/1652 г.

“Лета 7160 [...] состроены [каменные кельи...] покоев да третия каменная деньгами вкладчиков боярина Михиала Михайловича да сына его Петра Михайловича Салтыковых. Строил игумен Герасим”.

каменные кельи] восстановлено мною в соответствии с монастырс-

*Совмещает. (Прим. ред.).

*кими писцовыми книгами*¹⁷.

Надпись, скорее всего, погибла во время пожара 1847 г., повредившего все каменные здания монастыря¹⁸, либо в ходе восстановительных работ после него. Во всяком случае, И.В. Баженовым, писавшим очерк истории Богоявленско-Анастасиинского монастыря в конце XIX в., надпись не упоминается.

Салтыковы, чей родовой некрополь находился на территории монастыря, были одними из богатейших вкладчиков обители. В частности, М.М. Салтыковым в 1644 и 1647 гг. были пожертвованы 1100 руб. на строительство монастырской ограды.

Кострома. Церковь св. апостола Иоанна Богослова в Ипатьевской слободе.

Надпись на иконостасе¹⁹.

1686 г. 11 декабря.

“Лета 7189-го зачата бысть церковь Божия каменная во имя святого Иоанна Богослова при державе блаженныя памяти Великаго Государя Царя и Великаго Князя Феодора Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белья России Самодержца и повелением и по благословению Великаго Господина святейшаго Иоакима патриарха Московскаго и всея России, повелением и по благословению и грамоте, радением и заводом бывшим архимандритом Антонином и служниками и слобожане и мысовыми и со всеми церковными людьми. Та церковь Божия Иоанна Богослова совершиися в нынешнем во 195 году при державе Государех Царех и Великих Князех Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и Великия Государыни Царевны Софии Алексеевны, всея Великия и Малыя и Белья России Самодержцев тищанием и радением Опатиева монастыря архимандрита Феодосия. Совершил и освятил церковь Божию Иоанна Богослова в нынешнем 195 году декабря в 11 день”.

5. Кострома. Церковь Преображения Господня за Волгой.

Каменная плита на наружной стене алтаря²⁰.

1688 г. 29 января.

“Изволением Господа и Бога нашего Бога Отца и Сына и Святаго Духа зачата строитися сия церковь Божия каменная во имя Преображение Господне с лета 7193 августа в 20 день, а совершена бысть сия церковь Божия в 196 году генваря в 29 день. А строил сию церковь Божию по своей вере и по обещанию тояжь церкви прихожанин [...] с приходскими людьми ради своего душевнаго спасения и на вечный поминок”.

Имя прихожанина, ставшего храмоздателем, издателям надписи раздобыть не удалось.

6. Село Холм Галичского района. Церковь Собора Пресвятыя Богородицы.

Деревянный крест со сделанной чернилами надписью²¹.

1500 или 1552 г.

“Построена бысть и освящена церковь Божий во имя собора Пресвятыя Богородицы на память святых мученик Карпа и Попилы месяца Октября 13 число лето *3ϕ”.

**3ϕ] В правильности чтения даты полной уверенности нет, так как ее издатель, И.К. Херсонский, отмечал, что в церковной описи 1897 г. год строительства был прочитан как *3ϑ. Впрочем, второе прочтение могло быть вызвано сильным разрушением буквы “ϕ”, сделавшим ее похожей на “ϑ”.*

Надпись, по-видимому, утрачена, но, возможно, речь идет о так называемом воздвизальном кресте, на котором отмечалась дата освящения церкви и который находился в алтаре за престолом.

7. Село Ликурга Буйского района. Троицкая церковь.

Клеймо в цоколе в правой части иконостаса²².

1685 г. 20 мая.

“Благословением и благодатию Творца всех Бога создася сей св. храм во имя славы Святыя, Единосущныя, Животворящия и Нераздельныя Троицы, Отца и Сына и Св. Духа при державе благочестивейших Государей Царей и Великих Князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всея России Самодержцев и при святейшем Патриархе Иоакиме желанием и прошением у Зиждителя Творца всех Бога стольника Семена Васильевича Готовцева в молитву и моление и воспоминание своих родителей в лето от создания мира 7193, а от Рождества Бога Слова 1685 и освящена мая в 20 день”.

благодатию] благостью — Г.К. Лукомский. во имя славы] во славу — Г.К. Лукомский. Готовцева] Ростовцева — Г.К. Лукомский.

Важным дополнением к строительной надписи является напрестольный деревянный крест, обложенный серебром, который был вложен в церковь храмоздателем. Он имел следующую надпись: “Лета 7192 г. положил

* 1500 год от Рождества Христова соответствует 7008 году от сотворения мира. Правильное начертание церковнославянским полууставом этой даты:

*3й (тысяча, Земля, Иже под титлом),

1552 год от Рождества Христова соответствует 7060 году от сотворения мира. Эта дата полууставом изображается так:

*3ϑ (тысяча, Земля, Кси под титлом).

*3ϕ — тысяча, Земля, Фита (как в тексте автора) соответствует 7009 году от сотворения мира или 1501 году от Рождества Христова. (Прим. ред.)

сей крест в церковь каменную во имя Св. Троицы стольник Семен Васильев Готовцев, что построил тое церковь он же Семен по обещанию своему в Галичском уезде в Ликургской волости в вотчине своей в селе Троицком, а Григорьевское тож”²³.

Получается, что напрестольный крест изготовлялся в процессе строительства храма и возлагался на престол раньше его освящения.

Датирующая формула надписи является типичной для последних десятилетий XVII в.

8. Нерехтский район. Троице-Сыпанов монастырь. Свято-Троицкая церковь.

Надпись на паперти собора²⁴.

1678 г. 6 октября.

“Во славу Единосущныя и Нераздельныя Троицы заложена сия святая церковь лета 7183 году на самый праздник Живоначальныя Троицы мая в 23 день на память преподобнаго отца нашего и исповедника Михаила Синадскаго при Государе Царе и Великом Князе Алексие Михайловиче всея России, при патриархе Иоакиме и обрели мощи преподобнаго Пахомия и начальника Сыпанова сего монастыря мая в пятый день на память святых мученицы Ирины. Совершена церковь во 184 году месяца августа в 10 день на память священномученика архидиакона Лаврентия. И освящена сия соборная церковь во имя Пресвятыя Троицы во 187 году октября в <6> день на память святаго апостола Фомы при игумене Харлампии”.

мая] мая — Церкви... Михаила] Михаила — Церкви... при] и при — Церкви... Алексие] Алексее — Церкви... и начальника Сыпанова сего монастыря] Церкви... нет. мая] мая — 9 Церкви... святых] св. — Упраздненные... во 184] в 184 — Церкви... архидиакона] Церкви... нет. во 187] в 187 — Церкви... <6>] в публикациях день не указан.

В настоящее время плита утрачена.

Эта надпись относится к числу немногочисленных в XVII в. надписей, где сообщается об обретении мощей святых.

По сравнению с московскими строительными надписями, костромские отличаются частным характером: первые лица государства, будь то цари или патриархи, что вполне естественно, редко выступали здесь инициаторами создания новых храмов. Их имена присутствуют в надписях в силу сложившегося государственного этикета, как дополнение к датирующей формуле по году, месяцу и дню завершения строительства. При этом надписи XVI в. близки надписям из Подмосковья и провинциальных городов России (Старицы, Ярославля и др.), что позволяет поставить вопрос о том, что вплоть до воцарения династии Романовых обычай установки строительных надписей был скорее характерен для провинции, нежели для столицы.

¹Гиршберг В.Б. Материалы для свода надписей на каменных плитах Москвы и Подмосковья XIV–XVII вв. Ч. 1. Надписи XIV–XV вв. // НЭ. 1960. Т. 1.; Гиршберг В.Б. Материалы для свода надписей на каменных плитах Москвы и Подмосковья. Ч. II. Надписи первой половины XVII в. // НЭ. 1962. Т. III.

²Белоброва О.В. Латинская надпись на Фроловских воротах Московского Кремля и ее судьба в древнерусской письменности // Государственные музеи Московского Кремля. Материалы и исследования. Вып. V. Новые атрибуции. М., 1987; Дрбоглав Д.А. Камни рассказывают... Эпиграфические латинские памятники. XV – первая половина XVII в. (Москва, Серпухов, Астрахань). М., 1988.

³Авдеев А.Г. Незамеченный юбилей // Нумизматический альманах. 1998. № 4.

⁴Яковлев И. О дате окончания строительства Покровского собора // Ежегодник ГИМ. 1961. М., 1962.

⁵Гиршберг В.Б. Надпись мастера Повилики // СА. 1959. № 2; Гиршберг В.Б. Эпиграфические заметки. 2. Надпись Артамонова Матвеева о построении церкви в с. Полярково // СА. 1961. №2; Яганов А.В. Храмозданная надпись в соборе Рождества Богородицы Медведевой пустыни // Реставрация и архитектурная археология. Новые материалы и исследования. М., 1991.

⁶Зеленская Г.М. «Каменный путеводитель» XVII в. по Воскресенскому собору Ново-Иерусалимского монастыря // Искусство христианского мира. Вып. 3. М., 1999.

⁷Юрганов А.Л. Отражение политической борьбы в памятнике архитектуры // Проблемы отечественной и всеобщей истории. Вып. 10. Генезис и развитие феодализма в России. Проблемы идеологии и культуры. Л., 1987.

⁸Черняев Е.Б., Шилов В.С. Настенные летописи ярославской церкви Дмитрия

Солунского // К исследованию русского изобразительного искусства. Новые материалы. СПб., 1998.

⁹Изд.: Исторические известия о Костромском второклассном Богоявленском монастыре с XV по XIX в. СПб., 1837. С. 6-7; Баженов И. Костромской Богоявленско-Анастасиинский монастырь. Исторический очерк. Кострома, 1895. С. 6; Церкви Костромской епархии по данным архива Императорской Археологической комиссии. СПб., 1909. С. 26.

¹⁰Забелин И.Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Кн. 1. Государев двор или дворец. М., 1990. С. 173-174.

¹¹Юрганов А.Л. Отражение... С. 179-181.

¹²Баженов И. Костромской... С. 30.

¹³Изд.: Баженов И. Воскресенская, что на Девре, церковь в городе Костроме. Кострома, 1902. С. 3; Церкви... С. 11-12.

¹⁴Голикова Н.Б. Привилегированные купеческие корпорации России XVI – первой четверти XVIII в. Т. 1. М., 1998. С. 250,259-260.

¹⁵Баженов И. Воскресенская... С. 2-3

¹⁶Изд.: Исторические... С. 22.

¹⁷Исторические... С. 48.

¹⁸Баженов И. Костромской... С. 28.

¹⁹Изд.: Церкви... С. 29-30.

²⁰Изд.: Церкви... С. 31.

²¹Изд.: Херсонский И.К. Сведения о некоторых памятниках старины, доставленные в Костромскую ученую комиссию от церковью Костромской епархии // Костромская старина. Вып. 1. Кострома, 1890. С. 28 (отд. пагинации).

²²Изд.: Херсонский И.К. Сведения... С. 42-43 (отд. пагинации); Лукомский Г.К. Старинные церкви Костромской губернии. Уезды: Буйский, Галичский, Солигаличский и Костромской. Пгр., 1916. С. 21.

²³Церкви... С. 62.

²⁴Изд.: Упраздненные монастыри Костромской епархии. М., 1909. С. 53; Церкви... С. 167-168.

Список сокращений

НЭ - Нумизматика и эпиграфика

СА - Советская археология

И.Х. Тлиф (Кострома)

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН И КАВАЛЕР ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МАЯНСКИЙ

Род Маянских во 2-й пол. XIX века был достаточно известен среди костромских жителей. Их знали как состоятельных купцов, имеющих лавки в лучших торговых местах города, а также как щедрых жертвователей, долгие годы подвизавшихся на стезе благотворительности в Костромском Попечительном комитете о бедных¹.

Силу этому роду дал Иван Васильевич Маянский. Он родился около 1797 года в селе Прискокове Костромского уезда. Село это на карте Костромской губернии место замечательное, овеянное старинными преданиями, пронизанное глубокой исторической памятью. В середине XVI века оно находилось во владении Бориса Федоровича Годунова – будущего “царя и великого князя всея Руси”, а Христорождественский храм села долгое время был приходским для потомков легендарного Ивана Сусанина, которые с 1633 года проживали вблизи Прискокова в деревне Коробово. Возле стен Христорождественского храма покоится прах дочери Ивана Сусанина Антонида, внуков Даниила и Константина, правнуков...². В той же земле лежат предки Ивана Васильевича Маянского.

Сам Иван Васильевич вышел из низших слоев духовенства: отец его, Василий Иванов³, до 30-х годов XIX века служил дьячком в Прискоковском храме, одноклпрном, в то время деревянном, уже потихоньку ветшавшем. В Судиславском духовном правлении, в ведомстве которого был Христорождественский храм, Василий Иванов зарекомендовал себя как человек “трезвый и скромный”, службу и катехизис “знающий”, отличающийся “не худыми нравами”, “порядочным житием”⁴. Кроме старшего сына Ивана, рожденного от первого брака, в семье его было еще четверо сыновей и три дочери от второй жены. Обе жены Василия Иванова умерли рано, оставив его попечению детей и домашнее хозяйство.

Младшие сыновья пошли по стопам отца: Андрей с 1818 года устроился пономарем в церкви села Кольшева Кинешемского уезда, Павел с 1828 года занял родительское место в церкви села Прискокова, Козьма и Полиевкт в начале 1820-х гг. поступили учиться в Костромское духовное училище⁵.

Старший сын вынужден был изменить семейной традиции и в раннем, почти отроческом возрасте покинул родные места. Причина тому — вечный недостаток в доме: в маленькой церкви небогатого прихода даже самый трудолюбивый дьячок был просто обречен на беднейшую жизнь. В поисках лучшей доли Иван Васильевич ушел в губернский город, где в 1816 году приписался к костромскому мещанству и начал новую жизнь⁶.

Молодой Маянский не чуждался никакой работы, но довольно скоро обнаружил в себе коммерческие способности, которые, при его трудолюбии и упорстве, позволили составить капитал. В 1820-30-х гг. он — энергичный подрядчик по торговым и строительным делам, в 1838 году — входит в костромское купечество по 3-й гильдии, в 1849 — купец 2-й гильдии⁸.

К 60-ти годам Иван Васильевич был владельцем постоянного двора, расположенного в центре города в каменном трехэтажном доме кирпичного завода, в котором хозяйствовал и управлялся сам, и двух каменных торговых лавок. Лавки Иван Васильевич держал: одну в Гостином дворе, вторую — “в



Левая часть здания — постоянный двор И.В. Маянского.

Фото В. Шевченко. Май 2002 года.

мускатильной линии” городских рядов. В “мускатильной линии” чаем, сахаром, фарфоровой, хрустальной, медной посудой и деревянным маслом торговал “по прикащическому свидетельству” Сергей Степанович Ботников. В Гостином дворе — чаем же, сахаром, кофе, посудой, подносами и помадой, а кроме того, книгами, бумагой разных сортов, сургучом, карандашами и другими вещами производил торговлю Михаил Маянский, сын Ивана Васильевича (8).

Семьей Иван Васильевич обзавелся где-то в середине 1820-х гг. О его первой жене сведений не сохранилось. Вторая — Дарья Ивановна, дочь купца Ивана Осиповича Сметанина. Именно у Сметаниных в 1831 году Маянский приобрел двухэтажный каменный дом, который после городского пожара 1847 года восстановил почти заново и надстроил третий этаж. В этом доме, как ранее у тестя, и был размещен постоялый двор⁹. От обеих жен Иван Васильевич имел семерых детей: Николая, Михаила, Ивана, Павла, Марию, Елизавету и Екатерину¹⁰.

Его повзрослевшие дети вступили в брак с потомками костромских купеческих фамилий и продолжили дело отца на торговом поприще*. Так, Николай Иванович взял за себя девицу из рода купцов Пастуховых¹¹. Михаил Иванович — из рода Мясниковых¹², торговцев хлебным и мясным товаром. Иван Иванович женился на Анне Александровне Трусовой¹³, отец которой имел собственную лавку и торговал кубовой краской. В той же лавке он скупал лен и холст, которые продавал на городской ярмарке и вел оптовую торговлю с Санкт-Петербургскими и Московскими купцами¹⁴. Анна Александровна еще в начале XX века держала лавку в Гостином дворе и вела мелочную торговлю посудным товаром¹⁵. К одной из ее дочерей, Надежде Ивановне, перешло торговое место на Божоявленской улице: в ее мастерской в последнее перед революцией десятилетие костромские дамы приобретали шляпки самых различных фасонов¹⁶. Павел Иванович был женат на дочери плесских купцов Подгорновых¹⁷, а старшая дочь, Мария Ивановна, породнилась с родом Ботниковых¹⁸, один из которых, Геннадий Николаевич — потомственный Почетный гражданин, член Государственной думы — в начале XX века был городским головой и приобрел известность как меценат и благотворитель. Сквер, утроенный по его инициативе и на его средства, до сих пор называется среди костромичей “Ботниковским” и украшает площадку перед зданием нынешней мэрии в центре города.¹⁹

Русское купечество вообще, и костромское в частности, известно своей благотворительностью. С одной стороны, тороватость подобного рода приносила купцам почет и награды, ослабляла налоги, с другой — удовлетворя-

* О браках Екатерины и Елизаветы Маянских сведений не обнаружено.



*Дом и шляпная мастерская Маянских.
Фото В.Ф. Шевченко. Май 2002 года.*

ла потребность православной души в очищении от грехов, покаянии через дело, благостыню.

Не было исключением и Иван Васильевич Маянский. Так, в 1869 году, достигнув 70-ти летнего возраста, он обратился в Костромской Попечительный о бедных Комитет, в котором давно уже состоял членом-благотворителем: “Имея с давнего времени усердие выстроить на собственный счет дом призрения бедных ... для помещения в нем от 20 до 30 человек ... покорнейше прошу о дозволении выстройки дома сделать надлежащее распоряжение...”. Перед подписью, там, где “руку приложил”, обозначено — потомственный Почетный гражданин, 2 гильдии купец и Кавалер... Почетное гражданство семья Маянских получила в 1857 году²⁰. В 1872 году на городском Крестовоздвиженском кладбище открылось новое заведение общественного призрения — богадельня Маянского²¹.

В характеристике, написанной Костромским Попечительным комитетом о бедных на представление Ивана Васильевича к ордену Станислава 2-й степени, перечислены “добрые дела Маянского”, в том числе и последнее: “До 1872 г. Попечительный о бедных Комитет не имел особого дома для призрения престарелых мужчин..., но член-благотворитель Маянский, по христианскому чувству сострадания к ближнему, построил на свой счет каменный



*Храм Рождества Христова в селе
Прискокове, освящённый в 1838 году.
Фото Г. Белякова. 1997 год.*

двухэтажный дом, со всеми необходимыми службами, как то: погребом, амбаром и банею, тоже каменными, приготовив на 20 человек и мебель, и постели...”²².

За 20 лет до того, в 1852 году, И.В.Маянский был награжден “золотою медалью на Аннинской ленте для ношения на шее — за значительные пожертвования в пользу Крестовоздвиженской церкви” в городе Костроме, а годом раньше Кавалерской Думой Всемилостивейше пожалован Кавалером Императорского Ордена Святой Анны 3 степени — за возведение его “иждивением в селе Прискокове Костромского уезда, вместо пришедшей в совершенную ветхость деревянной церкви, каменной церкви с колокольнею и снабжение оной утварью и ризницею”²³.

Церковь в Прискокове Иван Васильевич поставил в 1838, т.е. тогда, когда только началась

его купеческая карьера. Прискоковская-то церковь и помогла нащупать его корни, подсказала место рождения, вывела на сословие, к которому он принадлежал. В 1834 году отец Ивана Васильевича был уже за штатом. Возраст его — около 60 лет — говорит о том, что здоровье уже не позволяло ему исполнять церковные обязанности. Долго ли он прожил? — не известно. Возможно, к 1838 году его уже не было в живых... Вот отсюда и храм — первая жертва, оставившего свой дом и свое сословие Ивана Васильевича: здесь и прощанье, здесь и любовь и вечная память!

Самому Ивану Васильевичу был отпущен долгий век. Он умер в городе Костроме 92-х лет. Прах его покоится на Крестовоздвиженском кладбище — неподалеку от устроенной им богадельни и той церкви, которую он, как человек глубоко верующий и памятующий о своем духовном происхождении, щедро опекал и поддерживал при жизни²⁴. Сегодня на месте кладбища стоит одна из городских поликлиник, высятся жилые

дома, а кирпичи Крестовоздвиженского храма, разрушенного в 1930-е гг., укрепляют стены построенного в то же самое время льнокомбината им. И.Д.Зворыкина.

¹ Ф.397.Оп.1.Д.27.Б/н.

² Зонтиков Н.А. Иван Сусанин: легенды и действительность. Кострома, 1997. С.- 85-86, 134-135. Свой храм в с.Коробове был построен в 1855 г.

³ В ревизских сказках по Костр.епархии церкви Рождества Христова за 1815 (декабрь) и 1834 гг. Иван Васильевич Маянский не значится. Вероятно потому, что в 1810-11 гг. (лет тринадцати-четырнадцати) он ушел из дома. Единственный Василий, который с конца XVIII до 1830-х гг. служил в этом храме – дьячок Василий Иванов (ок.1875-не ранее 1834), “сын вдовой пономарицы Парасковьи Ивановны”. Его вероятный отец – пономарь того же храма Иван Федоров (?- не ранее 1792). Вторая жена Василия Иванова - Марья Васильева (ок.1780-не позднее 1834); дети от второго брака: Андрей (ок.1804-?), Павел (ок.1809-?), Козьма (ок.1819-?), Полиевкт (ок.1821-?), Софья (ок.1807-?), Зиновья (ок.1811-?), Олимпиада (ок.1814-?). Ф.200.Оп.3.Д.385.Б/н; Ф.200.Оп.3.Д.392.ЛЛ.1150об-1151; Ф.28.Оп.1.ДД.87.Б/н.

⁴ Ф.28.Оп.1.ДД.137, 149, 177. Б/н.

⁵ Ф.200.Б/ш.Д.1280.Б/н.

⁶ Ф.200.Оп.3.Д.392.ЛЛ.1150об-1151.

⁷ Ф.497.Оп.2.Д.2113.Б/н.

⁸ Ф.497.Оп.2.Д.2113.Б/н.

⁹ Бочков В.Н. Старая Кострома.Кострома, 1997.С.- 70-72. Дарья Ивановна Сметанина (ок.1806-23.08.1871) – вторая жена Ивана Васильевича Маянского, дочь Ивана Осиповича, внучка Осипа Кузьмича Сметаниных. Ф.200.Оп.3.ДД.385, 392; Ф.56.Оп.3.Д.71.ЛЛ.162об-163).

¹⁰ Ф.200.Оп.3.Д.854.ЛЛ.3об-4. Николай Иванович (ок.1826-?). Ф.200.

Оп.3.Д.660.Б/н; Михаил Ив. (ок.1828-

7.01.1901). Ф.200.Оп.3.Д.660.Б/н; Ф.56.Оп.3.Д.142. ЛЛ.158об-159; Иван Ив. (ок.1836-1.08.1908). Ф.56.Оп.3.Д.164.ЛЛ.-193об,196; Павел Ив.(ок.1844-8.06.1885).Ф.200.Оп.3.Д.660.Б/н;Ф.56.Оп.-3.Д.73.ЛЛ.53об-54; Мария Ив.(ок.1830-?). Елизавета Ив.(ок.1833-?). Екатерина Ив.(-ок.1838-?). Ф.200.Оп.3.Д.660.Б/н.

¹¹ Любовь Петровна Пастухова (ок.1828-?). Брак заключен (далее =) не позднее 1848 г. Ф.200.Оп.3.Д.660. Б/н; Ф.133.Оп.17.Д.1490.Б/н.

¹² Олимпиада Дмитриевна Мясникова (ок.1831-5.01.1900). Установлено на основе анализа дел Ф.56.Оп.3.ДД.71.ЛЛ.18об-19,113об-114; 140.ЛЛ.128об-129; Ф.497.Оп.2.Д.2113.Б/н.

¹³ Анна Александровна Трусова (ок.1845-не ранее 1917). = 19.02.1861 г. Ф.56.Оп.3.Д.7-1.ЛЛ.9об-10; Ф.340.Оп.2.Д.2340.

¹⁴ Ф.497.Оп.2.Д.2113.Б/н.

¹⁵ Ф.200.Оп.8.Д.97.ЛЛ.183-184об.

¹⁶ Ф.200.Оп.8.Д.117.ЛЛ.253-254об.

¹⁷ Александра Петровна Подгорнова (ок.1854-9.01.1896). Ф.56.Оп.3.Д.128.ЛЛ.156об-157. = 26.01.1866. Ф.56.Оп.3.Д.71. ЛЛ.81об-82.

¹⁸ Сергей Степанович Ботников (ок.1820-?). Ф.200.Оп.3.Д.854.ЛЛ. 89об-90.

¹⁹ Ботниковы в середине XIX в. торговали хлебом, кожаным товаром, готовыми сапогами.Ф.497. Оп.2. Д. 2113. Б/н.

²⁰ Ф.397.Оп.1.Д.81.Б/н.

²¹ Ф.200.Оп.3.Д.854.ЛЛ.4об-5.

²² Ф.397.Оп.1.Д.84.ЛЛ.22об-24.

²³ Там же. ЛЛ.22об-24.

²⁴ Маянский Иван Васильевич (ок.1797-13.04.1886). Ф.56.Оп.3.Д.73.ЛЛ.59об-60.

А.А. Григоров

Письма Д.Ф. Белорукову

В литературном наследии А.А. Григорова (1904-1989 гг.) — выдающегося специалиста по генеалогии костромского дворянства — особое место занимают его письма. До сих пор письма А.А. Григорова в отрывках публиковались в основном в некоторых малодоступных для костромского читателя газетах. Помещаемая ниже подборка отчасти исправляет этот недостаток.

Публикуемые письма А.А. Григорова находятся в архиве Д.Ф. Белорукова, переданном его вдовой А.А. Белоруковой Костромскому фонду культуры. Все они напечатаны на машинке. Первое письмо датировано 2 сентября 1972 года, последнее — 14 марта 1973 года. По объёму они невелики (и публикуется всего 15 писем), но предельно информативны: в них и частная жизнь автора писем, и происходящие в стране события, и живые, яркие приметы того времени.

Но самое важное (почему письма и писались) — это поиски новых исторических сведений и щедрый обмен ими. Перед нами живая картина того, как “делается” краеведение талантливыми людьми (один — в Костроме, другой — в Москве), захваченными своими поисками.

В письмах — живой Александр Александрович, естественно и откровенно высказывающий свое мнение о современной исторической науке, о музейных и архивных работниках и т.д.

Доброта А.А. Григорова-исследователя и человека, его особый, “григоровский” юмор делают письма необычайно привлекательными.



А. А. Григоров. 1967 г.

*2 сентября 1972 г.
г. Кострома*

Дорогой Дмитрий Федорович!

Прошло уже это, такое неудачное для нас лето, и Вы тоже, наверное, нынче не получили такого удовольствия от лета, как бывало раньше. И всему виною такая чрезмерная жара и вызванные ею огромные лесные пожары, принесшие столько бед. Наша область пострадала очень сильно, сгорели огромные лесные массивы; как спелого леса, так и молодняков, с таким трудом выращиваемых лесоводами.

Я Ваше письмо получил (от 28 августа) и отвечаю без задержки. Сперва по Вашим запросам. Из числа лиц, о которых Вы бы хотели получить какие-либо сведения, могу сообщить про Голембовского. В Костроме были чиновники-дворяне Голембовские. Один из них, Дмитрий Васильевич (род. 1769г.) в 1812 году имел чин надворного советника, служил в канцелярии губернатора или губернского правления, что почти одно и то же. Сам он родом был из владимирских дворян. Его сын, Петр Дмитриевич, служил в армии, имел чин поручика в 1837 году. Владел каким-то поместьем в Юрьевском уезде.

О них в Костромском архиве: фонд 121, оп. 1, ед. 386, год 1812, л. 19 (об отце) и тот же фонд и опись, единица 2009, год 1837, лист 134-136 (о



Д.Ф. Белоруков. 1968 г.

сыне). Больше я ничего о них не знаю.

Затем про Готовцеву Анну Ивановну. Она была дочерью капитана Готовцева Ивана Александровича, жившего в усадьбе Кондратово Галичского уезда. Была поэтессой, писала и печатала в разных журналах того времени свои стихи и была связана со многими поэтами того времени, в частности, была знакома с А.С. Пушкиным, П.А. Вяземским и, вероятно, с П.А. Катениным. Об её отце (там есть про неё тоже) Костромской архив, фонд 121, опись 1, ед. 1173, лл. 63-86, год 1833.

Про Кашширева могу сказать, что эта фамилия по происхождению Ярославской губернии, Кашширевы имели владения в Любимском и в Грязовецком уездах, но часто некоторые из них служили в Костроме. Про то лицо, что Вас интересует, я ничего не могу сказать, равно как и о майоре Бракель, Е. Колопановой и Арсеньевой Н.

А в части Анны Готовцевой*, то еще добавлю, что она была в замужестве за Петром Петровичем Корниловым, владевшим усадьбой Зиновьево в 18 верстах от Костромы. Отец

П.П. Корнилова — генерал Петр Яковлевич Корнилов — был сподвижником Суворова в Итальянском походе, служил с Багратионом, и в 1812 году едва-едва не захватил самого Наполеона под Березиной. А муж Анны Ивановны, Петр Петрович, был генералом и одно время комендантом Московского Кремля.

Костромским губернатором в 1816-1827гг. был генерал Карл Баумгартен, о нём Вы можете найти статьи в старых энциклопедиях.

Кто же был Орлов — я не знаю.

Про Осокина я тоже не знаю ничего, эта фамилия мне знакома, но в моих “анналах” про Осокиных нет ничего. Про “учёные” записки Костромского заповедника я пока ничего еще не слышал.

Про Лермонтовскую родословную. Я Вам писал, что присланная мною Вам ранее не годится, делаю новую, и более расширенную. Между прочим, прошу Вас сообщить номера ЧОИДР¹, где есть родословная Лермонтовых,

* А.И. Готовцева похоронена в Карабанове, около Костромы. (Прим. автора.)

мне хотелось бы взглянуть, а ЧОИДР у нас в архиве есть все номера.

Где-то мне попала заметка И.Н. Лермонтова, брата адмирала М.Н. Лермонтова, в которой он занимается своими предками, и пишет среди прочего и явный вздор, и ссылается на, якобы, сгоревшие документы. Это обычный прием фантазеров, были, мол, да сгорели. А сам не знает даже своих киевских родственников, о существовании их узнает от киевского архиерея, который был ему знаком по Воронежской губ., куда этот архиерей был переведен, а сам И.Н. после женитьбы переехал в Задонский уезд и был там почетным мировым судьей. А киевские Лермонтовы жили в имении Белочар, Черкасского уезда, это имение было у родных колотиловских Лермонтовых, и туда уехал после продажи Колотилова Катенину Иван Юрьевич со своей женой Марией Михайловной.

Но сейчас я отложил работу над Лермонтовыми из-за истории князей Козловских, ибо за эту историю мне обещали заплатить, а всякий рубль для меня дорог, так как пенсия моя мала². В сентябре я развяжусь с Козловскими.

Дома у меня, как я Вам писал уже, все одни нелады. Но надеюсь на лучшее, ведь должны же все когда-нибудь выздороветь. Сейчас жена уже стала вставать и дочь из больницы выписалась.

Возвращаюсь к “погодным” условиям этого года. Остаемся мы и без грибочков, и без варенья из лесных ягод. Особенно жалко остаться без грибов. Я всегда много приносил, и мы делали большие запасы, ибо очень люблю брать грибы и почитаю себя за “грибного знатока”, и были у меня свои “заповедные” местечки, но все теперь огонь уничтожил. А зимою грибы — это большое подспорье, особенно было б это важно нынче, ибо мы, видимо, “сядем” без капусты и без картошки. Ведь все пропало от жары, и в торговой сети нет ни того, ни другого. И вряд ли будет.

Ну, да как-нибудь переживем, ведь уже пережили и 1918-19, и 1920-21, и военные голодные годы, не помрем и теперь.

Вот и все пока в этом письме. Пишите, что еще бы хотели от меня получить, с удовольствием исполню все, что в моих возможностях.

Привет Евгении Петровне³ и Вам от нас обоих⁴.

Уваж. Вас А. Григоров

26 сентября 1972 г.*
г. Кострома

Дорогой Дмитрий Федорович!

Отвечаю на Ваше письмо от 23 сентября и поставленные в нём вопросы.

1. О Петрове. В моем архиве есть такие сведения о Петровых:

А. Павел Иванович Петров, генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года. Макарьевский дворянин и помещик. Родственник Лермонтовых. В рукописном отделе Государственной библиотеки имени В.И. Ленина есть фонд Петрова, личный, под №138. В Костромском архиве сведения о П.И. Петрове находятся в фонде 121, опись 1, ед. 5428 за 1854 год. Родился П.И. Петров в 1792 году, умер в 1871 году. Есть в Костромском архиве личный фонд семьи этих Петровых, фонд № 647, 26 единиц хранения за годы 1834-1871.

Б. Его сын, Аркадий Павлович, род. в 1824 году. Макарьевский дворянин и помещик. О нем в Костромском архиве фонд 121, опись 1, ед. 5428 за 1854 г. и 6877 за 1877 год, имел чин действ. стат. советника, жил б.ч. в С-Петербурге.

В. Сын Аркадия Павловича, Николай Аркадьевич, капитан 1 ранга, видный военно-морской деятель русского флота до 1917 года. Морской писатель. Помещик Макарьевского уезда и макарьевский дворянин. О нем в Костромском архиве фонд 121, опись 1, ед. 8859 за 1907 год. Больше про этих Петровых у меня нет ничего. Вотчина Петровых была в Макарьевском уезде, там была и их усадьба, но были деревни и в других уездах. Что Вас интересует — напишите, при случае, если будет возможно, загляну в архив и попрошу посмотреть эти дела.

2. Об Н.А. Ивашенцеве у меня есть все исчерпывающие сведения, он действительно уроженец Буйского уезда. О нем я поместил статью летом прошлого года в нашей “Северной Правде”. Если хотите, могу прислать вырезку из этой газеты. Правда, статья, как обычно, сильно сокращена. Вся литература о Н.А. Ивашенцеве мне известна. Благодарю Вас за Ваше внимание к моим “занятиям”, если что найдете — то буду рад Вашим сообщениям, пусть может случиться, что сообщаемые Вами данные мне известны, но это ничего не значит, может быть, и новое что-либо окажется. В отноше-

* В левом углу письма чернилами написано: “Записано в т[етрадь] №31, стр. 1. Белоруков”. (Прим. публ.)

нии родословной Катениных, то тут, по-моему, ничего нового и интересного к тому, что есть у меня, добавлять уже вряд ли придется, а вот насчет Лермонтовых — то это не так. Прослеживаются интересные родственные связи фамилии Лермонтовых со многими яркими фигурами прошлого, этот труд поглощает очень много времени, но я не теряю надежды его закончить, правда может быть, на это уйдет год и даже больше.

А то, что я составил, это все надо выбросить вон, так как очень много пропущено. Но интересны только Лермонтовы XVII, XVIII и XIX веков, а Лермонтовы XX века, по-моему ничего интересного из себя не представляют, и я не тружусь искать что-либо о них. Довольно и того, что в течение 60-х годов было помещено в газетах — Солигаличской, Галичской и других районных.

С князьями Козловскими я рассчитался и даже получил некую сумму за свой труд, правда, не слишком большую, но и это для меня подспорье, к моей мизерной пенсии.

Теперь одновременно делаю про Невельских, хочу тоже добить их полную родословную и установить, куда и как они растеряли все свои земли, и занимаюсь с Лермонтовыми; тут я тоже хочу установить, каким образом были утрачены колоссальные владения рубежа XVIII-XIX веков, а также, по какому случаю дед и отец М.Ю. Лермонтова “сбежали” из числа костромских дворян. Всем добытым могу поделиться, если Вам это интересно.

Вот мои ближайшие цели. Попутно кое-что делаю по просьбе Чухломского музея, там директор, некто Г.И. Лебедев⁵, очевидно, энтузиаст архивно-музейного дела, хотя и с очень слабой подготовкой; я его лично не знаю, а только переписываюсь с ним. Он собирается писать какую-то историю чухломского края, и мне нетрудно ему помочь кое-чем из своих архивов. Вот перспективы на зиму, и еще — обязательна поездка в Москву, а если соберутся монетки, то и в Ленинград, там в ЦГА ВМФ⁶ у меня много надо поискать и узнать.

Так что если здоровье не подкачает, то зима будет “насыщенная”. Звонил Марии Николаевне⁷, она все в разъездах, сейчас, очевидно, опять в Подольске, там у её сына или дочери какие-то квартирные дела, и ей надо там быть при получении квартиры. Сказала, что заедет к Вам из Подольска. Вот на этом пока и поставлю точку.

Привет от меня и жены Евгении Петровне и Вам и благодарность за память от М.Г.⁸

Уважающий Вас А. Г.

3 октября 1972 г.
г. Кострома

Дорогой Дмитрий Федорович!

Возвращаю Вам составленную Вами Катенинскую родословную, мне тут добавить нечего, только я кое-где добавил звания и чины и годы рождения-смерти.

Извините, что немножко помарал эту родословную, но раз это черновик, то беда небольшая.

Также сообщаю Вам полное название книги “Зиновьевский архив”: “Архив сельца Зиновьева. Акты и письма. 1913 год, 243 страницы, СПб. Костромская губернская учёная архивная комиссия”. Этот заголовок стоит на обложке и корешке книги.

Когда закончу Лермонтовскую историю, то пришлю Вам для обозрения и составленную мною полную родословную.

Но это будет еще не очень скоро. Сейчас тружусь в полную меру, но так много надо перебрать документов, что дело идет медленно.

Больше у меня новостей нет.

С продуктами дело дрянь — с картошкой, капустой, маслом, сыром и проч. Плохо нам будет эту зиму. Но как-нибудь переберёмся, не первый раз за нашу жизнь приходится переносить такие невзгоды. Мария Григорьевна благодарит за привет и, в свою очередь, отвечает тем же Вам и Евгении Петровне, к чему и я присоединяюсь.

Ваш А. Григоров

13 октября 1972 г.
г. Кострома

Дорогой Дмитрий Федорович!

Получилось какое-то недоразумение: я собираю материалы по истории рода моряков БУТАКОВЫХ, а Вы мне пишете про род БУНАКОВЫХ.

В чем же тут дело? В Вашем письме, впрочем, есть кое-что и про Бутаковых. Я тут уже и не пойму, про кого же идет речь. Сперва Вы пишете про Бунаковых, а потом упоминаете про Бутаковых, ветвь, идущую с 1590 г. от Афанасия.

Но как бы то ни было, очевидно, все эти Бунаковы и Бутаковы не имеют никакого отношения к тому роду, которым я интересуюсь.

Все же я должен Вас благодарить за Ваше внимание к моим поискам,

хоть они и не дали ничего для моей работы.

Между прочим, среди БУТАКОВЫХ мне попадались моряки из каких-то других родов и не имеющие отношения к костромским дворянам. Это — БУТАКОВ Степан Федорович, в 1775 г. кадет Морского корпуса, участник войны с Турцией 1787-1790 и был на эскадре адм. Ушакова. Уволен в 1800 г. с чином капитана 1 ранга. Затем Бутаков Илья, кадет с 1786 г. Уволен мичманом в 1798 г. Потом БУТАКОВ Николай Михайлович, кадет в 1818 году, участник кругосветного плавания адмирала Литке в 1826-29 гг., потом служил в Черном море и уволен капитаном 1 ранга в 1847 г. БУТАКОВ Петр Ильич, кадет с 1816 г., уволен в отставку в 1829 г., и БУТАКОВ Роман, гардемарин в 1788 г., уволен лейтенантом в 1798 г. Все они из какой-то другой губернии, но не из Костромской.

Затем в Новгородском ополчении 1812 года участвовали Бутаков Петр, подпоручик, Бутаков Николай, прапорщик, и Бутаков Егор, коллежский регистратор, но все они, очевидно, были из новгородских дворян.

А Костромской воевода в 1708 году не БУТАКОВ и не БУНАКОВ, а БУРНАКОВ Иван, так, по крайней мере, он значится в списках воевод г. Костромы.

Вот видите, в какие дебри я забрёл со своими Бутаковыми, что и не знаю, как выбраться!

Напишите мне, что Вы из всего этого могли понять и разобраться. Я Вам писал про Петрова, Павла Ивановича, не знаете ли Вы, как он приходился родней Лермонтовым? У него был в Галиче свой дом, хотя он по своему положению считался макарьевским помещиком.

Больше у меня пока новостей нет, разве только то, что наш Историко-архитектурный музей собирается выпускать в свет какие-то “Учёные записки”⁹, видимо, наподобие издававшейся Костромской губернской учёной архивной комиссией в конце прошлого века “Костромской старины”, которой вышло VII выпусков, или “Трудов Костромского научного общества”, эти сборники выходили и после революции, года до 1928-го, кажется.

Меня пригласили сотрудничать, и я дал им кое-что из своего добра, но не знаю уж, что им понравится и подойдет, ведь мой материал достаточно специфичен и очень далек от всяких “измов”, без чего теперь, вроде бы, и не полагается писать, хотя бы и про времена Адама и Евы. Может быть, и Вам они предлагали сотрудничать? Про Вас и Ваше увлечение костромской стариной им известно по Вашим статьям в районных газетах.

Теперь еще один вопрос: Вы мне говорили о Екатерине Юрьевне Лермонтовой, якобы бывшей замужем за Свинымым. Так вот, Екатерину Юрь-

* Так в тексте. (Прим. публ.)

евен было две: одна родная тётка Михаила Юрьевича*, дочь Петра Юрьевича, она была на 3 года старше своего брата, отца Михаила Юрьевича, но была и другая Екатерина Юрьевна, дочь Юрия Матвеевича, она была несколько старше и из другой ветви.

И за каким именно Свиныным она была замужем? Свиныных было так много в Галичском и Макарьевском, а также в Чухломском, Кологривском, Костромском, Буйском и Солигаличском уездах, что их картотека будет состоять не менее чем из двухсот имен. И там встречается не один Петр Никитич, так что трудно определить, о каком же Свиныне надо наводить справки. А это бы пригодилось для моего “опуса” про род Лермонтовых.

Вот пока и все. Мария Григорьевна благодарит за привет и, в свою очередь, шлет привет Вам и Евгении Петровне, к чему присоединяюсь и я.

Ваш А. Григоров

16 ноября 1972 г.

г. Кострома

Дорогой Дмитрий Федорович!

Спасибо Вам за ваше внимание к моим “трудам”, и впредь прошу не оставить, и если что-либо попадется, на Ваш взгляд, интересующее меня, то всегда буду рад получить от Вас всякие сведения; так и про Красное, хотя я и раньше знал, что оно было дворцового ведомства, но теперь появилась новая деталь: число дворов в 1712 году. Из дворцового ведомства Красное было пожаловано матушкой Екатериной фрейлине Бутаковой, по мужу баронессе Строгоновой, жене Сергея Строгонова, и её брату, ротмистру Конной гвардии Петру Бутакову, а эта фрейлина, Прасковья, на другой год умерла, и Красное перешло её брату. Но потом, каким-то случаем, я еще не установил, каким, пол этого села оказалось в конце XVIII века во владении князя Петра Андреевича Вяземского. Пока еще я не нашел концов, но надеюсь за эту зиму доискаться того, что меня интересует.

А Сидоровское матушка Екатерина пожаловала графу Владимиру Григорьевичу Орлову во время своей поездки по Волге с заездом в Кострому, в 1767 году. Потом Сидоровское, от детей Владимира Орлова, перешло графам Паниным.

Теперь о Кологривском музее. Нынче летом сюда к нам, в архив, приезжали две “дамы” и что-то копались в архиве, но по части более поздних, уже после 1917 года, дел. Я, было, желал с ними поближе познакомиться и потолковать, но встретил такой ледяной приём, что никакого диалога у нас с ними не получилось. А то, что есть у них в Кологриве, в частно-

сти ревизские сказки, это все есть и здесь; у них там вряд ли что можно найти интересное по XVII и XVIII векам, всё, что в Кологриве было, то есть дела уездного суда, предводителя дворянства, земства, опеки и полицейского управления, всё это здесь, у нас. А вот с Чухломским музеем у меня наладились более дружеские отношения. Там директор, некто Г.И. Лебедев, хотя, как видно по его письмам, и не хватает звезд с неба, но, видимо, энтузиаст своего дела, только замыслы его чересчур широки, и не хватает ему образования и общего уровня развития довести всё задуманное до конца. Уж очень он взял на себя непосильную, чересчур объёмную, задачу.

Я ему много разного своего материала дал, по части Лермонтовых, Невельских, Катениных и других, за что он мне неизменно шлет благодарности и хотел бы получать и получать еще и еще, но ведь и мои возможности не безграничны.

Так что насчет каких-либо поисков в Кологривском музее мне представляется, что эта овчинка не будет стоить выделки. Да и очень уж суровы показались мне эти кологривские дамы. Они даже, как мне показалось, с негодованием отвергли всякую мысль о любом сотрудничестве между мною и ими.

Ну и пёс с ними! Я-то во всяком случае ничего от них не желаю и не жду, а наоборот, сам хотел им предложить совершенно бескорыстно, ибо я все свои дела никак не связываю с какими-либо материальными интересами; хотел поделиться своими “богатствами”, а раз не хотят — то и не надо!

Я Вам посылаю составленную мною родословную Жюховых, это линия кологривская, обосновавшаяся там с начала XIX века, а родом они из Ярославля. А другая, более древняя ветвь, тоже ярославского происхождения, у меня значится, в отличие от “унженских” Жюховых, “пахтановскими” Жюховыми. Они имели владения и в Макарьевском, и в Чухломском, и Галичском уезде, и хотя были записаны в “шестую книгу” — “унженские” были только в “третьей” книге, — но основательно обнищали к началу XIX века, и из этой семьи не вышло ни одного хоть сколько-нибудь значительного деятеля в любой сфере, будь то военная или общественная деятельность. Последние Жюховы из “пахтановских” были уже чуть не сплошь неграмотными и очень бедными.

В Москву я смогу приехать только после Нового года, скорее всего, в такое же время, как и в прошлом году, то есть март-апрель.

Дела много, я хочу еще кое-что сделать для нашего архива, то, чего не сделает никто, кроме меня, а именно — просмотреть весь фонд палаты гражданского суда и составить на него именную картотеку, это с середины XVIII века и по реформу суда в 1864 году.

Там возможны интересные находки, так как масса спорных дел по

землям и деревням, и часто в обоснование своих прав там находим приложенными копии древнейших грамот, интереснейшие “поколенные росписи” и видим, переход владений как совершался, завещания духовные и многое другое. И я, делая эту работу, могу безмерно обогатить свои “архивы” всякого рода выписками и копиями “поколенных росписей”. Меня эта работа очень занимает А время — есть, я ведь ничем, кроме возни со своим правнуком не занят¹⁰, и пока силёнка есть ходить, то вреда не будет, а даже польза, так как могу и пешком зимой через Волгу ходить, а врачи настоятельно рекомендуют старикам побольше ходить по свежему воздуху.

Вот на этом и точку надо поставить.

Спасибо Вам от М.Г. за поклон и привет Вам и Евгении Петровне, и от меня и от М.Г. такой же сердечный поклон и пожелания Вам всего хорошего.

Ваш А. Г.

*19 ноября 1972 г.
г. Кострома*

Дорогой Дмитрий Федорович!

Благодарю Вас за сведения о родословной князей Вяземских.

У нас, в Костромской губернии, были, кроме князя Петра Андреевича, владевшего селом Красным в конце XVIII и начале XIX века, еще много князей Вяземских, видимо, одного и того же рода, но, как они были в родстве с поэтом Петром Андреевичем, мне пока не ясно. Последние представители этих князей жили в усадьбе Воскресенское, бывшего Галичского уезда, а ныне, по-видимому, Антроповского района. Их громадный фамильный архив хранится в нашем областном архиве, но я не имел времени в нем покопаться.

А родословие Жоховых Вы могли свободно оставить у себя, я Вам для того его и перепечатывал.

Да, я Вас вполне понимаю, Ваше положение, и как противно постоянно кривить душой и лицемерить! Но в такое время мы живем, все так к этому уже приспособились, какая-то двойная жизнь; одно дело на службе, где все лицемерят и кривят душой и постоянно лгут и сами себе, и другим, и другое дело — быть самим собою!

Противно всё это!

Мария Николаевна опять собралась в отъезд, к кому-то из потомства, кажется, к сыну, в Подольск, там требуется её присутствие едва ли не в качестве няни к ребенку. Она мне сказала, что уезжает недельки на две.

Она довольно активно взялась за ревизские сказки по Кологривскому

уезду начала XIX и конца XVIII века, что-то там выписывает: какие лица владели крестьянами, откуда приводили вновь купленных и куда продавали и так далее. Это может дать богатый материал для всякого рода исследований, и материал сей очень интересен, но она, как мне кажется, да и Вы про это пишете, как-то пессимистически относитесь ко всему: кому, мол, все это надо! Никто, мол, ничем этим теперь не интересуется. Она отчасти права. Посмотрите: чем наполнены наши исторические журналы? Я выписываю “Военно-исторический”, “Морской сборник” и “Советские архивы”. Почти все 100% этих изданий заняты публикациями о недавних событиях, большею частью о прошедшей войне и, много реже, о первых годах после 1917 года. А такого рода исследованиям, как делаю я, например, нескоро можно будет ожидать, что дадут им место в нашей печати.

Вы пишете, что стали работать в ЦГВИА¹¹, и предлагаете мне свои услуги — сообщить, если что найдется. С благодарностью принимаю Ваше предложение, мне все будет интересно и важно. А вот насчет того, что бы интересовало в первую очередь, то я тут пока назову только одно имя: генерал-майор и кавалер ордена св. Георгия Победоносца Федор Михайлович Кутузов. Служил он в Преображенском полку, как и его отец, капитан Михаил Федорович. Родился, видимо, около 1735-45гг. Умер в 1800 году.

Не попадется ли сведений о его службе, может быть, послужной список. По моим соображениям, он был в чине полковника в экспедиции графа А.Г. Орлова в 1769-1775 гг. в Архипелаг¹², с батальоном Преображенского полка, и участвовал в десанте на острове Парос в Средиземном море в 1770 году, после Чесменского сражения.

Его послужной список должен бы быть здесь, но за этот год (1788), когда собирали послужные списки со всех господ дворян, почему-то по Кинешемскому, вернее по Кадыйскому уезду, я не нашел ни одного списка. А мне он очень был бы нужен. Если Вы его найдете или какие-либо вообще сведения об этом лице, то буду Вам бесконечно признателен.

Дальнейшее потомство этого Ф.М. Кутузова было такое: единственный сын, Николай, умер 30.12.1812 г. в возрасте 21 года. Дочери — старшая, Варвара, была замужем за Е.Г. Сипягиным, из Галичского у., вторая, Александра — за г. Сабаневым, а третья, Любовь — за лейтенантом Н. Патракеевым. Про всех этих я знаю достаточно, а вот про самого генерала Ф.М. Кутузова — не нашел того, что надо. В отставке он был, очевидно, с 80-х годов XVIII века, ибо с 1788 по 1800 год он служил Костромским губернским предводителем. А что если попадется и про других, то буду тоже рад и буду благодарить Вас.

А Бутаковы не были ни в каком родстве ни с Вяземскими, ни с Оболенскими, ни с Долгоруковыми. Из “знатных” фамилий — только со Стро-

гоновыми, но Красное к Строгоновым отношения не имело. Но я не теряю надежды здесь найти концы этого дела. Буду подряд смотреть дела гражданской палаты, там купчие, завещания и тому подобное, и может найтись искомое мною.

А на этом и поставлю точку, предварительно пожелав Евгении Петровне и Вам, как от имени М.Г., так и от своего, самого лучшего здоровья, благополучия и успехов во всех Ваших делах.

Пишите.

Ваш А. Г.

25 ноября 1972 г.

г. Кострома

Дорогой Дмитрий Федорович!

Спасибо Вам за Бугаковскую роспись. Но, к сожалению, она не имеет никакого отношения к нашим, костромским, Бугаковым. Однако, я приобщил её ко всем своим архивам, быть может, и пригодится когда-либо.

В связи с этим я у Вас хочу спросить, из каких материалов Вы черпаете эти росписи? И какая цель была их составлять? Что это за фонд, какого учреждения? И почему только одни имена почти, без указания чинов, и званий, и должностей, и почти всегда без дат?

Это напоминает “Бархатную книгу”, где обычно тоже только одни голые имена, с указанием “у него дети...”. Если это взято из дел департамента герольдии, то там обычно более подробные сведения в родословных.

Я всё продолжаю возиться с Лермонтовыми. Так много их уже у меня, что можно запутаться. Тем более, что документы все почти не подлинные, а копии, и многие сняты очень плохо, то есть переписчики допускали ошибки, и теперь трудно их исправлять. Вот и тут, с одной Лермонтовой, я запутался. Это тётка поэта, Елена Петровна, по мужу Виолева. Что она тётка, это видно из ряда печатных источников, а вот в архиве она пишется дочерью Петра Михайловича Лермонтова, тогда, выходит, она никакая не тётка, а совсем дальняя родственница, да еще из более старшего поколения. Так и с другими. Иногда нет указаний на имя мужа какой-либо девицы из рода Лермонтовых, а как бы это было нужно, ибо могли быть очень интересные родственные связи.

Вот, например, нет имен Назимова, Семичева, Черевина и многих других, которые были женаты на Лермонтовых: Мельгунов, Голостенев и еще другие, а из всех этих фамилий были значительные люди по своему положению.

нию и деятельности. Конечно, можно всё найти, но как много времени надо на такие поиски! Так что еще, видно, долго мне придется возиться с этими Лермонтовыми.

А кому пригодится всё это — вопрос. Однако, я этим не останавливаюсь, мне — как тому еврею из анекдота: “и при деле, и навар остаётся!” Это про того еврея, который торговал вареными яйцами, покупая их по той же цене, что и продавал. И на вопрос: “что же он от этого имеет?” — он отвечал, как я написал выше.

Если Вам что попадется еще, я за все буду Вам благодарен, в свою же очередь, и я, чем могу, всегда рад Вам быть полезным.

Спасибо за привет.

Евгении Петровне и Вам от меня и от М.Г. тоже сердечный привет и пожелания всего хорошего.

Ваш А. Г.

*8 декабря 1972 г.
г. Кострома*

Дорогой Дмитрий Федорович!

Ваше письмо от 5/XII получил и благодарю Вас за сообщение о прабабушке М.Ю. Лермонтова.

Может быть, Вы знаете и фамилию его бабушки? Я никак не могу у нас, здесь, разыскать её фамилию, но и надежды еще не потерял. Вы пишете про “Чёрный стан”. Мне известен таковой, он находился в Любимской округе; в XVIII веке, до 1796 года кажется, Любимский уезд Ярославской губернии входил в состав Костромской губернии. И мне часто попадаются бумаги, купчие и прочие документы, где указываются поместья Любимской округи, Чёрного стана. А близко Галича, насколько я знаю, Чёрного стана не было. Часть этого Чёрного стана потом вошла в самые западные куски Буйского и отчасти Костромского уезда. А Боборыкины были как раз не Костромского уезда, а Любимского, Ярославского, Даниловского уездов. Впрочем, есть такая книга “Старинные волости и станы Костромской губернии”, при случае еще разок проверю, но думаю, что у Галичского озера этого Чёрного стана не было. Кстати, нет ли в Вашем “талмуде” чина или звания Боборыкина, отца этой Анны Ивановны Лермонтовой?

Про Солтановское восстание в поместье Грибоедовой здесь в архиве есть самые подробные сведения, подлинное дело о восстании этом.

А про Пасынковых я могу написать, что был в 1805-1815 годах губернатором в Костроме Н.Ф. Пасынков, бывший моряк, участник многих плава-

ний и сражений; его отец был Федор Иванович Пасынков, род. в 1720 г., в 1785 году имел чин генерал-цейхмейстера, в 1768 г. управлял в Сибири Каменскими заводами (на Алтае). Умер в 1802 году. У него было три сына, и все моряки.

Судьба Николая Федоровича Пасынкова была печальна. Он был губернатором в Костроме в самое трудное время, во время Отечественной войны, положил много усердия в снаряжении и отправке Костромского ополчения; в 1815 году, по ряду доносов на него ревизиющему Костромскую губернию сенатору Алябьеву (отцу композитора), был “снят с работы” с преданием суду. Много на него наклепали несправедливого, главная же его вина была в том, что он жил “не по средствам” и занимал деньги у костромских купцов, что было признано как взяточничество. Он умер от расстройств, не дождавшись суда. Его жена была из рода Кологривовых, их поместье главное было “Паникарпово”, вёрстах в 40 от Костромы по пути к Галичу. Имение было взято в опеку; после снятия Н.Ф. с должности опекуны довели имение до разорения, а крестьян до полного обнищания, что и привело к бунту.

Впоследствии, примерно с 70-х годов XIX века, этим поместьем владели Трухины; последний из них, бывший генерал советской армии Фёдька Трухин, награжденный не одним орденом Красного знамени еще в Гражданскую войну, в эту войну изменил родине и перешел на сторону немцев вместе с генералом Власовым и был повешен в конце 1945 года вместе с Власовым и другими изменниками.

То, что Вы пишете насчет “краеведческого комитета”, интересно, и хорошо было бы, если бы таковой организовался. И я на Вас ничуть не в претензии, что Вы упомянули моё имя Вашему знакомому в связи с этим делом. Буду рад сотрудничать с ними. Все мои статьи приняли в “Ученые записки”, про которые я Вам писал, кроме “Княжны Таракановой”. Но и эту, как будто бы, хочет взять журнал “Наука и религия”, только они просили меня несколько переделать статью, дав ей “антирелигиозный оттенок”, чего в моей статье нет, да по-моему, и не должно бы быть. Но, видимо, придется потрудиться и переделать слегка по их указаниям. “С волками жить — по волчьи и вить”, — так говорит мудрая пословица.

Мария Николаевна возвратилась из своей командировки “в няньки” и приступила к работе над ревизскими сказками 7-й ревизии, и Вы, видимо, будете иметь от этого некоторый “навар”¹³.

А я все никак не могу поставить точку на Лермонтовых. Хочется дознаться, как и при каких обстоятельствах они растеряли свои имения. Ведь владения Лермонтовых в XVIII — первой четверти XIX века только в нашей губернии были огромны! Пока только ясна судьба Острожникова и Колоти-

лова, а ведь были только в одном Чухломском уезде, не считая Галичского, Буйского, Кологривского, Кинешемского и Костромского уездов, еще такие роскошные усадьбы, как Ивановское, Давыдовское, Юркино, Нескучное, и все пошло прахом. Последние костромские Лермонтовы были вовсе нищие, жили на грошное жалованье.

Еще интересно, что из жалованных царем Михаилом Федоровичем селений только одно Острожниково сохранилось в роду Лермонтовых, а все остальные деревни перешли в другие руки. А богатство, помимо женитьбы на очень богатых невестах (Коптевы, Перфильевы, Юшковы), — образовалось, главным образом, от винных откупов, которыми очень счастливо занимались Николай Петрович Л., и его вторая супруга, и их сын Василий Николаевич со своей женой Верой Васильевной, внучкой адмирала Мартьяна Яковлевича Сисягина.

А вот Павлу Петровичу Л-ву винные откупа не пошли на пользу. Вообще, его личность вызывает большую симпатию. Пережил 4-х царей и цариц, имел больше десятка детей, и внуков поменьше, всех их похоронил и умер в возрасте 91 года.

Вот так и хочется побольше насобирать всяких данных, все это интересно со всяких точек зрения. И преступники из Лермонтовых были, да еще какие! Только сумели уйти от наказания.

Вот на этом надо и точку поставить.

Привет Евгении Петровне и Вам от нас обоих.

Ваш А. Г.

*22 декабря 1972 г.
г. Кострома*

Дорогой Дмитрий Федорович!

Спасибо Вам за уточнение сведений о прабабушке Лермонтова. Это всё мне пригодится.

А прежде всего, очевидно, пришло время для поздравления уважаемой Евгении Петровны и Вас с наступающим новым 1973-м годом.

Желаю Вам обоим хорошего здоровья и успехов во всех Ваших трудах. А также, чтобы новый 1973-й год не был таким гнусным, как уходящий 1972-й.

Вы пишете про бунт крестьян в Солтановском имении Н.Ф. Грибоедовой. У нас, в Костромском архиве, есть много архивных материалов по этому делу, есть и имена главных участников и организаторов бунта, есть и

приговор, но это все давно уже многими исследователями неоднократно просмотрено и, вероятно, где-нибудь было в своё время опубликовано, так что вряд ли сейчас стоит заниматься этим делом. Есть много “темных”, то есть никем не обследованных дел, в частности, по Чухломскому уезду; например, дела князей Шелешпанских, или дело Шипова, или того же И.Ю. Лермонтова, также Ермолаева — все эти люди являлись какими-то вырожденками среди того круга обычно жестоких и взбалмошных людей.

Спасибо Вам также и за справки о Вяземских, но все упомянутые в Ваших справках селения не имеют отношения к Красненскому имению.

А я недавно нашел один документик по части Красного, но еще за многими делами его не прочитал и не переписал, но сделаю это в ближайшие дни.

Я тоже думаю, что мало для Вас полезного найдется в Военно-историческом архиве. Ведь, по-моему, самое интересное — это послужные списки офицеров и генералов, а раз их там нет или трудно найти, то другое, вероятно, интересно лишь для специалистов-военных. Иное дело ЦГА ВМФ. Там фонд №1406 целиком состоит из послужных списков морских офицеров и адмиралов, и там можно найти земляков наших и других лиц, к которым имеется интерес. Я оттуда почерпнул немало для себя интересного.

Мария Николаевна усердно занимается с ревизскими сказками по парфеньевской части Кологривского уезда. Работает так усердно, что на днях с ней сделался обморок!¹⁴ Я ей советую не так усердно заниматься, ведь это не к спеху. Вчера она дала мне на просмотр свою тетрадь, она весьма подробно выписывает данные по всем деревням этого района, но, к сожалению, ревизские сказки 1, 2 и 3 ревизии в архиве по Кологривскому уезду отсутствуют вообще, а по 4 ревизии поражены грибок, так что не могут выдаваться читателям. Так что её изыскания имеют началом лишь 5 ревизию, то есть 1795 год и более позднее время.

Собранные ею сведения весьма подробны, и для меня тоже представляют некоторый интерес, ибо из них можно выловить кое-что, касающееся генеалогии, а именно генеалогия некоторых фамилий меня интересует. А я к её тетради сделал маленький “комментарий”, в части тех лиц, которые чем-либо сделали заметным своё имя в истории нашей родины и чьи вотчины и поместья были расположены около Парфеньева. Конечно, мои сведения далеко не претендуют на исчерпывающую полноту, я знаю далеко не о всех и лишь кратко написал, чем то или иное лицо было известно.

А ей, Марии Николаевне, эта работа очень нравится, она, как и мы с Вами, “заболела” архивной лихорадкой.

О существовании Чёрного стана на северной стороне Галичского озера у меня сведений нет, да я и думаю, что там такового и не было, иначе мне

бы встретились указания на этот стан в купчих, завещаниях, владенных и других актах XVII-XVIII веков по Галичской округе.

Однако, Чёрный стан только проходит по Любимской округе. Если еще попадется что-либо, то не премину Вам сообщить. Сейчас я просмотрел все акты по 1783 год включительно и там такого стана по Галичской округе не встречал.

Вот теперь можно и точку поставить, распростившись с Вами до следующего письма и пожелав Евгении Петровне и Вам доброго здоровья и всякого благополучия.

Ваш А. Г.

10 января 1973 г.

г. Кострома

Вот пришел и новый, 1973-й год, дорогой Дмитрий Федорович, и прибыло Ваше первое в этом году письмо.

Каков же будет этот новый год? Пока хорошего видно мало, снегу и у нас нет совсем, поля голые, а это, если начнутся морозы, снова грозит урожаем.

Туговато нам всем будет, если повторится такой же неблагоприятный в смысле урожая год. А это вполне возможно. Вспомним время царя Бориса, ведь три года подряд были такими, что с хлебом было туго, и это не в малой степени послужило причиной трагической смерти его и его семьи. Но будем надеяться, что времена Борисовы не повторятся!

Мария Николаевна всё трудится с ревизскими сказками, говорит, что она все это делает для Вас, а что Вам все эти её записи дадут? Вообще-то, проделанная ею работа представляет ценность для историков, занимающихся временами крепостного права, но много ли таких ныне? Всё внимание обращено на период после 1917 года. Говорит, что она для Вас уже имеет сведения более чем о 100 кологривских помещиках.

Мои дела продвигаются помаленьку, всё, что можно найти у нас в Костроме про Лермонтовых, мне думается, я если не прочитал, то в ближайшем будущем прочитаю. Осталось сравнительно немного. Очень много я узнал, читая купчие XVIII и начала XIX века, и жалею, что не смогу всего использовать. После долгих поисков мне, наконец, попалась и купчая деда поэта, Петра Юрьевича, на продажу его поместья некоему бригадиру Радилову. Было это в 1795 году, а жил в поместье дед поэта вовсе не в родовых, жалованных от царей усадьбах (имею в виду Кузнецово, Острожниково и др.), а в ус. Воронино; этой усадьбы уже не существовало к 1874 году, а деревни, к ней принадлежащие, и поныне стоят. Это — Починок Елизаров

и Бараново, и находятся они в пределах теперешнего Парфеньевского района, недалеко от станции Николо-Полома, на реке Шуе. А “дошли” эти деревни и усадьба к деду Лермонтова от его родной тётки, Феклы Петровны, бывшей замужем за которым-то Шиповым (пока еще не установил, за каким именно Шиповым). Про эту Феклу Петровну я раньше и не слышал. Вот так делаются находки.

Многое проясняется и в родословной всех Лермонтовых и обнаруживаются ошибки; даже сами Лермонтовы в своих родословных, публиковавшихся в своё время, делали ошибки, перевирали имена и фамилии, в общем, плохо знали своих предков, а уж Михаил Юрьевич — тот и вовсе мало знал об этом, кроме того, что его какие-то предки были шотландцами.

Особенно много неверного во всех публиковавшихся статейках и заметках Ивана Николаевича Лермонтова, жившего в Воронежской губернии. Интересно, что Лермонтовы были в родстве со многими знатными, богатыми и известными фамилиями, напр. Барш, Мельгуновы, Семичевы, Свиныны, Коптевы, Борноволокны, Перфильевы, Кафтыревы, Шиповы, Готовцевы, Борщевы, Черевины, Фон-Дервиз, Сипягины (через Слащевых), Катенины и другие. Про некоторых — Коптевых, Борноволокных, Перфильевых — можно много бы написать.

Теперь еще пару слов о Жоховых. Дм. Ник. Жохов снова мне писал, что Вы, якобы, к нему обращались с какими-то просьбами о сведениях о его дяде, Михаиле Федоровиче. И это ему, вроде, как бы неприятно, и он недоумевает, зачем Вам нужны все сведения о Жоховых? Он спрашивал меня, ибо знает о нашем с Вами знакомстве, но что я могу ему сказать? И еще: Вы недоумеваете, каким образом этому Дмитрию Николаевичу приходится прадедом капитан I ранга и кавалер (Георгия) Гаврило Иванович Невельской. Посылаю Вам схему родства этого, из которой Вы сможете все уяснить. Дело в том, что отец Д.Н. Жохова был женат на своей же двоюродной сестре, а эта-то сестра и была внучкой Невельского.

Затем еще прошу извинения: я малость поднаврал в той родословной Жоховых, что Вам посылаю осенью. А именно, в части этой самой внучки Невельского, или, вернее, не внучки, а дочери. Я указал, что женою Михаила Федоровича Жохова (того самого, которым Вы интересуетесь) была дочь Невельского, а надо было указать эту самую дочь не женою №6, а женою №3 — штабс-капитана Михаила Яковлевича. Очень прошу извинить меня за такую ошибку, для меня она просто непростительна. Это такая небрежность с моей стороны, что я просто чувствую себя виноватым.

Теперь про живущих в Кологриве потомках Жоховых. Это могут быть потомки другой ветви Жоховых, также живших в самом Кологриве в XIX веке; но те Жоховы, про которых мы с Вами имеем переписку, их даже не

признавали за свою родню и с ними “не водились”. Почему — не знаю уж. И еще были Жоховы в Макарьевском и даже Чухломском уездах, все они — побеги от одного корня, Родиона Квашни, но между собою не имели никаких общений и даже почему-то недоброжелательно относились друг к другу. Так что вполне вероятно, что те 40 человек, о которых Вам пишет учительница из Кологрива, и есть потомки “настоящих” Жоховых, а не из “мужиков”. Только странно, что их так много. Неужели их не коснулся 37-й год и следовавшие за ним? Ведь “наши” Жоховы претерпели немало и понесли потери в это время.

Теперь еще вопрос к Вам. Мария Николаевна как-то мне сказала, что Вы ей говорили о родстве Лермонтовых с Мещериновыми. Эти Мещериновы ведь её “хобби”. Так какое это могло быть родство? Меня это заинтересовало, но я нигде подтверждения тому не видел. Так что если Вы что-либо знаете, то мне поведайте. С продуктами у нас получше, но плохо с мясными и яйцами, и, конечно, о сгущенном молоке и поминать нечего.

Привет Евгении Петровне и Вам от меня и жены.

Ваш А.Г.

17 января 1973 г.

г. Кострома

Дорогой Дмитрий Федорович!

Вчера отправил Вам письмо, а сегодня пишу вновь, так как получил Ваш недоуменный запрос относительно Сипягиных. Спешу разъяснить. Ваши данные не полны, у вице-адмирала Мартьяна Яковлевича СИПЯГИНА были дети:

генерел-адъютант, орденов российских и иностранных кавалер, Николай Мартьянович,

майорша Елена Мартьяновна, по мужу ЖАДОВСКАЯ, жена премьер-майора Евстафия Семеновича Жадовского,

полковница Матрена Мартьяновна, по мужу Слащева,

девица Авдотья Мартьяновна.

Смотри ГАКО, фонд 121, опись 1, ед. 314, год 1815.

А у Матрены Мартьяновны Слащевой была дочь Вера, вышедшая замуж за Василия Николаевича Лермонтова.

В сообщаемых мною сведениях этих не может быть никакого сомнения, ибо все это многократно проверено по многим письмам и документам. И все указанные лица мне многократно встречались в разных документах. Так что этот вопрос можно считать исчерпанным; Вам только остается вне-

сти дополнительные поправки в Ваши “анналы”.

Сегодня будучи в архиве, Мария Николаевна мне дала прочитать Ваше негодующее письмо, в котором Вы яростно обрушиваетесь на архивных работников. По-моему, зря, так как они совсем ничем таким и не интересуются. И Мария Николаевна по большей части со своими вопросами обращается не к ним, а ко мне¹⁵. Из того же, что Вы пишете Марии Николаевне, я могу только сказать, что про убийство Бестужева решительно нет никаких документов в тех делах, что я просматривал. Облегчила бы поиски — если не самого дела, то кое-чего, связанного с этим делом, — дата этого события.

Относительно Зубовых я с Вами вполне согласен, и сам я никогда не занимался Зубовыми, поэтому и не считаю себя компетентным в зубовских делах. И полагал, что парфеньевские Зубовы не в родстве с известными Зубовыми (Валериан, Платон, Ольга Жеребцова и др). Я только читал, в книжке В. Апушкина, что в Костромской губернии было имение “Новографское”, названное, якобы, так по титулу графа, “Нового”, каким и был во время пожалования графского титула один из Зубовых, кажется, Платон. Но это поместье, как писано в той книге, было не то в Кинешемском, не то в Галичском уезде, сейчас точно не помню.

А вот про Герцена и деньги с его имения Чухломского уезда — Лепихино и другие — то тут документы, хранящиеся в Костромском архиве, гласят, что с момента лишения Герцена прав российского подданного это имение было взято в опеку до совершеннолетия его детей и оброчные деньги взимались Ключаревым (упоминаемым Герценом и Пассек в их книгах) и сдавались в приказ общественного призрения; так было несколько лет, до отмены крепостного права, так что, по-моему, вряд ли эти лепихинские деньги могли быть использованы Герценом на издание “Колокола”. Да я Вам, кажется, присылал все материалы по этому имению, и как оно было “куплено” Герценом у его отца, и вплоть до составления уставных грамот и выкупных платежей. Для меня все это ясно как Божий свет, ибо документы — “первый сорт” и сомневаться в них не приходится.

А в общем, “проверять”, “проверять” и еще раз “проверять” — этот девиз должен быть всегда вспоминаем нами, то есть работниками, занятыми всякими поисками. У Вас горизонты шире, у меня же они ограничены нашим архивом, но в нем бывают такие находки, которых иной раз и в Москве не сделаешь, и это несмотря на то, что архив “ограблен” и вышестоящей Москвой, и недобросовестными исследователями, которые повытаскали многое очень ценное в те годы, когда архивом управляли невежественные неучи и хамы.

Если Вы желаете, я пришло Вам кое-что по родословной Сипягиных и копию одного чудеснейшего документа, указа от 7187* года об отставке Осипа Лукьянова сына Сипягина, прадеда Мартьяна Яковлевича.

На этом пока и закончу.

Пишите, если что Вас заинтересует еще, я всегда с готовностью отвечу на все вопросы, о которых что-нибудь знаю.

Желаю здравствовать.

Ваш А.Г.

*12 февраля 1973 года
г. Кострома*

Дорогой Дмитрий Федорович!

Отвечаю на Ваше письмо от 9 февраля с/г.

Первое: по счастью, я уже нашел документы, указывающие на то, что М.А. Левашова была действительно племянницей М.Ю. Лермонтовой, и Вы все это тоже подтверждаете, стало быть, вопрос с повестки дня снимается. А упомянутая выше тётка М.А. Левашовой, Мария Юрьевна Лермонтова, оставшаяся девицей до смерти, завещала свое солигаличское имение, село Богоявленское, племяннику, Александру Андреевичу Катенину.

Второе: О Тыртове. Тыртовы, а также Тырковы, это старинные морские фамилии, и даже одно время морским министром был адмирал Тыртов, но они не костромичи, поэтому про них у меня не выписано никаких сведений. Если Вы знаете имя искомого Вами Тыртова, то нет ничего легче, как справиться о нем в “Общем морском списке”, он имеется вблизи Вас, в Исторической библиотеке.

О Молчанове. В Костроме был род Молчановых, в конце XVIII и начале XIX века это был Ларион Васильевич Молчанов и его потомство. Богатейшие помещики, их владения были большею частью в Галичском уезде, но были и в Буйском, и в Нерехтском и др. Александра Ларионовна Молчанова (ум. в 1824 году) была замужем за А.Ю. Пушкиным, крестным отцом поэта, и по случаю этой женитьбы Пушкины переехали из Тамбовской губ. в Костромскую, получив от Молчановых усадьбу Новинки в Кинешемском уезде, а уже потом А.Л. Пушкина купила Давыдково. Молчановы занимали в XVIII и начале XIX века многие выборные дворянские должности в уездах Костромской губернии. Возможно, ввиду родства Молчановых с Пушкиными, упомянутый Вами Молчанов был из костромских. У Александры Лари-

* 1679. (Прим. публ.)

оновны были братья, их имен на память не могу сказать, а под рукой нет.

Теперь о материалах ревизий. Конечно, теоретически возможно все материалы ревизий переснять на микропленку, и постепенно эта работа будет делаться, но до ревизских сказок дело дойдет разве что в 2000 году. А заказать за Ваши деньги, хотя и возможно, но это будет очень дорого стоить, ведь это огромное число листов (много тысяч) по каждому уезду, а Вы желаете иметь по многим уездам. Не проще ли выписать от руки — ведь по каждому уезду не так-то много их, не более 200 фамилий и имен, исключая Галичский уезд, который был “до отказа” насыщен мелкопоместными дворянами, а для того есть алфавитные списки не только по ревизиям, но и по каждому рекрутскому набору. Там есть и чин, звание, ФИО, число душ, селение и проч.

Спрошу Марию Николаевну при первой встрече, вела ли она разговор о пересъёмке на фильм¹⁶, но, по-моему, это слишком громоздко.

Вот пока и все. Собираемся в марте в Москву, но не ранее 20 числа.

Если приедем — обязательно сперва Вам позвоню, а потом и навещу Вас. Привет Евгению Петровне.

Желаю всего доброго.

А.Г.

25 февраля 1973 г.

г. Кострома

Дорогой Дмитрий Федорович!

Во-первых, спасибо за присланные сведения о трёх Григоровых. Если еще будут попадаться, то прошу и впредь не оставить меня в неведении, буду весьма благодарен.

Во-вторых, Ваше предложение о переписке алфавита я, конечно, передам в архив, но уверен, что никто за это не возьмется из архивных работников. В отношении же оплаты, то тут я даже не представляю себе, сколько может стоить такая работа, этот алфавит имеет страниц около 500.

Я бы сам с удовольствием взялся для Вас сделать это, тем более, что и себе бы мог оставить копию, но это ведь займет очень много времени. Я полагаю, что мог бы переписать по одной букве в день, начиная с “А”. Но я не могу работать каждый день, и поэтому такая работа у меня растянулась бы на целый год.

У меня есть списки помещиков, но только тех, кто проживал в своих имениях, а тех, кто не жили, у меня нет, и я бы мог Вам постепенно пересы-

лать по частям. И, кроме того, у меня только дворяне, да еще записанные в костромские родословные книги.

Подумайте над этим; если Вас это устроит, то помаленьку могу Вам пересылать.

Я сейчас обрабатываю свою работу, что начерно сделал за месяц в архиве. Будет алфавитная картотека более чем на 2500 имен, за время с середины XVIII века, и даже несколько ранее, и до Крымской войны. Будут сведения о всех войнах и участии их в известных сражениях, сподвижники Суворова, Кутузова, Ушакова и других. И еще — все данные о жестокостях помещиков с крепостными людьми. А вот я так и не нашел ни одного случая убийства помещиков в Кологривском уезде, кроме давно мне известного убийства помещика Левских. И это несмотря на то, что нашел циркуляр МВД о том, что всякое убийство своего помещика крепостными ОБЯЗАТЕЛЬНО должно проходить через руки губернского предводителя, и я теперь просмотрел подряд все дела предводителя с 1785 по 1855 год.

Вот что я и хотел Вам написать.

Засим — до свидания.

Желаю успехов в трудах и Евгении Петровне и Вам желаю доброго здоровья.

Ваш А. Г.

*6 марта 1973 г.
г. Кострома*

Дорогой Дмитрий Федорович!

Ваше письмо от 1 марта я получил. Что же я могу Вам написать относительно помещиков? У меня есть много данных, но картотеку дворянскую, на 4586 имен, я уже два года как отдал в архив. Нынче, когда я разрабатывал в архиве фонд 122 “Губернского предводителя дворянства”, я составил еще одну картотеку, на 1543 имени, но это только те помещики, которые проживали в своих имениях и участвовали в общественной жизни губернии, то есть принимали участие в дворянских выборах и занимали какие-либо выборные должности в уездах и губернии.

Но Вам эту картотеку я дать не смогу, так как её у меня заберут на днях. По этой картотеке я составляю сейчас списки костромичей — участников всех войн, начиная с 1727 года и кончая Польской войной 1831 года, то есть за сто лет.

Опять-таки, это только те, кто живыми вернулись с войн (многие ранеными) и остатки своих лет провели в своих имениях. Уже составил спи-

сок на участников войны 1812-15 гг. (120 человек) и Семилетней войны 1756-63 гг. (80 с лишком лиц).

Вот эти списки я смогу Вам дать на какое-то время, или прислать, или когда приеду, то привести с собой. И еще могу захватить много разных списков, копии которых у меня остались от прежних работ.

Может быть, Вам это все и поможет пополнить Вашу тетрадь. Я эти списки составлял на основании послужных списков офицеров, которые находил в делах. И еще — список помещиков, которые были уличены в жестокостях по отношению к крестьянам, тоже около 100 имен за время преимущественно перед реформой 1861 года.

А что можно извлечь из ревизских сказок? Конечно, там можно найти интересные данные о наследовании, ибо указывалось, от кого и почему “дошли” крестьяне тому или иному владельцу, данные о переводе крестьян из других губерний и в другие, о рекрутчине и так далее, но это годится разве кому-либо для диссертации, которая затем будет вечно лежать, никем не тревожимая.

Среди много другого, мне попались при разборке архивных дел вот такие штучки: “Дело о сечении городничим унтер-офицерской вдовы”. Это, по моим догадкам, могло послужить Гоголю материалом для того местечка “Ревизора”, где он вспоминает о высеченной им унтер-офицерской вдове и решает сказать “ревизору”, буде это дело дойдет до него, что “она сама себя высекала”. Так как дело о сечении унтер-офицерской вдовы Варнавинским городничим (имена их: унтер-офицерская вдова — Устинья Кузьминична Семенова, а фамилия городничего — Панышин) рассматривалось в Костромской палате суда, а в то время там служил А.Ю. Пушкин, крестный отец и двоюродный дядя поэта, а сам сюжет “Ревизора” был подсказан Гоголю А.С. Пушкиным, то, возможно, что и этот эпизод Гоголь услышал от А.С. Пушкина, а последний — от своего родственника, встречавшегося с поэтом в те годы. “Ревизор” писался с 1834 по 1836 гг., и именно в это время А.Ю. Пушкин служил в Костромском суде. Конечно, это только моя догадка, но весьма правдоподобная. Ибо я все-таки думаю, что “сечение унтер-офицерских вдов”, все же, не было столь обыкновенным занятием городничих, чтобы встречалось во всех городах. Еще я Вам могу дать список наиболее жестоких помещиков нашей губернии за 20-е - 60-е годы прошлого века, это тоже я выбрал из документов предводителя дворянства.

Также “добрался” до фонда Катениных. Там оказалось, среди прочих, жалованная грамота Великого князя Дмитрия Юрьевича (Шемяки), данная первому известному предку Катениных на поместье Клусеево, датированная 1446 годом; дана она была в г. Угличе, где княжил этот Шемяка. И еще там есть список “галичских детей боярских” и новиков, это XVII век,

там все парфеньевские, чухломские и прочие помещики тех лет, имен около 80-ти. И полная родословная Катениных.

Вообще, много интересного, но про Павла Ал-дровича Катенина немного, в основном о его делах как помещика, то есть межевые акты, променные грамоты и прочая дребедень. Есть опись вещей его имения Колотилово, ведь он был и умер бездетным и имение было взято в опеку.

Вот так и копаюсь в “пыли веков, отряхивая её от хартий” и иногда “правдивые сказания переписывая”.

Интересно, но, может быть, иным и кажется ничемным занятием, а мне так дает удовлетворение, и как-то отдыхаешь от всех мерзостей наших дней, теперешних газет, кинокартин и прочего.

На этом и поставлю точку.

М.Г. благодарит за память и привет и, в свою очередь, отвечает Вам тем же, к чему и я присоединяюсь.

Ваш А.Г.

*14 марта 1973 г.
г. Кострома*

Дорогой Дмитрий Федорович!

Получил Ваше письмо от 11 марта и сейчас же отвечаю, но это, наверное, уже будет последнее письмо перед отъездом в Москву, который намечается числа 23-24, если все будет благополучно. Дело в том, что я, как назло, за последнюю неделю немножко расхворался и даже никуда не мог сходить покопаться в “пыли веков”. Надеюсь, что все же к назначенному времени отъезда все пройдет.

Насчет “унтер-офицерской вдовы”: ведь я и не утверждаю, что это все было именно так, только высказываю свое предположение, потому что многое наводит на это. Но пусть это будет и не так, тогда придется допустить, что “сечение унтер-офицерских вдов городничими” в николаевское время было обычным явлением, что мне кажется все-таки преувеличением.

А что касается до Ал-дра Юрьевича Пушкина, то он был Ал-дру Сергеевичу действительно по линии Пушкиных четвероюродным братом, а по линии Ганнибалов троюродным дядей, но сие не суть важно, а важно то, что, по свидетельствам современников, в числе коих был и П.А. Катенин, между поэтом и нашим костромичем Ал-дром Юрьевичем имелась связь и поддерживались родственные отношения. Это подтверждают и потомки Пушкиных, в частности Татьяна Львовна Пушкина, ныне живущая в Ленинграде, с которой я иногда переписываюсь. Так что поскольку А.Ю. Пушкин слу-

жил в Костромском суде именно в те годы, когда создавался “Ревизор”, то все это, на мой взгляд, выглядит достаточно достоверно. Но если это и не так, то я ничуть не огорчусь, так как не все ли равно, где секли бедную вдову: в Варнавине ли, или в Пошехонье, или ином месте? Что же касается до самого “Ревизора”, то недавно я читал исследования какого-то подобного мне энтузиаста своего края, что прототип Хлестакова подвизался в гор. Устюжне, Новгородской губернии, и именно оттуда он был списан Гоголем. Но все это не существенно, а просто, по-моему, пустяки.

А вот что П.А. Катенин знал Юрия Алексеевича, а не Александра Юрьевича Пушкина, то я тут сомневаюсь, ибо Юрий Алексеевич умер, когда П.А. Катенин еще пешком под стол ходил, что же касается до его знакомства с Александром Юрьевичем, то оно подтверждается рядом писем и бумаг Костромского архива.

Теперь об архиве Катенина. Там почти все материалы касаются Александра Андреевича Катенина, бывшего генерал-губернатором в Самаре и Оренбурге, а про П.А. Катенина только вскользь упоминается (имя Павла Андреевича) в разных имущественных документах, по размежеванию земель и т.д.

Я привезу Вам самую древнюю родословную и ряд жалованных грамот этого рода, Вы из них сможете себе выписать все, интересующее Вас. Также и список “боярских детей”, головою которых был Катенин; без даты, но её можно найти по имени этого Катенина, так как известно, в какие годы он жил. И захвачу всю опись Катенинского архива — посмотрите и её. На все это у Вас времени достанет, так как я оставлю все эти бумаги на некоторое время, ибо думаю, что пробудем в Москве с месяц, а ведь еще хочу съездить и в Ленинград, и в Тулу, если хватит сил (и денег). Да и в Москве хочется повидать многих.

Так, значит, Мария Николаевна меня предупредила¹⁷, я хотел сам Вам привести и подарить на память книжку про окрестности Щелькова.

Большое спасибо Вам за сообщенные сведения о Григоровых. Хотя упомянутые Григоровы и не из нашего рода, но я про этого Алексея Петровича уже имею кое-что, ибо его отец и мать, кроме Владимирской губернии, имели немало владений и в Костромской губернии, и все это, что Вы сообщаете, мне пригодится.

Хотел сделать Вам схему родства Пушкиных-Ганнибал, чтобы ясна была степень родства Ал-дра Юрьевича и Ал-дра Сергеевича, но, думаю, что Вам и так она ясна. Общій предок: стольник Петр Петрович, род. 1644.

Его дети:

Федор Петрович, 1684-1728.
Жена Ксения Ив. Коренева.

Александр Петрович, р. 1686.

Алексей Федорович, 1717.
Жена Сарра Юрьевна Ржевская.

Лев Александрович, р. 1723.

Юрий Алексеевич р. 1743.
Жена. Над. Герас. Рахманинова.

Сергей Львович, р. 1770.
Жена Надежда Осиповна Ганнибал.

Александр Юрьевич 1777-1854.
Жена Александра Ларионовна Молчанова.

Александр Сергеевич 1799-1837.
Жена Наталья Николаевна Гончарова.

Ганнибал: Абрам Петрович.

Осип Абрамович, жена Мария Алексеевна Пушкина, дочь Алексея Федоровича

Надежда Осиповна, замужем за Серг. Львовичем Пушкиным.

На этом и закончу, пожелав Евгении Петровне и Вам самого лучшего здоровья и всякого благополучия.

Ваш А. Г.

¹ «Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских».

² Пенсия А.А. Григорова в то время — 57 рублей.

³ Евгения Петровна, урождённая Головина — первая жена Д.Ф. Белорукова.

⁴ От А.А. Григорова и его жены Марии Григорьевны, урождённой Хомутовой.

⁵ Георгий Иванович Лебедев (30.11.1905 - 28.05.1988) — директор Чухломского музея в 1934-1975 гг.

⁶ Центральный государственный архив военно-морского флота.

⁷ Мария Николаевна Соловьева (1912-1996) — учительница математики и физики, работала в сельских школах области и в Костроме. Окончившая Парфеньевскую школу в 1927 году. Для «своего собственного удовольствия» (из письма М.Н. Соловьевой Д.Ф. Белорукову, 1972) работая в Костромском областном ар-

хиве, помогла Белорукову, выясняя и собирая по его просьбе различную информацию, в том числе и у А.А. Григорова.

⁸ Мария Григорьевна Григорова.

⁹ Первый выпуск “Краеведческих записок” Костромского музея-заповедника вышел в 1973 году.

¹⁰ Правнук А.А. Григорова — Саша Маслов (род. 24 апреля 1972 г.), внук младшей дочери, Любви Александровны.

¹¹ Центральный государственный военно-исторический архив.

¹² Условное наименование греческих островов в Эгейском море.

¹³ Из письма М.Н. Соловьевой — Д.Ф. Белорукову, 1972 г.: “У меня сейчас выписано по 4 ревизиям около 70 помещиков, я тебе потом их перепису. (...) Потом посоветуюсь с Александром Александровичем. В архиве работает дядечка из ж. “Наука и религия”, что-то пишет об Островском и всё обращается к Григорову, а тот ведь всё знает”.

¹⁴ Из письма М.Н. Соловьевой — Д.Ф. Белорукову, 10.02.1973: “Я просмотрела с 5-й по 10-ю ревизии, 25 единиц. Это толстые книги, которые до 40 см толщиной, их с трудом тащили мне...”

¹⁵ Из письма М.Н. Соловьевой — Д.Ф. Белорукову, 1972 г.: “Получила все твои письма. Ходила в архив, вызвала самого компетентного,

на мой взгляд, исследователя — Григорова, разговаривала с ним обо всех этих “домыслах”. Он мне сказал, что Зубовых не знает и сказать ничего не может о них, и что об убийстве у Ефремыя нигде не написано это точно, он читал, где это могло быть отражено. В отношении Герцена хотел мне дать материал, где он лишается всех деревень, которые передаются в какой-то совет, откуда деньги выдавались детям его”.

¹⁶ Из письма М.Н. Соловьевой — Д.Ф. Белорукову, 1972 г.: “Теперь о фотокопиях для тебя. Такой вариант, мне кажется, исключается. Это очень большой труд, и они не согласятся. Несколько лет Кологривский музей просил снять для них фотокопии каких-то документов УКома, добился с трудом. Для меня они сняли одну статью о Казанкове, так несколько месяцев тянули, и статья-то маленькая”.

¹⁷ Из письма М.Н. Соловьевой — Д.Ф. Белорукову, 1972 г.: “А Григоров сейчас работает в архиве по-настоящему, над какими-то персональными делами, я не поняла даже, в читальном зале он уже не бывает. Сегодня он подарил мне книжечку, которую они с Бочковым (работник архива) написали, под названием “Вокруг Щелькова”, очень большой материал изучен и представлен в экой маленькой книжонке, очень интересная, если хочешь почитать — с удовольствием вышлю тебе”.

*Публикация и комментарии
А.В. Соловьевой.*

Д.Ф. Белоруков

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Публикуемые ниже отрывки из воспоминаний Дмитрия Федоровича Белорукова (1912-1991 гг.), представляющие собой завершённые по форме рассказы, с новой стороны открывают для нас их автора, известного в основном как краевед и своеобразного живописца. Теперь выявляется другая грань творчества Д.Ф. Белорукова — как талантливого писателя-мемуариста. В этих рассказах, написанных на склоне дней, он вспоминал свое детство — посад Парфеньев 10-20 годов XX века, родной дом, семью, колоритные образы земляков-парфеньевцев. Часть этих рассказов публиковалась в последние годы в журнале “Губернский Дом”, с другими читатель встретится впервые. В целом данная публикация является наиболее полной подборкой рассказов Д.Ф. Белорукова.*

[НАШ ДОМ]

Чем ближе подступаешь к рубежу, именуемому “кануть в вечность”, тем чаще и чаще вспоминаешь свои прожитые годы.

Раннего детства я не помню. Видимо, мозг мой начал запечатлевать все слишком поздно. Но все мои детские годы связаны с Парфеньевом. Двухэтажный дом наш в слободе, обшитый тесом, выкрашенным в зеленую краску, стоял против переулка, сейчас называемого Нейским. Напротив стояла маленькая белая кирпичная часовенка. Не знаю, в честь какого события она была поставлена. Говорили, что когда-то был большой пожар в Парфеньеве, все выгорело, кроме слободы, и за это благодарные слобожане поставили часовню.

*Белоруков Д.Ф. И оживал по четвергам посад Парфеньев // Губернский Дом. 1997, №1, с. 7-8; Он же. Жили когда-то в посаде... // Губернский Дом. 1998, №4, с. 29-33.

На четырех сторонах часовни были иконы. И мы, мальчишки, часто залезали на железную оградку, которой была огорожена часовня, рассматривали эти почерневшие иконы. Особенно поражала нас икона, на которой был изображен Георгий Победоносец на коне, поражающий копьём змея. Один раз в году летом у часовни служили молебны. Моя матушка всегда выносила для этого стол, покрывала его чистой салфеткой. На стол священник, служивший молебен, клал книгу, крест и др. Вся слобода собиралась на этот молебен.

В доме нашем я помню все комнаты. В нижнем этаже были огромные сени с чуланами, бокоушками и ватерами (как у нас звали уборные). Огромная кухня с отгороженной печью — место нахождения всей детворы в зимние холодные дни. В углу темный иконостас со старинными иконами. Потом дверь вела в зало, где стоял буфет домашней работы, большой обеденный стол и рядом с ним диван, обитый клеенкой. В углу — иконостас со светлыми блестящими иконами и тремя лампадами. В простенке трюмо. На стенах фотографии, мозеровские часы, до которых нам решительно запрещали дотрагиваться. И в углу печь. Мы, ребятишки, зимой любили лежать перед горящими в ней дровами.

Удивительно было зало. Оно, кажется мне, жило своей жизнью: то было весело, то печально, то торжественно, то таинственно.

Когда в день Страстной субботы мы все вымоемся в бане и с великим нетерпением ждем Светлого Воскресения и когда нас уложат рано спать, чтобы в 12 часов ночи идти в церковь, выйдешь в зало: перед иконами теплятся лампадки, везде прибрано. Тихо. И вся эта торжественность освещения так подействует, что встанешь на колени и начнешь класть поклоны перед иконами. И страшно тебе, и волнуешься, чтобы кто-нибудь тебя не увидел. А в летний день рано утром, когда вся семья сидит за чаем и солнце своими лучами играет с самоваром, радостно на душе. Лениво звонит малый колокол на соборной колокольне. Еще везде на улице разлита ночная свежесть, но солнце начинает проникать всюду, обещая жаркий день, а с ним и купанье в Нее, и прочие ребячьи радости. Особенно в зале было интересно зимой в четверги, когда в Парфеньеве были базары. После базара к отцу приезжало много мужиков. Их угощали и обедом, и водочкой, но нас туда не пускали. Разве пробежишь через зало мимо раскрасневшихся мужиков, беседующих с отцом. Но что тут услышишь?

Рядом с залом была маленькая проходная комнатка — наша детская спальня. У окна стоял письменный стол с ящичками внутри и барьером из маленьких точеных столбиков по трем сторонкам. И эти милые столбики, похожие на солдатиков, были для нас всегда так интересны и соблазнительны, что, я уже помню, их оставалось мало. Как-то незаметно мы привыковы-

ряли их один за другим из их гнезд, и по краю стола было больше гнезд, забитых грязью, чем самих столбиков.

В нашей спальне стоял несгораемый шкаф отца. Это было место нашей постоянной игры: к его холодным стенкам мы прижимались и щеками, и лбами, сидели верхом на нем, умудрялись забираться на него втроем. Но он был молчалив и непоколебим. Иногда удавалось из-за плеча отца взглянуть в его зеленое темное чрево. Когда отец, отодвинув в сторону львиную мордочку, прикрывавшую скважину, повертывал ключ, вечно висевший у него на жилетке, поворачивал блестящую ручку, — раздавался какой-то скрежет, потом пыхтенье, и толстая дверка отходила в сторону. Что было там, внутри этого загадочного шкафа, мы не знали, так как отец, заметив нас, говорил: “Пошли, пошли вон”. И если кто задерживался, чтобы еще посмотреть на черную пасть шкафа, то получал подзатыльник.

Были в этой спальне и еще две соблазнительные для нас штуки. Это отверстие между печью и стеной: там было какое-то пространство — темное и загадочное. И сколько мы ни заглядывали туда, ничего не могли увидеть. Но однажды оттуда вылезла мышь; она села на край щели и стала умываться и, испуганная, опять отпрыгнула туда. Мы так были поражены этой встречей, что тут же побежали на кухню к жившей у нас работнице Катерине-целичихе и все ей рассказали.

— А вы не больно суйте нос туда — может, и он тамо живет.

— Кто он? — И глаза мои расширились от ужаса.

— Кто, кто — маленький, лохматенький. Домовой.

Ужас наш был неописуем, мы боялись идти в спальню даже днем. Мы прижались к Катерине и мешали ей готовить корм свиньям.

— Да что вы, как репы, пристали: куда я, туды и вы. — И она начала собираться во двор к пороссятам. Мы потянулись за ней.

— Куда вы, оглашенные? Зябко там. А вот я матери скажу...

Но мы боялись остаться одни...

Второй знаменитостью нашей спальни была труба в печке, с дверками, открыв которые, можно было вытащить вьюшку, закрывавшую трубу. Вечером матушка здесь, в трубе, часто варила тянучку из сахара и молока. Тянучку варили к вечернему чаю. Взрослые в спальню заходили редко, и мы по очереди лазили в кастрюлю пальцами, слизывая сладкое молоко. Но бывало, что с улицы прибежишь поздно, забежишь в спальню и наведешься в трубу — нет ли там заветной кастрюльки, и впопыхах запустишь туда руку, а труба горячая — обожжешься и дико взвоешь. А за чаем молчишь, и боль в покрасневшем пальце не утихает.

Рядом с нашей спальней была комната отца с большой лежанкой, кроватью, столом между окон и желтым нескладным шкафом. На стене висела

карта России, непонятная и не представлявшая никакого интереса для нас. Эта комната отца была запретный плод для нас. Мы ходили туда только по делу: или носили обед отцу, или он вызывал нас зачем-нибудь. Ну, например, я вызывался туда, чтобы держать сыромятный ремень, когда он разрезал его ножом вдоль; и когда я однажды зазевался в окно на козла, подошедшего к нашему дому, одна рука у меня соскочила с ремня, нож отца съехал в сторону и обрезал тонкий ремешок. Тут же я получил от отца щелчок в лоб: “Ты что, баловник?” После этого я всегда твердо держал ремень, от усердия высовывая даже язык. В углу комнаты отца были навалены в кучу хомуты, шлеи, вожжи, которые он сам чинил. Здесь всегда пахло дегтем. Да и от отца пахло им. И я на всю жизнь полюбил этот дурмящий запах.

(...)

Но если нижний этаж нашего дома был миром будничной нашей жизни, то верхний был праздничным помещением. Еще нельзя не сказать о чуланах в нижнем этаже. Прежде всего, с воспоминаниями об этих чуланах связаны все неприятности в моей детской жизни. Чуланов было четыре. И они, как чиновники в старой России, имели свои ранги. В высшем ранге был крошечный чулан; ключ от него был всегда у матери. В нем хранились покупные товары: рыба, сахар, колбаса и другие соблазнительные и недоступные для нас продукты. Нас в этот чулан не пускали. А если мать и звала с собой кого-нибудь, то мы стояли на пороге, и в чашку она накладывала рыбу, кружок колбасы — уж никак на глазах тут не поживишься.

Рядом был чулан пониже рангом, в нем хранились свои продукты: сухие грибы, клюква, другие ягоды, мясо, и интереса для нас он не представлял. А уж чулан под лестницей, где хранилась мука, крупы, и вовсе был неинтересен. Там на всем лежал тонкий слой муки, оседавшей, когда ее просеивала Катерина.

На стенах сеней приделаны были ящики, в которых хранилась всякая деревянная посуда, бутылки с маслом, не представляющие никакого интереса для нас. Из сеней на второй этаж вела широкая деревянная лестница, из которой была дверь на крыльцо. Лестница была покрашена в темно-коричневый цвет, и интерес в ней представляли только перила, по которым мы, сидя на них боком, съезжали вниз. На верхнем этаже также были небольшие сени, выкрашенные в светло-красный цвет. Здесь тот же чистый ватер, два больших чулана. В чуланах этих стояли сундуки с одеждой; никаких продуктов здесь не было. Это были парадные сени. Летом в чуланы выносили кровати и в них спали. Любил и я спать в этих чуланах. На мягкой кровати под теплым одеялом приятно слушать, как по железной крыше над чуланом стучит дождь. В маленькие окошечки в стене чулана чуть пробивается свет. В одном из чуланов стоял сундук, обитый железом. Когда подни-

мали его крышку, раздавался звон. Иногда мать усаживалась на стуле перед сундуком, открывала его и пересматривала содержимое. Как пропустить этот случай? Мы окружали ее и, не смея сами вытащить что-либо из сундука, с благоговением смотрели на извлекаемые оттуда матушкой вещи, поглаживая их своими руками. А бывало, когда без тебя открывался матушкин сундук, сестры после этого мне говорили:

— А мама сундук открывала, — я всегда горевал.

Меня больше всего интересовали в сундуке вязаные большие салфетки из прочных темных ниток — вот бы на бредень взять, и воображение мне рисовало, как со своим приятелем Костькой мы ловим им рыбу в реке Нее. Из этого сундука извлекался старый зонтик с ручкой из слоновой кости. Он не открывался, но мы не понимали его назначения. В Парфеньеве с зонтиками не ходили. Иногда разве летом на бульваре увидишь какую-нибудь даму с белым зонтиком. Но для чего летом зонтик, когда небо чисто, — мы не понимали...

А летом, когда все содержимое сундуков вынималось, выносилось во двор и сушилось на солнце, для нас был праздник. Особенно мы любили огромную ротонду матери на лисьем меху, покрытую синим бархатом. Она, как стена, висела на веревке, опускаясь до самой земли, и прятаться в нее, уткнувшись лицом в мягкий мех, пахнувший нафталином, было большим удовольствием для нас.

Но вот и комнаты верхнего этажа: гостиная, зало, спальня и комната отца.

Гостиная — строгая комната, оклеенная темно-зелеными обоями. Посредине — огромный стол, покрытый бархатной зеленой скатертью. Мы любили играть в прятки, хоронясь под этот, с толстыми точеными ножками, стол. Длинные кисти скатерти надежно прятали нас. Над столом большая висючая керосиновая лампа с огромным абажуром, унизанным бисером, вечно смущавшим нас своими бликами. И мы много его пощипали с этого абажура. Но уж для нас совсем было непонятно, зачем вверху у люстры в сосуде была насыпана дробь, настоящая дробь. О, если бы нам ее дали для наших самопалов! Ведь ею можно было убить и сороку, и белку. Но она была недоступна для нас.

Кругом стояли венские стулья — коричневые. Интересы они для нас не представляли. Правда, потом я нашел способ их использовать. Я отвертывал великолепные ободья-колеса под ними. И как они катились хорошо! Я мог часами носиться с таким колесом по Полкоушке... Но, увы, однажды в разорении стульев (они разваливались, когда на них садились) я был уличен и выпорот. После этого я довольствовался обручами, снимаемыми с кадок. Кадки текли — меня опять уличили и выпороли. Да эти обручи были

и плохи. Они имели стык-горбик и не так хорошо, как от стульев, катались по земле и норовили всегда свернуть в сторону...

Зала на втором этаже, вся заставленная фикусами, геранью, пальмами и прочими цветами, для нас уже не представляла никакого интереса. Она была парадной, нас туда не пускали. Интересного там ничего не было, только и можно было прятаться за кадками цветов, когда мы, малыши, играли в прятки.

Папину, рядом с залой, комнату я не знаю. Он здесь никогда не жил. Только, когда были гости, здесь играли вечерами в карты. И ничем она не была интересна. Но рядом, через коридор, была маленькая “спаленка”, как ее звали в доме. Здесь помещали заболевших детей. И с ней у меня связано много воспоминаний. Одно окно ее выходило во двор. И заключенный в спаленку ничего интересного из окна не видел. Вдали виднелся бульвар, пожарная каланча, бугры. Но они были далеко.

Помню, как-то ранней весной, когда еще на реке шел лед, мы выкупались в луже у кузниц, и я заболел. Я лежал в спаленке. Матушка неотлучно находилась при мне, забросив все хозяйство, возложив его на Катерину. Та беспрерывно поднималась вверх, чтобы спросить то — то, то — другое. Она подходила ко мне, гладила своей шершавой рукой по голове и тут же, забыв, что сказала мать, опять ее спрашивала.

А к вечеру приходила акушерка Вера Филатовна. Сестра милосердия, в белой накидке, обтягивающей ее худое лицо. Она накладывала мне на ногу, где был фурункул, компрессы, и я с ужасом смотрел, как нога все больше и больше синела. Боли были ужасные, особенно на рассвете. Я метался, порывался чесать фурункул, и матушка с беспокойством следила за каждым моим движением. Я терял сознание, мне казалось, что страшная Вера Филатовна прививает оспу детям. “Зачем?” — кричал я. Потом, после болезни, бледный и худой, тщательно и тепло одетый, я тихо гулял по лугам и берегу Неи.

Для нас, детей, был один искус в доме — чердак. Он был интересен и страшен. За деревянными балками и трубами скрывался полумрак. Везде были развешены веревки для белья, и, если смельчак при игре в прятки прятался на чердаке, никто не решался искать его там.

— Санька, ты на чердаке, выходи! — кричал ему обычно тот, кто водил. И никто б не согласился лезть на чердак.

В ненастные, дождливые дни, когда все дети сидели дома, мы устраивали всякие игры. Взрослые не обращали на нас внимания, так как были в эти дни заняты делом.

А рядом, за домом, — двор, большой, огороженный со всех сторон сараями, хлевами, баней и опять сараями. Этот двор был местом наших сра-

жений и местом игр. Каждый уголок его был известен, и столько здесь было интересных уголков. Двор был населен живыми существами: лошадьми, коровами, поросятами, курами, ласточками. Рядом с домом стоял большой сарай из чистых, выструганных бревен. Он был велик. Из нижнего его этажа на верхний вела лестница. В сарае этом хранились сухие грибы, которые отец скупал у мужиков и баб. Тут стояли большие весы с железными плоскими чашками. Мы любили садиться на них и раскачиваться. В сарае пахло грибами. Они висели и лежали всюду. Их сортировали, зашивали в брезентовые мешки и зимой увозили на подводах на станцию. Сарай пустел, и в нем нечего было делать.

Недалеко от сарая — большая белая баня, как маленький домик с прихожей, с предбанником и самой баней. Баню топили каждую субботу. Нам мыли в коридоре, одевали в предбаннике, и потом мы даже и по снегу бежали босиком домой. Но баня эта один раз в году, осенью, была местом нашего паломничества, — когда в ней располагались шерстобиты и валяльщики валенок. Приходили они, когда землю уже схватит мороз. Мы в то время ходили в школу. Не можешь дожидаться, когда кончатся уроки, — и, пообедав, бежишь в баню.

В бане тепло. К одной из стен пристроен станок шерстобитов. Корытцы из длинных тонких планок, соединенных между собой веревками на манер свертывающейся цинковки, в их падает шерсть. Над корытцем натянута струна. И когда ударят по ней — она звенит. Дядя Егор, худой, с длинной седой бородой, шерстобит, в холщовом переднике, стоит перед станком. Он накладывает в лоток свалившуюся шерсть, закрывая его и струну, и правой рукой, в которой у него смычок, ударяет по струне. Струна дрожит и глухо звенит. Шерсть начинает подниматься и пушиться, делаясь пышной и рыхлой. Мы часами смотрели, как замороженные, на этот процесс. В бане горит семилнейная лампочка, освещающая лицо дяди Егора. Он добрый, гладит своей заскорузлой рукой нас по головкам и часто приговаривает: “Бог вас спаси”. Но его внук Васька, который работает на пару с ним, молодой здоровый краснощекий парень, — наша гроза. Мы прозвали его “кот румяный” за его румяное лицо.

— Пришли, паршивцы, — говорит он нам, когда мы неуверенно пробираемся на лавку в бане — наш наблюдательный пункт, откуда все видно.

— Вот я матке скажу, что вы тута. Уроки, поди, не учены.

Но мы смотрели не на Ваську, а на деда Егора. Раз он молчит, значит, нам нечего бояться, что нас прогонят из бани. Мы чинно усаживаемся на своей скамейке и иногда пальчиками дотрагиваемся до пышной шерсти, лежащей рядом. Ваське скучно. Он размешивает что-то в ведре, запуская туда свои сильные белые руки с закатанными рукавами. Вдруг он смотрит на

меня своими серыми глазами и говорит:

— Ну-ка, беги к Катерине, скажи, что дед Егор пить хочет, он любит молоко. Неси, а то я тебя вон из котла водой с шерстью напою.

Я бегу в дом, говорю Катерине.

— Окстись, да дядя Егор скоромного не ест. Это, наверное, Васька. Воду бы пил, и так, скажи, морду-то наел на хозяйских харчах. Иди, иди прочь! Вот я тебя с Васькой вместе голиком!

Но я пробираюсь к чулану и незаметно беру потными руками кринку с молоком и несу ее в баню. Лицо Васьки расплывается в улыбке. Он, вытерев свои мокрые руки о фартук, берет кринку и своим красным языком слизывает сливки, а потом подает кринку нам:

— Пейте, ребята, пейте, — не кушленное.

Дядя Егор смотрит и укоризненно качает головой:

— Охальник ты, Васька. Бог вас спаси.

— Дядя Егор, а когда ты сапожки будешь делать?

— Погодите, придет, значит, время, и они будут.

— Да без нас не делай, смотри.

— Как же, ждать вас будем, — говорит Васька. — А чему вас учили сегодня?

— Закон Божий, а потом арифметика.

— Арифметика — два медведика. Что это за штука?

— А цифры, их складывать надо, потом вычитать и потом и...

— Потом умножать, — подсказывает брат, — да еще делить.

— Как же это-то, с одной цифрой?

— Как с одной? Их много.

— Да где вы берете их, учитель, поди, в кармане приносит?

— Что ты! Мы их из книжки берем.

— Как из книжки? Я видел книжку, где же лежат они там?

— Да они не лежат, а нарисованы там. Понимаешь?

— Так как же вы их складываете, раз их нет там?

— В уме да и на бумаге, — подсказывает брат.

Мы не знаем, как объяснить Ваське. Незаметно подходит время ужина.

— А ну, будя. Шабаш, — говорит дядя Егор. — Господи, благослови, — крестится он. Потом моет руки в ведре с шерстью, снимает фартук, и все мы идем в дом.

В большой кухне пахнет щами и еще чем-то кислым. Хлопочет Катерина. Она достает из печи огромный чугунок со щами и осторожно вынимает горшочек с ухой из ершей для дядя Егора. На кухне уже собрались рабочие. Конох Панка, молодой мужик, — сидит у порога босой и курит самокрутку.

— Дымищу-то, нечистый, напустил — страсть, — говорит ему Катерина. Она не равнодушна к нему, и всегда закармливает его. Мы видели как-то, как он ее целовал на сеновале, но спросить ее не смеем. Вообще, она ведет себя с нами не как с хозяйскими детьми. Иной раз и отшлепает, если мы надоедаем ей.

Все собрано на стол. Катерина наливает деревянным ополовником щи и ставит огромную миску на стол. Все крестятся на икону, но дядя Егор — больше всех. Он шепчет молитву и потом степенно садится, берет в руки каравай хлеба и режет его большими кусками. Нам тоже дают по деревянной ложке и куску хлеба. О, эти щи, янтарным жиром подернутые сверху, каким предательством они обладают! Зачерпнешь ложку, поднесешь ко рту — кажутся холодными, а под слоем прозрачного жира — кипяток. Катерина своевременно предупреждает нас:

— Подуй на ложку, — рот спалишь.

Но Васька спешит проглотить щи и, скорчив мину, дико вращает обожженным языком.

— Не спеши — не на пожар, — говорит дядя Егор и ударяет по его лбу.

Все едят не спеша. От миски к каждому протягивается след от щей. Капельки жира на столе застыли и побелели. Мне не хочется есть, и я с завистью смотрю, как дядя Егор ест своих ершиков.

— Что, похлебочки-ушицы захотелось? Поешь со мной, поешь. Да что ты скоромной-то ложкой в посудину лезешь! О, Господи, грех с тобой при-мешь... Катерина, дай-ка малому чистую ложку.

Катерина свирепеет:

— Я ему вот под задницу сейчас! Баловники, не дадут и поесть. Только зенки у них не сыты. Ведь еще то ли будут есть. — И она дает мне ложку, и я с опаской тянусь к миске дяди Егора.

— Бог тебя спаси, ешь, ешь, малец. Греховодники, скотинку едят. Грех.

— А ты, дедушка, когда в молодости-то, тоже ел говядинку-то, — говорит Катерина.

— Было дело, молодой был, грешил. А теперь кашу вот, рыбку да грибки — принеси-ка мне, милая, соленьких груздочков.

На кухню входит матушка. Она сурово смотрит на нас, но ничего не говорит.

— Дяде Егору-то дала ли постного-то? — спрашивает она Катерину. — Да масла-то ему постного налей. На-ко, вот тебе, дедушка, селедочки — посолятся. — И она ставит перед ним тарелку с селедкой.

Мы знаем, что покушная и принесла она ее из бочки, которая стоит в чулане высшего ранга, куда вход нам запрещен.

— Да хороши ли щи-то теперь?

— Благодарствуем.

После щей на стол ставят пшеничную белую рассыпчатую кашу, в которую положено нарезанное из щей мясо. В кашу Катерина кладет коровье масло. Васька уже совсем осовел, от еды его серые глазки вот-вот закроются, но он ест и кашу. Потом на стол ставят овсяный кисель с молоком. Его уже никто не ест. А у дяди Егора появляется соблазнительное для нас кушанье — гороховый кисель, нарезанный квадратиками и политый зеленоватым льняным маслом. Он осторожно берет вилкой кусочек киселя и в рот же следом отправляет кусочек мороженого грездя. Мужики, раскрасневшиеся, сытые, усаживаются на корточки у двери и закуриваются.

Приходит мать и уводит нас в залу — ужинать. Мы сидим за столом, но есть нам не хочется. Разве погрызем поджаренную корочку свинины. После ужина мне с братом надо было накормить двух наших собак: Динку и Лыску. Хоть для них еще с осени привезли лошадь и забили и, ободрав шкуру, свалили в сарай, где собаки грызли мясо, сколько хотели. Но каждый вечер мы носили собакам остатки от обеда и ужина. В большую глиняную миску — “поганую”, как звала ее Катерина, — мы сливали из тарелок недоеденный суп, клали кости, куски хлеба и торжественно несли ее во двор. Катерина всегда зорко следила, чтобы мы поганую миску не поставили на стол или чтоб не задела ее руки миской. Тогда она ругала нас и грозила нам ополовником.

Друзья наши во дворе уже повизгивали от радости. Они прыгали нам на грудь, стараясь лизнуть в лицо. А потом выхватывали из дымящейся миски кости, отходили в сторону и грызли их. Сидя на корточках, мы с братом смотрели на собак и гладили их. Динка иногда, когда мы мешали ей есть, ворчала на нас — характер у нее был сварливый. Но зато Лыска — рыжий с белым молодой кобель — был полная противоположность. Он грызет кость; вдруг подскочит и лизнет тебя прямо в губы, а потом опять примется за свою кость.

Они были наши надежные друзья и в наших походах в лес, и на купаньи, и в наших играх. Сколько раз Лыска рвал штанины на мне и не потому, что был зол, а так, из-за своего обиженного самолюбия. Любимой игрой с собаками было бегать по двору, а потом спастись от них, залезая на забор. Динка, когда видела, что мы лезем на забор, фыркала и презрительно отходила. Но Лыска с этим нашим вероломством не мог смириться. Он подбегал к забору, вставал на задние лапы и хватал нас за штаны и часто рвал их. А когда мы торжественно усаживались на заборе, он скулил, ворчал, возмущаясь нашей изменой. Конечно, он бы ничего не имел против посидеть с нами на заборе. Иногда мы затаскивали его на забор. Восторгу его не было

конца. Он лаял с забора на проходивших по улице людей. И сварливая старуха Власиха, жившая напротив нашего дома в маленьком развалившемся доме, грозила нам веником: “Баловники! Вот матери скажу!”

Двор наш, многочисленные сараи, были местом наших игр. Грязные хлевы для коров, лошадей не интересовали нас. Но вот большие сеновалы (повити, как их у нас называли) были и интересны и богаты всяким ненужным хламом, хранившимся там. Особенно один из сеновалов — большой, с высокой двускатной крышей, крытой дранкой. На сеновале был полумрак. Яркий свет прорывался только через маленькие окошечки, вырезанные сверху. И через эти окошки на сеновал летали ласточки. Они вили свои гнезда под потолком и, когда садились кормить своих птенцов, оглашали воздух чирканьем. Здесь им было хорошо: кошка не могла достать их и защищены были они от дождя.

На сеновале, кроме сена, хранилось много всякого хлама: старые санки, бочки, старые столы, ломаные стулья, лавки, шкафы. Летом они заваливались сеном, а к весне, когда сено скармливалось скоту, весь этот хлам торчал обсыпанный ключьями сена. Здесь куры любили вить в потайных уголках свои гнезда. И мы, мальчишки, разыскивали их. Однажды я забежал на сеновал и увидел курицу с желтыми, как комочки, цыплятами. Бегом я пустился докладывать матушке:

— На сеновале желтые цыплята прыгают, да много!

Мать пошла со мной, и мы поймали этих вертлявых, как ртуть, созданий. Снесли их вниз, а за ними спустилась и курица, высидевшая своих птенцов.

Все сараи соединялись между собой, и одной из наших игр было пройти по всему периметру двора, не спустившись на землю. Мы шли по коньку крыши, потом опускались на забор и, упираясь голыми ногами в его острые доски, с успехом совершали это “кругосветное” путешествие. Динка и Лыска сопровождали нас, поглядывая с земли, и лаяли, требуя спуститься.

[ВЕСНА В ПАРФЕНЬЕВЕ]

Бывает в парфеньевской природе известная пора в конце зимы, перед Масленицей, когда леса за рекой покрываются какой-то печалью. Низкое серое небо. Тишина. Как будто вся природа припорошена полумраком. Дороги чернеют от навоза. В это время возят сено из стогов. Короток зимний день. Уже в 3 часа спускаются сумерки. В доме запотелые окна. Пахнет щами — намечается обед.

А в Великий пост, в марте, яркое солнышко уже хорошо пригревает. На крышах подтаивает снег, и к вечеру висят длинные прозрачные сосульки, наше первое весеннее лакомство. Время играть в прыганье с крыш. Забирались на крышу и прыгали в снег. Но бывает, что не можешь вытащить валенки. Тогда босой бежишь за лопатой, чтобы отрыхить сапоги. Еще солнце не село. Воздух чист и холоден. А в церкви звонит малый колокол, сзывая прихожан к Ефимонам.

Событием для малых и старых был ледоход на реке Нее. С утра до вечера на деревянном мосту через реку стоит народ и смотрит, как огромные льдины плывут по реке. Перед самыми опорами моста стоят быки для защиты их от льда, а метров на 100 выше стоят другие, приземистые и широкие, быки — ледорезы. Видно, как из-за поворота реки появляется льдина. Попадет она на бык или нет — думает каждый. По реке часто плыли бревна, и мужики с баграми вылавливали их с моста, вонзая багор в дерево и подводя к берегу. А занятием отчаянных парней было катанье на льдинах. Прямо с моста прыгал смельчак на льдину, а потом где-либо выскакивал на берег.

[ЗАВОД]

Наступало лето, и центр нашей детской деятельности перекочевывал на завод. Завод этот был в 2,5 километрах выше Парфеньева, на реке Нее. Я был поражен видом этой местности, когда 25 лет назад приехал сюда опять. Удивительное свойство имеет память человека, особенно детская память. В моем сознании и сейчас стоит тот завод, тот омут на Нее, каким я его запомнил в детстве. На правом берегу реки стоял двухэтажный большой деревянный дом. В нижнем этаже, основательно ушедшем в землю, пахло землей; здесь были какие-то развалившиеся печки. И тут никто не жил. А в верхнем этаже было три огромных комнаты и две бокоушки. И полы, и стены комнат были окрашены в какой-то темно-коричневый цвет, и здесь всегда был полумрак от зеленых деревьев.

Дом стоял в парке. К самым окнам подступали огромные ели, и ветви берез простирали свои концы на балкон. Но особенно уютен и дик был парк. Заросший березами, черемухой, акацией и малиной, он был местом нашего паломничества. На краю его стояла баня, по нашим понятиям, населенная всякой нечистой силой. И если в парфеньевском доме говорили о домовом, то Катерина всегда добавляла:

- Куда тут, вот в заводской бане...
- А что там? — спрашивал я.
- А ты не был там?
- Нет.

— Ну так и говорить нечего.

Эта недосказанность пугала своей неопределенностью. Бывая в парке, мы со страхом, издали, рассматривали баню. Мыться в ней никогда не мылись, и она стояла заброшенной. Бывало, когда лакомились черемухой, росшей у бани, кто-то из смельчаков подходил к бане, стараясь заглянуть в ее окошки. Мы тогда все с ужасом кричали: “Не подходи!” — и сорвавшись с черемухи, как стайка воробьев, удирали не только от бани, но и от черемухи. И никто в одиночку не ходил ни к черемухе, ни к бане.

Огромные березы росли вдоль берега Неи. Посреди реки был остров, весь заросший ивняком, окаймленный белым песком и щетинкой зеленого камыша. Неисполнимым нашим желанием было попасть на этот дикий остров. Он был необитаем — и в нашем представлении это был остров Рида, Купера.

От дома шла длинная аллея из рябин. Зачем ее насадили? Уж не для настойки ли водки? Сам винокуренный завод уже не работал. Его окна и двери были забиты, и нам было запрещено в него заходить. Но кто не знает, что запретный плод вкуснее. И мы находили какие-то лазейки и проникали в завод. Везде полумрак. Какие-то машины, трубки. Пахнет ржавчиной, и ничего соблазнительного, что можно использовать для наших игр. Но зато нас привлекал флюгер-петушок над крышей завода. Он все время вертелся от ветра, и мы часто заглядывались на него. Рядом с заводом была речка Чернушка — увы, ее уже нет. Сейчас ничего не напоминает о ней — только сухая канавка, а это была речка шириной 15-20 метров, заросшая камышом. По берегам ее росла ельшина. И главное — мы плавали по ней на плоту. Вода в ней была кристально чистая, холодная. Недаром говорят, что когда Александр I был в Парфеньеве, ему понравилась вода из этой Чернушки. Дно в речке было черное, оттого, видимо, и название ее. На берегу Чернушки стоял дом, в котором жил сторож дядя Егор. Мы были ежедневными гостями его. Он сапожничал, и для нас было удовольствием следить за его работой. Когда он своими черными пальцами свивал дратву, мы ждали, не даст ли он обрывочка для наших луков.

Но самым замечательным местом на заводе были кучи битой винной посуды. Открыли мы ее случайно. Кто-то порезал себе ногу, и сестры, чтобы отомстить стекляшке, порезавшей ногу, решили ее побить. Они взяли палку и начали бить по осколкам.

— Да их тут много. Которая, Пашка, тебя обрезала?

Мы подбежали и увидели полную яму с битой посудой.

— А вот стаканчик.

— А это воронки.

Все это было ценностью как посуда для нашей комнаты-клетки, уст-

роенной в непролазных зарослях на берегу речки. Мы все туда стали перетаскивать, все эти богатства.

Летом завод нас так влек к себе, что, проголодавшись, мы все бежали к тетке Арине, жене дяди Егора. Она нам наливала в глиняную миску молока и крошила туда хлеба. И мы ели большими деревянными ложками.

Пугал нас своей загадочной таинственностью огромный омут на реке Нее. Выше завода была плотина. Она была полуразрушена. Самой мельницы уже не было, ее место заросло тальником. Но посередине реки еще стоял сруб, заваленный внутри огромными камнями. И по обе стороны от этого сруба сохранилось лишь полплотины из скользких бревен, обросших мхом. Ляжешь на сруб, и сквозь щели видна рыба под полом. Берег со стороны завода был укреплен вертикальными стенами, уходившими в глубину. Черная глубина пугала. Тут водились огромные щуки и окуни. Мы боялись тут купаться, даже боялись опускать ноги в воду, чтобы не схватил сом, который обязательно, по-нашему, жил тут.

На берегах омута часто удил рыбу старичок-дьячок. Он нас гнал, чтобы мы не мешали ему:

— Пошли, пошли. Киши! Вот я вас крапивой!

А ниже омута была устроена сижка — забор поперек реки с воротами посередине. И вечерами на сижке сидел Самогон — парфеньевский рыбак, гроза всех мальчишек. Мы его очень боялись. И основания у него сердиться на нас, мальчишек, были. Поставит он на ночь сеть — кто-либо из нас, купаясь в этом месте, зацепит ее. Оставит Самогон в кустах свои лодки-колоды — мы начинаем прыгать в них и зальем водой. Но если уж слышим крик, его ругань где-либо, как ветром поднятые, выскакиваем из воды и с бельем в руках прячемся во ржи, следя за страшным Самогоном, когда он проедет на своих колодах по реке. Но бывает, что он незаметно появляется из-за поворота реки. Встав во весь рост в своих калошах-колодах, он гребет одним веслом. Тогда мы ныряем под воду и притаиваемся в корягах у берега. Лишь бы он не увидел.

Летом нас заставляли носить обед из Парфеньева на завод работникам. Нагрузят бураками с супом и молоком, узелками с хлебом и ложками, и мы цепочкой отправляемся на завод мимо Полкоушки, полем. Подходим к плотине, где надо переходить реку Нею. Как не посмотреть в щелочки сквозь полы. Там, в зеленой воде, освещенные лучами солнца, плавают голавли и красноглазая плотва — предмет нашей рыбацкой страсти. В кучку поставлены бураки, узелки, и мы лежим на скользких бревнах и смотрим в воду.

А на берегу появляется Панка — молодой парень, что живет у нас: “Ах вы, паршивцы! Гляди-ка, их с обедом послали, а они вон что тут делают!” Мы вскакиваем, хватаем свою поклажу и спешим, боясь, чтобы Панка

не дал нам по заливку.

В лугах косят мужики. Ряды свежескошенной травы лежат на лугу, и нам жаль, что нельзя уже побегать босиком по траве, нельзя в траве пособирать земляники. Стебли скошенной травы колот наши ноги. Под сосной, где на выкошенной земле много круглых и колочих шишек, привал рабочих. Они садятся на землю, ставят в середину бурак со щами и начинают есть. Нам делать нечего, и мы отправляемся на песчаный берег реки Неи. Наперегонки вместе с девчонками бегаем по воде, затем в песке роем пруд, куда заходят мальки. Огромные коромысла летают над рекой, садятся на желтые кувшинки. А какие бусы делали мы из коричнево-зеленоватых стеблей этих кувшинок!

Солнце уже высоко. Зной нестерпимый. Все работники спят под кустами. Даже Динка и Лыска лежат тут же и не обращают на нас внимания. Они лязгают зубами, хватая надоедливых мух. Мы, осторожно ступая босыми ногами по колочей траве, идем с реки. Но что это? Собаки срываются со своих мест и бегут к дороге. Из-за кустов видна голова лошади Серки. Он везет на сенокос мать со старшими сестрами. Собаки от радости прыгают к морде лошади, стараются выпрыгнуть в тарантас. Мы тоже бежим навстречу матушке.

Босой заспанный Панка подходит к лошади, заводит ее под уздцы в тень сосен и распрягает. Из тарантаса вылезает матушка, за ней выпрыгивают сестрицы. С ними приехали подружки, все в белых кисейных платьях и белых шляпках.

— Купаться, купаться пойдете, тетя Лида. Только пусть мальчики не ходят за нами, — говорит одна из девиц.

Но мы и без того знаем, что с девицами неинтересно купаться. Они снимут свои платья, останутся в длинных белых рубашках. Потом будут расчесывать свои волосы и, зайдя в воду по колена, будут из ладошек поливать себя водой, громко визжа при этом, а когда на другом берегу появится какой-либо посторонний молодец, будут гнать его и прикрывать свои оголенные до плеч руки своими платьями.

Из тарантаса Панка вынимает ковер, большой самовар, корзинку с едой. Мы собираем сосновые шишки для самовара. Панка берет его и идет к реке за водой. Там за кустами сразу раздаются визжание девиц и их негодующие крики.

Самовар поставлен, смолистый дымок вьется из него, а пока до чаю матушка дает нам поесть пирог с малиной и вареных яиц. Собаки сидят рядом. Ничего мясного, а скорлупой от яиц их не прельстишь. Но стоило сестренке, державшей в руке пирог, отвернуться, как Динка тихонько из ее рук взяла кусок пирога и пошла в сторону.

— Мама, Динка пирог взяла! — и она заливается слезами.

— Не реви, на мой, — говорит брат и отламывает кусок от своего пирога.

Пока не поспел самовар, женщины ворошат сено. Из зеленоватой сырой травы оно превратилось уже в пышные валы. Мы тоже берем маленькие белые грабельки и начинаем ими подгрести сено. Его надо умеючи поддеть на грабли и перевернуть нижней стороной к солнцу. Плохо у нас получается, и Катерина, ловко работавшая граблями, ругает нас:

— Путаники, неужели так ворошат! А ты под низ, под низ подхвати да и переверни его вверх брюхом.

— Какое же это брюхо у травы? — думаю я и боюсь спросить у Катерины, которая уже ушла от меня и там ругает брата.

Но вскишел самовар. Его ставят посередине ковра. Расставляют чашки, банки с вареньем. Горкой лежат куски белого пирога. Горячий обжигающий чай. Есть никому не хочется. Взрослые девицы шушукуются, прикрыв подолами свои ноги, и пьют чай маленькими глотками, держа чашку пальцами с оттопыренным мизинчиком.

Катерина наливает чай и зорко следит за нами, не нарушаем ли мы порядок. Старая нянька Акулина, живущая у нас в доме на покое, воспитавшая и мать, и старших моих сестер, сидит рядом в своем длинном ситцевом платье в горошек и осторожно держит в руках чашку с чаем.

— Господи Боже! Благодать-то Господня. И не чаяла увидеть сенокосот. Погребла я, матушка, тут сена-то, страсть. Когда ты Ванюшкой-то ходила, некому было грести-то. Вона какие я стога-то метала. Да и то ведь, силы были молодые. А теперь что от немощной? Поглядеть только.

Мы любили эту старую няньку. В минуты обиды и своего детского горя бежали к ней наверх, где она жила в комнатке, зарывались в ее колени и горько плакали. А она гладила рукой по голове:

— Ну что ты, кормилец, не плачь. Дай-ка, глазки вытру. — Поднимала подол своего платья и вытирала лицо. — А ну-ка, что я тебе дам? — и из своего кармана вытаскивала какой-нибудь орешек или леденец и давала нам.

Тот карман няньки был вечной загадкой для нас. Мы не знали, что в нем скрывается и что же находится где-то в многочисленных складках ее платья. Оттуда она, утешая нас, вытаскивала кусочки сухой, как сушка, просвиры, каких-то сухих рыбок:

— На-ко, роженный, возьми, да никому не говори, что я дала. Да и не показывай другим, они отымут.

Но как не похвалиться сушеной рыбкой, настоящей, с хвостиком, головкой и белыми глазками:

— А что нянька дала мне...

— Покажи.

Я, зажав рыбку в кулачке, показываю хвост. Сосед тотчас отламывает его и съедает.

...Чай отпили. Девы ушли в бор. Матушка с Катериной и нянькой собрались купаться:

— Катерина, буди мужиков — пусть пьют чай. Скоро сено высохнет — сгребать надо.

Мы любили купаться с матушкой, так как с нами ходили и Динка, и Лыска. Матушка купалась в стороне от песчаной мели, куда одни мы боялись ходить. Там, у другого берега, был омут, поросший кувшинками. Берег был обрывистый, и, наверное, там жил страшный сом. Матушка с Катериной долго раздевались, а нянька сидела на берегу, щуря свои глаза:

— Благодать-то Господня. Дал Бог увидеть и реченьку.

Мать входила в воду по грудь, потом окуналась, и белая рубашка ее прилипала к телу. Мы, раздетые на берегу, с тревогой смотрели, когда она скрывалась под водой. Потом она брала нас по очереди к себе. Кляла нас на протянутые в воде руки, и мы, барахтая руками и ногами, замирая от страха, что под тобой глубокая вода, учились плавать.

— Меня, меня еще покупай, — просили мы.

Катерина была до того смела, что распластавшись на животе и поднимая горы брызг, плавала по омуту.

Собаки на берегу скулили и лаяли, боясь зайти в воду. Осторожная Динка подходила к воде и, фыркнув, отходила. Но когда река оглашалась нашим визгом, Лыска бросался в воду, подплывал к матери, потом плыл за Катериной. Динка не выдерживала и тоже плыла. Вылезшие на берег собаки отряхивались, обдавая брызгами дремавшую на берегу няньку.

— Ах, чтоб вам пусто было! Пошли, пошли, поганцы. Ну-ко, я вот вас хворостиной.

Но собаки не обращали на няньку никакого внимания. Они катались на траве, обогревались лучами солнца.

На песчаной отмели внизу по течению после чая пришли купаться мужики. Они с разбегу бросались в воду и громко кричали. Их белые голые тела блестели в лучах солнца. Верхом на лошади въехал Панка. Слишком велик был для нас, мальчишек, соблазн купать лошадей. Мы, подхватив свои рубашонки, побежали туда.

— И вас прокатить верхом на Серке? — Панка, голый, стоял в воде и тер скребницей спину лошади, поливая пригоршней воду на лошадиную кожу.

Мигом брошена одежда на песок — и мы в воде. Хотя вода нам по грудь, и мы бы одни никогда не решились так глубоко заходить, но сейчас нам не страшно. Тут Серко и рядом Панка, который так силен, что на каж-

дую ладонь сажает по отдельности меня и брата. Мы брызгаем на Серку водой, и он косит на нас глазом и пьет воду своими губами.

— Панка, а прокатишь меня верхом?

— И меня, и меня! — кричит брат. Тут его ноги куда-то уходят в песок, и вода закрывает его. Панка вовремя подхватывает его рукой.

— Ах ты, паршивец, утонешь еще — отвечай за тебя. Куда ты лезешь? Не видишь — глубоко.

Брат кашляет, он захлебнулся водой.

— Ступай на берег, а то ужо утоплю. — Но изменив свое решение, он подхватил брата и усадил верхом на Серку.

— И меня, и меня! — кричу я.

Брат героем сидит. Он уже забыл, что только что нахлебался воды. Вцепился ручонками в гриву лошади и колотит голыми пятками по ее бокам. Но Серка никакого внимания не обращает. По его коже проходят судороги, когда Панка водит по ней скребницей. Но вот лошадь вымыта. Панка вскочил на нее верхом, посадил братца впереди себя, и послушный Серка идет в воду. Скрываются по водой его ноги, спина, и видна уже одна голова с сидящими на нем наездниками. Он плывет, делает поворот и, раздувая ноздри, фыркает.

Я не могу дождаться, когда Панка покатает и меня. На песке лошадь отфыркивается. Панка ссаживает братца, и Серка в это время ложится на сухой песок и начинает кататься.

— Отойди от лошади! — кричит Панка. — Лягнёт — мокро будет.

Я знаю, что теперь вся кожа Серки в приставшем песке и его надо опять мыть. И Панка, подняв меня на руках, сажает верхом. Он впрыгивает сам, прижимает к себе рукой, и я колочу пятками по его ногам, кричу от радости. Глубже и глубже заходит Серка в воду; вдруг спина лошади куда-то проваливается, и я от страха хватаюсь за руку Панки. Волна от лошади поднимается мне под подбородок. Я вцепляюсь руками в голое тело Панки и прижимаюсь к его груди, стараясь обхватить ее. Но где там, моим ли рукам обхватить широкую грудь парня.

— Не пужайся. Ах ты, черт. Вон, братец, видишь, как силен. Он прижимает меня к себе рукой, и тут я чувствую, что сижу на чем-то твердом.

— Еще прокати, я не боюсь.

На песке мы одеваемся, и все верхом едем на Серке к табору.

[ЗИМНИЙ ВЕЧЕР]

Русская печка — сколько тебе посвящено в литературе строк! Упомянешь ты в сказках и в стихах. Но точно — тебе благодарны все.

(...)

Зимний, пасмурный и холодный день. Спускаются сумерки — нашим детским играм приходит конец. С мороза прибежишь домой, пообедаешь и еще с не оттаявшими руками и ногами заберешься на печку к старой няньке, которая давно тут лежит.

— Вишь, как застыл, кормилец, руки что ледышки.

Мы с братом и сестрой устраиваемся к стенке. У самого моего носа висит лук. А если прислушаться, слышно, как в трубе над ухом что-то воет.

— Нянь, слышишь, воет?

— Что ты, голубчик, это ветер.

— А почему он воет? — спрашивает сестра.

— К нам просится.

По ногам пробирается кот, и ему скучно одному. Я рукой дотрагиваюсь до него и, отдернув ее, восклицаю:

— Что-то мохнатое ползет!

— Бог с тобой, это Мурка.

Но мы уже наэлектризованы этой темнотой на печке, тишиной в кухне, воем ветра в трубе. Я начинаю рукой шуршать в луке. Сестра вскакивает:

— Нянь, что это шуршит?

— Тараканы.

Но она их не боится.

— Расскажи сказку, — просим мы, и нянька каким-то заунывным голосом говорит:

— Скрипи, скрипи нога, скрипи, липовая.

По селам спят, по деревьям спят,

Одна бабушка не спит,

На моей ноге не спит...

Мы все знаем эту сказку о безногом медведе, но рады слушать ее тысячу раз.

— Ну, еще, еще о разбойнике, — просим мы.

И когда она говорит, как разбойник точил нож, чтоб зарезать девушку Аленушку, мы горько плачем. Никакая сила нас теперь не заставит спуститься с печи — там, внизу, на кухне, нам кажется, везде спят разбойники и домовые. Но нянька, прервав рассказ, говорит:

— Почерпни-ка мне, кормилец, водички испить.

Но никто из нас не решается спуститься с печки за водой. Хорошо, в это время входит в кухню Панка, и мы просим подать воды няньке.

Нянька Акулина жила у нас давно, ее привезли к нам молодой девкой из Ефремия. Так она и прожила у нас всю жизнь, вырастив всех детей. Я

помню ее уже старухой в своем неизменном темном платье в горошинку. Она так привыкла к нашей семье, что не разделяла своих интересов с интересами семьи. И матушка доверяла ей деньги и ключи от сундуков, лавочки, что была в нижнем этаже. В дни, когда родители уходили на целый вечер в гости, нянька назначалась в доме главной. Ей передавались все ключи.

— Нянь, — говорила ей матушка, — ужю ребятишкам принеси из лавки орехов, да конфетами одели. На вот, ключи возьми.

Родители уходили. Все мы вместе с прислугой собирались в кухню. Нянька с Катериной заведут свои разговоры. На полатах похрапывает Панка. А мы играем в лото, в счет орехов, которые ждем от няньки.

— У меня карта. С тебя орех и с тебя орех.

И когда у меня набирается куча пуговиц, пока заменяющих орехи, я считаю их. Двенадцать.

— Нянь, когда же ты принесешь. Мама велела тебе нам орехов принести.

Нянька молчит.

Но когда у сестры не осталось ни одной пуговицы, мы все уже пристаем к няньке. Она поднимается, зажигает маленькую лампочку и идет в лавку. Но оттуда возвращается пустой.

— Шут ее знает, где там орехи. Да их и нет там. Вот вам по конфетке. — Наделяет она нас карамельками с горошину величиной.

Она так блюла хозяйское добро, что не давала нам орехов. А утром, когда мы расспрашивали матушку о вечере, жаловались, что нянька не дала нам орешков.

[ПОЕЗДКА В СОЛТАНОВО]

Помню чудесную поездку с матушкой в Солтаново. Село это было от Парфеньева в сорока верстах, и ехать надо было через огромный лесной волок. В селе этом какой-то знаменитый по нашим краям доктор, и матушка собиралась к нему, чтобы посоветоваться о своей болезни. Дня за три стали готовиться к этой поездке. Напекли подорожников: пирогов, пряженников, драчены. Налили в бураки молока. Взяли большой медный чайник, варенья в банке, и все это уложили в большую белую плетеную корзину с крышкой. С вечера Панка подмазал тарантас, в него положили перину и подушки.

Я плохо спал ночью накануне отъезда. То и дело просыпался: не взошло ли солнышко. И когда, намаившись, я уснул, меня разбудила матушка:

— Иди умойся, поешь — скоро поедем.

Я бросился к ней на шею. Сполоснув лицо из умывальника, я выбежал во двор. Панка запрягал в тарантас Серку и Карьку.

— На паре, на паре поедем! — прыгал я от радости на крыльце.

Это утро, это взошедшее солнце, эта тишина — все было так прекрасно. Подошла Динка и стала ласкаться около меня.

— Диночка, а мы уезжаем, — шептал я ей на ухо. В ответ она лизала меня в щеку. И мне стало жаль оставлять дом, и Динку, и Лыску.

Катерина выносила припасы и укладывала в тарантас. Но Панка все повыбросил. Он был сосредоточен и важен.

— Не туды, тетеря, кладешь. Постой, я сам уложу. Эх! Бабы — бабы и есть. Ну куды ты молоко снешь? Его на задок надо, в холодок.

Запряженный Серко стоял спокойно, кося своим лиловым глазом на меня. Карька, молодой карий конь, звеня шаркунцами, надетыми на шею, нетерпеливо рыл ногой землю. Рядом, чувствуя разлуку, стояли с опущенными хвостами собаки. Матушка в черном легком пальто и в черной вязаной косынке появилась на крыльце:

— А где твоя пальтушка? — спросила она.

Я был в рубашке, подпоясанной шнурочком, и в русских сапожках. Не только пальтушку я забыл надеть, но и свой картузик. Когда все было собрано и погружено, на задок тарантаса положен мешок с овсом для лошадей, внизу привязаны ведра для пойки лошадей; матушка позвала всех в дом.

В зале все сели на стулья. Нянька зажгла перед иконой лампадочку, и желтый огонек ее совсем не был виден среди яркого солнечного света, заливавшего комнату. Вышел отец, он тоже присел на край стула и, тут же вставая, перекрестился на образа:

— Ну, с Богом! — Все стали прощаться. Нянька, стоя на крыльце, вытирала слезы и крестила всех своей худой рукой.

Мы уселись в тарантас. Катерина открыла ворота, и мы выехали. Безлюдная слобода, мост через Нею, а вдали — редкий туман над водой. Синюющая даль леса. И лошади уже бегут по мягкой дороге. За Поповкой въехали в лес. Высокие сосны. Песчаная широкая дорога. В лесу еще ночная прохлада. Пенье птиц. На полянах, как снег, — белые бабочки.

— Пан, это волок? — спрашиваю я кучера.

— Какой тебе волок? Волок за Хилгином. А это грибановский лес.

Но эти места я не знаю: так далеко от Парфеньева мне еще не приходилось уезжать. Неожиданно лес кончился, и на дороге появились закрытые ворота. Панка соскочил, открыл их, и мы выехали в воле. Впереди виднелся с десяток изб с высокими крышами. Это была деревня Хилгино. Встретившаяся баба низко поклонилась нам. Во все глаза мы рассматривали деревню, но она была мертва. Скот был уже выгнан в лес, все взрослые ушли на работу в поле, только курицы рылись в песке да в луже лежали свиньи.

Солнце поднималось. Становилось жарко.

— Вон, смотри: лес — это и есть волок.

— Теперь тридцать верст — ни одной деревни, а может, и человека не увидишь.

Мы въезжали в тот лесной волок, который в нашем воображении был чем-то ужасным. Сколько раз мы слышали о нем в разговорах старших:

— Бог миловал, волок проехал, — говорил дядя Павел, приезжавший на базар в Парфеньев и всегда пивший у нас чай. И он, таинственно нагнувшись к отцу, продолжал:

— Шалят, Федор Яковлевич, на волоку-то...

Мы уже знали, что “шалить” могут только разбойники. И в моем воображении этот волок был наполнен разбойниками, сидящими за каждым деревом. Я с опаской смотрел по сторонам: не покажется ли где голова разбойника с ружьем в руках. Но высокие сосны, белый мох на земле, глянце-вые листья брусники с начинающими краснеть ягодами — и больше ничего. В лесу было чисто, тихо и светло. Так и хотелось побежать по лесу. Но боязю, и, как в крепости, в тарантасе я чувствовал себя в безопасности. Да с нами и Панка, а у него под сиденьем топор, — думал я. У речки Якши сделали остановку. Лошади настороженно водили ушами, отгоняя хвостами появившихся слепней. Они, фыркая, пили воду из бадейки.

Мы вылезли из тарантаса, разминая ноги.

— Вон, видишь, на горке под сосной крест? — показал Панка своим толстым пальцем.

— Вижу.

— Тут купца убили. Значит, ехал он с товаром. Стал поить лошадей, ну, как вот мы — глянул, идут два старичка из лесу: “Куда, брат, едешь?”. Пораспрашивали да и убили. А крест-от уж курсаньевские мужики поставили.

И тут весь этот лес, весь пейзаж вдруг потерял для меня прелесть. Я смотрел во все стороны, не видать ли где старичков. Что-то вдали между сосен мелькнуло. “Они!” — пронеслось в моей голове, и я стремглав бросился к ногам Панки.

— Старички там, в лесу. Я видел их! — я уже держался за штаны парня, боясь посмотреть в сторону.

— Ну что ты! Никого нет. Как тебя проняло. Иди к мамаше. Сейчас поедем.

Он поправил сбрую на лошадях, привязал бадейку. Мы сели в тарантас, и теперь мне было не страшно: я сидел в тарантасе-крепости.

Кормить лошадей остановились на берегу лесной речки. Возле нее росла малина, кусты боярышника, и высокие сосны подступали к самой воде.

Панка распряг лошадей, поставил их к тарантасу и насыпал в брезент овса. Матушка в сторонке расстелила половик, и, пока кипел на костре подвешенный чайник, мы тоже подкрепились яйцами, жареной курицей и холодным молоком из бурака. Я, ступая и скользя в своих кожаных сапожках, стал ходить по белому сухому мху. Кругом росла брусника, но ягоды ее были еще белые и невкусные. В неглубокой речке на дне белел песок, а у камышей плавали маленькие рыбки. Во все стороны лежал лес, и светло-бурые стволы сосен вдали образовывали целую стену из них.

К вечеру мы приехали на кордон, где должны были ночевать. Большой дом лесника стоял на поляне. Тут же были сараи, хлевы и баня, а в сторонке высилась огромная башня, решетчатая, сделанная из бревен. Мне было непонятно, для чего она построена.

Когда наш тарантас выезжал из леса на поляну, от дома бросились навстречу две собаки и начали лаять. Шерсть на загривках у них поднялась. Они делали круги вокруг тарантаса, и я боялся, как бы они не выпрыгнули к нам в тарантас.

Из дома вышел мужик, с большой рыжей бородой, и отозвал собак. Мы подъехали к воротам дома.

— Здравстуй, Елисей Иванович! Переночевать бы нам. В Солтаново едем.

— Милости прошу, — и он открыл ворота. — А ну вас, оглашенные! — крикнул он на собак.

Мужик подошел к тарантасу, взял меня на руки и поставил на землю.

— Что, малец, умерился? А, это сынок Федора Яковлевича, младший, видно?

Из дома на крыльцо вышел мальчик в белой рубашке, босой, в ушитых штанах.

— Санька, вон к тебе приятель приехал!

Но я боялся отойти от тарантаса, глядя на собак, сидевших у крыльца. А Санька спустился с крыльца, встал между собаками, положил руки на их головы и смотрел на нас.

— А ты, парень, возьми из стога сена коням-то. Вон стог-от. Ну что, матушка Лидия Ивановна, заходи в избу-то. Санька, уведи собак в клеть.

Дорога в дом стала свободной от ужасных собак, и я опасливо, держась за подол платья матушки, пошел вслед за ней. Большие, чисто вымытые сени, с крепкими дверями. Комнаты с белыми сосновыми стенами, с большим деревянным столом и лавками.

— Вот тут и располагайтесь — это казенная половина для лесничего. А мы живем на другой половине.

— Паря, носи скарб-от сюда, — крикнул мужик Панке.

На тусклых стеклах окон бились и жужжали мухи. На стенах избы, как капли воды, выступили шарики смолы.

— Тут и постель есть. Баба поправит вам. Тут и ночуете.

Вошла жена лесника, румяная, полная баба:

— Здравствуйте, кормильцы. — И она низко поклонилась. — Тебя-то я не знаю, а мужика-то твоего, Федора Яковлевича — хорошо знаю. Кажинный раз останавливается у нас, когда куда едет. Как же, как же не знать? Шутник, право дело, шутник. А ты куда, матушка, собралась?

— В Солтаново.

— Уж не к Петру ли Ивановичу?

— К нему.

— И куда лучше. Все уважают его. Уж лучше его и дохтура нет. Вишь ты, слава-то вперед его бежит. Из Парфеньева стали ездить. Ну, дай Бог, дай Бог. Это который же у тебя?

— Меньший.

— Да сколько всего-то?

— Шесть.

— А мне Бог дал одного. — Женщины заговорили о своих болезнях, делах.

Я вышел на крыльцо. День близился к вечеру. В воздухе был разлит теплый запах смолы. Весь лес, тропы были пронизаны золотистыми лучами солнца. У тарантаса стоял Санька, рассматривая его. Я подошел. Он взглянул на меня своими серыми глазками и грязным пальчиком тронул подножку у тарантаса.

— Для че это?

— Чтобы садиться.

— А как?

— А вот встань ногой. Ну, как лестница.

— Да что это, крыльцо, что ли? А это че? Он показал мне на мой кушак на рубашке.

— Пояс.

— Для че?

Я не знал, что ответить.

— И у тебя есть пояс.

— Чтoб штаны не спадали, да? — и он загнул рубаху, показал на мешок на своих штанах.

— А это что за башня стоит у леса? — спросил я.

— А я с тятей лазал туда. Высокая. Оттуда Соргу видно.

Я недоверчиво посмотрел на него. Как же можно было залезть туда? — думал я. — Да там и лестницы-то нет.

— Как лес-то у Сорги горел, тятя туда три раза лазал.

— Айда к ней!

Мы побежали к вышке. Толстые бревна ее, как ноги великана, были зарыты в землю, на одном из бревен были набиты поперечины.

— Во, смотри, как тятя лазит. — И Санька забрался на первую поперечину.

— Куда ж ты! Увидят — забранят.

— Не увидят, не бойсь, — и он стал карабкаться на вторую ступеньку.

— А пойдём на Якшу, там гольцы под камышами — во!

Мы пробежали поляну, зашли в заросли малины и очутились на берегу речки.

— Смотри! — И Санька вошел в воду, не засучив штаны. Он осторожно поднял камешек в воде и прошептал:

— Вот же он, видишь, яркая спинка. А лапками-то чуть гребет.

Но мне с берега не видно было ничего. Я видел, как от камня тянулись поперечные струи грязной воды.

— Иди сюда, да тихо, не булькай, а то убеget. Да шибче иди.

Я не мог удержаться, чтоб не посмотреть гольца. И в сапогах вступил в воду. Осторожно ступая по воде, я подошел к Саньке, и, склонившись, мы стали смотреть на гольца, испещренного пятнышками и чуть-чуть двигающего своими плавниками и хвостом. Санька прицелился и хотел схватить гольца. Брызги воды полетели и замочили и мне штаны и рубаху. Тут мы уже стали перевертывать все камни, разыскивая гольцов. Мокрые, измазанные глиной, мы забыли все на свете, бегая по воде.

— Санька, где ты, неслух? Иди ужинать, — кричала мать Саньки.

— Слышь, зовет matka. Пойдем.

Навстречу нам выбежали спущенные собаки. При их виде я замер.

— Не бойсь. Они только разбойников кусают.

Собаки подошли ко мне, протягивая свои черные носы и обнюхивая меня. Я стоял ни жив, ни мертв.

Но одна из них облизала мои сапоги, волосы, лизнув меня в щеку. И собаки скрылись в кустах малины.

— Поди, matka ругается.

И когда я, грязный и мокрый, вошел в дом, матушка пришла в ужас:

— Где ты это вывалялся как поросенок?

Она вылила воду из моих сапог, сняла с меня штаны и выжала их.

— Ах ты, жених без штанов, — сказал, входя в комнату, Панка.

На меня надели другие штанишки, и мы пошли к хозяевам ужинать.

— Садитесь, гостями будете, — сказала хозяйка.

— Уж не обессудьте. Не ждали, — сказал хозяин и, перекрестившись

на икону, сел за стол.

На столе стояла большая деревянная миска со щами.

— Марья, да налей ты ребятишкам в другую миску.

Марья принесла и поставила на стол деревянную, золотом расписанную миску со щами. Меня пересадили к Саньке, и мы стали с ним есть, дуть на свои ложки с горячими щами. После ужина мы с матушкой легли спать на скрипучую деревянную кровать. Панка лег во дворе. Я долго слушал, как о стекла окон бились мухи и гудели пчелы.

Утром мы поехали дальше, в Солтаново.

[НАША СЕМЬЯ]

Семья у нас была большая. Кроме матушки и отца, было трое братьев (Иван, Серафим и я) и три сестры — Валентина, Вера и Мария. Были и другие дети, которые умерли (два Ивана и Мария), и память о них осталась только в потускневших фотографиях, висевших на стене в зале. Мне так и неясно было происхождение моего отца. Из документов (“Губернских Костромских ведомостей”) мне было известно, что прадед мой — Иван Иванович Белоруков — в 1840 году был рейтером при посадской ратуше Парфеньева. Но его сын, Яков Иванович, которого хорошо помнили старшие сестры и братья, был бедный мещанин, уже живший в слободе, в маленьком домике, похожем на баню. Чем он занимался, мне совершенно неизвестно. Но рассказывала старшая сестра Валентина, что когда отец выстроил большой дом, то дедушка с бабушкой отказались переходить в него из своей избышки-бани:

— Что мы там не видели? Шум да гам — один грех.

Но пищу им посылали с общего стола. Часто, когда в постные дни посылали им скромные кушанья, дедушка ругался за это:

— Ты что принесла, Алевтина?

— Супу, дедушка.

— Какого супу?

— Мясного.

— Это в пятницу-то! Ах ты, негодница! Да как ты смела запахом-то, запахом-то скромного начадить здесь! Иди, иди. Скажи матери, чтобы постного прислала. Ну, грибков, что ли, или капустки.

Дедушка крестился:

— Прости меня, Господи, грешного.

В домике была одна комнатка, вся увешанная иконами, перед которыми дедушка часто молился. Несмотря на свою набожность, он занимался и богомерзкими делами. Ловил и бил кошек из-за их меха. Мех кошек он сдавал покупателям. Как уж он делал это, не знаю. Но занятие это в Парфе-

ныеве считалось обычным делом, хотя народ и прозвал этих людей кошатниками. О бабушке своей я ничего не знаю, так как родился уже после ее смерти.

Отец мой Федор Яковлевич встает в моей памяти человеком большого ума и предприимчивости. Он рано начал самостоятельную жизнь. Брался он за все дела. Извозничал, где-то служил. Даже, будучи совсем молодым, уехал почему-то в село Николо-Ширь и там что-то делал. А потом перебрался опять в Парфеньев и занялся извозом. Женился он на дочери парфеньевского купца Ивана Пузанова. Фамилия эта очень распространена в Парфеньеве. Еще в XVII веке в Парфеньеве был посадский человек Пузанов, видимо, предок нашего деда.

Как отец становился на ноги, я не знаю. Помню его уже в расцвете сил. Вся семья тогда жила в большом двухэтажном доме в Слободе (сейчас улица Парижской коммуны, против Нейского переулка). И грозой всего дома был отец. Мы его очень боялись. Он был суровый человек, не обращавший внимания на детей. И если он звал нас к себе, то только для того, чтобы мы помогли ему в чем-нибудь. Он не гнушался никакой работой. Шил сам сбрую для лошадей (это было его любимое занятие), чинил крыши, сани. Занимался выделкой кож. И редко можно было его видеть сидящим без дела. Но главным его занятием было, конечно, лесопромышленное дело. Когда в 1905-1906 годах строилась железная дорога из Галича в Вятку, он поставлял лес, шпалы. Помню, зимой в доме сплошная толчея. Мужики привозят лес, сваливают его и на улице, и во дворе. В доме они обогрываются. Тут же их рассчитывает матушка. Весь день топят русские печи. В них варят и щи для мужиков, и корм для свиней и коров. Часто наезжает какое-то начальство: то становой, то купцы из Галича, Москвы, то инженеры. Их кладут спать в верхнем этаже. Туда же подают им обеды, завтраки. Там же они играют в карты. Для нас это заповедный мир. Вход туда нам запрещен, и мы только потом из разговоров старших узнаем об этих наших гостях.

Но среди купцов запомнился мне старичок, купец из Москвы, Зыков. Он приезжал летом перед грибным сезоном для заготовки грибов. Его приезда мы, дети, ждали с нетерпением. С вечера на станцию Николо-Полома высылали к поезду пару лошадей. Приезжал он ночью, когда мы спали. Но утром мы уже не убегали из дома, ждали пробуждения Зыкова. Он сходил вниз, в залу, здоровался со всеми и ставил свой кожаный саквояж на диван. Этот-то саквояж и привлекал все наше внимание. Еще до чаю он открывал никелированные замки саквояжа и доставал московские гостинцы.

— Ну-тко, матушка Лидия Ивановна, получай, — и он передавал матушке огромную соленую семгу.

— А это вам, шалуны! — Он оделял нас конфетами, пряниками и оре-

хами. Смущенно лепетали мы “спасибо” и стремглав выбегали в нашу комнату. Здесь надо было сосчитать, сколько у кого орехов, конфет.

Отец с гостями был весел и разговорчив. Но, бывало, когда его дела шли плохо (то ли неудачно продаст партию леса, то ли вода разнесет слявляемый лес) — быть тут беде. Он, как гроза, приезжал домой. Запирался у себя в комнате, и все боялись его. У нас, детей, даже появилось название, характеризующее такое состояние отца:

— Папа ругается.

Мы боялись появиться ему на глаза. И заслыша, как он идет, прятались куда-нибудь. Но проходило 2-3 дня, опять отец уезжал по делам, и в доме все приходило в порядок. Особенно доставалось много всего в дни, когда гневался отец, матушке. Но она молчала, даже не плакала от оскорблений отца. А гладила нас по голове, когда в минуты таких семейных неурядиц мы сбивались вокруг нее. Часто и взрослые говорили о том испытании, которое выпадало на долю матушки.

— Крест вы несете, Лидия Ивановна, — говорил ей наш приходский священник отец Михаил.

[ОТЕЦ МИХАИЛ]

Этого старого седого священника, с длинной белой бородой и продолговатым бледным и сухим лицом, мы очень любили. Встретит он где-нибудь на дороге, подзовет к себе, благословит и погладит по голове.

Жил он у церкви Рождества в одноэтажном доме, заросшем кустами акации и сирени. Его жена — попадья Юлия Ивановна, маленькая толстая старушка, была очень приветливой. Со всяким-то она переговорит, каждому-то скажет ласковое слово. И она неожиданно умерла. Похоронили ее слева у алтаря Рождественской церкви. Отец Михаил очень сильно переживал смерть жены. Он подолгу стоял у могилы, опершись подбородком на руки, сложенные на посохе. И редкие прохожие, увидев его, старались незаметно пройти мимо, чтобы не нарушать его покой.

Как-то, помню, меня послали зачем-то на завод. Хотя дорога вела туда низом у горы, но я решил пройти через кладбище Рождественской церкви. Стоял летний тихий день. Солнце уже собиралось садиться в лесах на западе. А вокруг была разлита та тишина летнего теплого дня, которая бывает только в августе, когда и сосны, и дома окрашиваются в красный цвет заката. Я взбежал на гору, открыл железную калитку в ограде и вступил на кладбище. И среди зелени, крестов, на фоне красноватой стены церкви увидел сидящего у могилы отца Михаила. Идти надо было мимо, и я в нерешительности остановился. Он, услышав звук отворившейся калитки, смотрел своими голубыми старческими глазами на меня. То ли мой вид молодого суще-

ства, вторгшегося на это безмолвное кладбище, залитое красными лучами заходящего солнца, поразил его, то ли какие-то воспоминания молодости. Он поздравил меня, перекрестил и взял за подбородок своими худыми пальцами:

— Куда это ты? Нельзя, милый, на святом месте шуметь. Слышишь, и птички примолкли — это ты нашумел, они и испугались.

— Меня... меня мама послала, — мямлил я что-то.

— Ну иди, иди с Богом.

Мне так хотелось спросить его, зачем он сидит здесь у могилы. И он, как бы поняв мою мысль, продолжил:

— Ах, грехи наши тяжкие. Помнишь матушку Юлию? Нет вот ее, голубчик. В земле теперь. — и глаза его наполнились слезами.

И забыв, куда я бежал, что мне надо было сделать, я уткнулся в его ноги, покрытые черной рясой, и заплакал.

— Ну что ты, дурашка. И ты помнишь матушку. — И он обхватил мою голову и поцеловал меня в лоб. — Господь с тобой. Иди, милый. Слышишь, птички-то запели опять? Тихонько иди. — И он погладил меня по голове.

Теперь уже тихонько шел я по кладбищу, поглядывая по сторонам на старые замшелые могильные кресты. Невдомек мне было, что под крестами лежат люди, которые когда-то жили, любили, разговаривали, ели, пили. Которые жили интересами своего Перфеньева. А теперь лежали в земле, истлевшие, забытые всеми...

Помню, в детстве мне приходилось говеть в Великий пост. Обставлялось это торжественно. Даже нам, маленьким, запрещали в недели поста есть молоко. И я так проникся этим благолепием, этой дисциплиной, что на первой неделе поста стал посещать службу в нашей приходской церкви. Мартовское солнце уже днем хорошо греет. Синее-синее небо, воздух чист и прозрачен. С крыши каплет. Голубоватый снег блестит и режет глаза. За рекой Неей в фиолетово-зеленой дали леса. Мир и спокойствие над Парфеньевом. К вечеру раздаются редкие удары малого колокола на колокольне, призывающие к службе.

Я бегу в церковь. На Полкоушке, как вырезанные из меди, огромные корявые сосны. Прозрачные мелкие сетки берез с чинно-белыми стволами. Из сугробов на кладбище торчат кресты и длинная бурая трава.

В церкви народу мало: две-три старухи. Я подхожу к левому клиросу, где всегда молится наша семья. В церкви очень светло от лучей солнца. Его лучи играют на серебряных окладах икон, на паникадилах, на подсвечниках, освещая темные лики святых на иконах, отчего они становятся видны. В этом залитом светом зале, где все играет бликами, совсем незаметно огонь-

ков лампад и свечей. Какая-то слегка синяя дымка в церкви, которую про­зывают лучи вечернего солнца. Слышно монотонное пение священника. В церкви тепло и тихо. Взор мой скользит по всему этому великолепию дня, по всем бликам, вызванным лучами солнца. Но я смотрю на суровые лики святых на иконах, и появляется мысль: “Не за тем я пришел сюда, чтобы любоваться этой красотой, а молиться”. И как часто бывает, иногда что-то случайное, неизвестное порождает загадку. Так и со мной. Только я перекрестился, и луч света осветил икону, перед которой я стоял. Стоило мне отвести глаза от иконы и начать рассматривать блики на образах, как луч с иконы пропал. Я опять перекрестился, и опять солнце осветило икону. Я уже не сомневался, что это Бог освещает икону, услышав мою молитву. Я пришел от этого в такой восторг, что заплакал...

[БАЗАРЫ В ПАРФЕНЬЕВЕ]

Вспоминаю я базары на своей родине в Парфенье­ве, когда еще был мальчишкой. Базары эти у нас были каждую неделю по четвергам. В этот день просыпались все рано. Еще на улице темно, а у нас по посаду (там был торг) спуют парфеньевские мещане. Выйдешь на огород — везде темно. Вдали чернеют сосны на буграх (это место — грива у деревни Ложково). Какая-то щемящая тоска и боязнь охватывает тебя. И не случайно это, так как по лугам да и по самому Парфеньеву зимой ночью бродят волки. А по слободе одна за другой тянутся лошади с санями. Из деревень едут мужики на базар. На посадской площади — черное месиво подвод. Вдоль домов на­ставлены балаганы, ларьки. В них купчишки-мещане готовят свои товары. Между ними пробираются подводы. Все кричит, ругается. Ржут лошади. Мычат коровы, блеют овцы, привезенные на продажу. И над всем главен­ствует поросячий визг. Удивительно пронзительно кричат эти розовенькие чистенькие верещуны, а когда посадят в мешок — начинают хрюкать.

Рассвет чуть-чуть начинает пробиваться; как на фотографической пла­стинке, когда ее проявляют, все четче и четче обозначаются контуры — так и здесь. Когда уже можно различать деньги, начинается купля-продажа.

На Пожарной улице торгуют глиняной посудой. Из сена на возах вы­глядывают глазу­рованные кринки, корчаги, горшки. Гон­чар-продавец уда­ряет по краям их, и звон, разнообразный звон слышен всюду.

— А ты, тетка, бери корчагу-то. Ужо пива наварить знатно.

— Да ты бы, кормилец, сбавил двугривенный.

— Сбавил вон медведь к весне жиру, да с голоду и помер...

— А вот кринок, кринок, кому кринок... Были бы кринки, а молоко найдется.

— Да что ты, леший, толкаешься! Нет места тебе, — ругается какая-

то мещанка, присев на корточки и ощупывая стоящие на снегу кринки.

— Расселась, тетеря, — ворчит мужик.

В Конном переулке торговля лошадьми. Здесь долго торгуются, осматривают лошадь по всем статьям. Лошадей покупать идут не в одиночку, а заранее подговаривают человека, понимающего толк в этом. Покупка лошади для деревенского мужика — дело важное. Ему работать на ней, пахать, возить лес, ездить в извоз. Как бы не ошибиться, как бы не купить лошадь с поровом.

— Глянем-ка, сват, на эту.

— Вислозада. Но не беда.

— Не бойка, зато крепка.

— Продаешь?

— На то и вывел.

— Да ты сам-от откуда?

— Из Потрусова. В отход в город собираюсь, так вот и не нужна в хозяйстве. У нас мерин остается — хватит с них.

— А что просишь?

— Сорок целковых.

Покупатели осматривают лошадь, щупают бабки ног, лезут в рот, проверяя зубы.

А когда купят лошадь, хозяин лошади и покупатель передают повод узды из полы в полу. Новый хозяин бежит в казенку, тащит штоф и, взболтав бутылку, сильно ударяет по ее дну. Пробка выскакивает, и, запрокинув бороды, мужики пьют водку.

А в двух парфеньевских трактирах (один на углу Полянской улицы, а другой у мещанки Толстопятовой) — гам и шум. Дверь, закрываемая кирпичом на веревке, визжит: она то и дело открывается и выбрасывает клубы пара. В трактире темно от дыма и смрада. Стекла подслеповатых окошек запотели, за ними белесый рассвет. Под потолками две висячие керосиновые лампы коптят и чуть-чуть горят: они тоже задыхаются. У стены стойка. За ней шкаф с полками, уставленными бутылками, посудой. За стойкой сам трактирщик, толстый, лысый, с редкой рыжей бородой. В белой длинной рубахе навывпуск, сверх которой жилетка с цепочкой часов на животе. Он успевает и водку наливать, и записывать в книгу долги, и чай наливать в заварные чайники. Двое половых в опорках, в грязных белых рубахах и таких же портках, как зайцы, шмыгают среди столов. Базарный день для них — это заработок на всю неделю. За столами в расстегнутых полушубках мужики и бабы. Тут же у столов свалены на пол их тулупы и шали. Они пьют чай с баранками, с сайками. Сайки эти были гордостью парфеньевского пекарного искусства. Они пеклись из белой муки из кислого теста. Сва-

ляв колобки с чайные блюдца, их опускали в кипяток, а потом сажали на соломе в печь. Румяные, пышные, они были вкусны.

После чая кое-кто потребовал себе и водочки.

— Да ты, кум, вышей!

— А что Матрене не нальешь?

— Нальем и ей.

— Ну, за твоё здоровье!

Пьют. Бабы не отстают от мужиков. Лица у всех раскраснелись. К белой и потной шее Матрены прилипли русые волосы.

— А ты бы, кум, по второй налил, — и лукавые глаза ее смотрят на толстые пальцы кума, держащего штоф.

— Ну, баба, ты и вприсядку еще пойдешь. Куды тут!

— Лей, не бойсь, — говорит она и выливает свой лафитник.

Приезд на базар в Прафеньев для жителей лесных деревень — целое событие. Посмотреть да и себя показать и, главное, потолкаться по лавкам, по базару среди этой гудящей толпы, а для мужиков — пображничать в трактирах. А потом опять на целые недели забраться в свои берлоги-деревни, в избы, занесенные снегом. Да зимой и дороги нет в иные деревни, а пробиться по целине по снегу — замучаешь лошаденку. Бывает, и сидят всю зиму в своей деревне, не вылезая.

... А гомон и шум в трактире не умолкают. Подвыпившие мужики кое-где уже начинают куражиться и поругиваться. Ругань слышна всюду. И ругаются не только мужики, но и бабы. Мат в языке парфеньевцев обычен, как этот смрад в трактире. Молодой мужик за столом, подвыпивший, с серыми злыми глазами, кричит соседу:

— Я тебе что говорил, паря, не лезь к моей бабе. Небось, я не знаю, что ты тут куролесил, когда я в Питер укатил. Знамо, брат, знамо мне, как по овинам вы хоронились. Морду ей, стерве, раскрасковать!

— А ты больше, черт рыжий, по Питерам-то шляйся, — огрызается сидящая тут же жена. — Тоже мне, питерщик. Что ты принес-то из Питера? Дурак непутевый. Просила я батюшку: не отпускай ты Панку на сторону. Не послушал.

— Да что ты слушаешь бабу, — ставь полштофа, — обращается муж к своему соседу-сопернику.

— Будя, будя, домой пора, — хватает жена мужа за руку.

В лавке купца Самойлова не меньшая кутерьма. Сегодня вся их семья здесь. Жена за выручкой, сыновья за приказчиков. Сам продает красный товар. Один из сыновей — молодой парень в фартуке — качает насосом из железной бочки керосин. Фиолетовая струйка его льется из трубки насоса в воронку, а из нее в посудину.

Дряхлая старушка с лукошком яиц у прилавка:

— А ты мне, кормилец, вон тот плат-от покажи, красенький.

— Целковый, убогая. Да деньги-то есть у тебя?

— Кабы. Возьми яичками. — И она ставит лукошко с яйцами на прилавок. — Аккурат сотенка тут.

Купец бросает на прилавок красный платок. Старуха щупает его своими корявыми пальцами. Зачем-то смотрит на свет: плотна ли ткань.

— По пятаку десяток, — говорит купец. — Тебе что говорят, старая. По пятаку десяток.

— Что ты, батюшка, очумел? Я отцу Михаилу по гривеннику отдала утрясь.

— Ну так и все бы отдавала.

— Да за деньгами-то велел после воскресенья приходиться. А уж ты, кормилец, прибавь, не скупись. Побойся Бога.

— По семь копеек десяток, — безапелляционно говорит купец и берет у старухи платок.

— Да ты что, отец, берешь-то? — Ей не хочется расставаться с платком. Она даже нюхает его и, послонявив пальцы, мнет в них платок.

— Да не линияет ли он, отец?

— А ну ты к лешему, — выходит из себя купец. — Двадцать копеек за тобой. Бери! — И он лукошко с яйцами убирает под прилавок.

— Да ты лукошко-то отдай! Чай, у меня там кошелек. — Она вытаскивает из сена, которым обложены яйца в лукошке, кошелек, завертывает его в купленный платок и прячет за пазуху своего чепана. — Двугривенный принесу, как отец Михаил заплотит.

Она хитрит. В кошельке у нее есть еще целковый, и она на него думает купить у лотошников-армян сладостей для внуков.

— Бабка Арина, — слышит она голос мужика. — Вот керосину куплю и поеду. Подвезу тебя. Жди, там у дома Огладина моя лошадь. Жди. Как угощусь, так и поедем.

— Спасибо, кормилец.

Пасмурный зимний день короток. Уже в два часа на Парфеньев спускаются сумерки. На базарной площади поредело. Везде навоз, солома. Одна за другой во все стороны потянулись подводы. Отдохнувшие лошади, довольные тем, что они побывали в обществе, себя показали и других посмотрели, рысью мчат по накатанной в ухабах дороге в свои деревни. В санях пьяные мужики, заботливо укрытые женами — тулупами. Правят лошадьми бабы. И тянутся по большакам, а потом по заснеженным проселкам с базара подводы. А там в деревне ждут-не дождутся. Ребятишки босиком выскакивают из изб на дорогу: не едут ли matka и тятка. Не дождутся,

когда приедут и одарят и сайкой, и баранками, и сладостями. А иному и ситцу привезут на рубашку. И долго в каждой избе при свете лучины или подслеповатой трехлинейной лампы будут вспоминать базар, рассказывать, что и почему было на базаре в Парфеньеве.

СТАРЫЙ СЛУГА

Звали его Гаврюшкой, и никто, наверное, за всю жизнь не назвал Гаврила Иванович. Он был когда-то крепостным слугой помещика Постникова. Усадьба этого помещика стояла в пяти верстах от Парфеньева по дороге в Кологрив. По рассказам старожилков, это был большой деревянный дом, стоявший на склоне и окруженный березами. Много росло здесь сирени (безины), и названо Безино было по имени этих кустов сирени.

Крепостных у Постниковых было мало, и дела их шли из рук вон плохо. Тогда решил владелец усадьбы удариться в промышленные дела. Он построил сарай, сложил в нем печь, поставил котлы и занялся варкой клея. Тоже “завод” — и его пришлось зарегистрировать в Костроме. А там уже чиновники стали включать этот завод во всякие справочные издания. Так в Парфеньеве появилось торгово-промышленное заведение.

Клей варили из копыт и рогов животных. И самым унижительным для владельца было скупать этот хлам. Он посылал по деревням двух дворовых мужиков скупать рога и копыта. А поставщиками в деревнях этого сырья были ребятишки, собиравшие копыта по всяким деревенским свалкам.

От варки копыт в сарае стояла страшная вонь. И даже парфеньевские ко всему привыкшие мещане говорили:

— Не барское это дело.

Недолго просуществовал завод. Постников, ухлопав в него последние деньги, закрыл его, а сам поступил в земские начальники. Так и доживали брошенные им пять-шесть человек крепостных в этой усадьбе.

Гаврюшка в дни праздников, надев сюртук, который барин подарил ему давно за ненадобностью и ветхостью, отправлялся в Парфеньев. Мы, бывало, как завидим пробирающегося по кологривской дороге Гаврюшку, устремляемся к нему.

— Куда, Гаврюшка, идешь? — спрашивали мы.

— В кудакин дом, в гости к кудакам.

— Гаврюшка, расскажи про баринюшку и ружьишко.

Мы знали этот рассказ Гаврюшки о своем барине и часто просили еще раз рассказать.

— Вот я вас, озорники, — грозил он своей палочкой. Вид его был нелеп: в узком черном фраке, в узких брюках со штрипками, а на голове барская шляпа-полуцилиндр. Шею он повязывал белым платком. Он очень

походил на грача. А начнет нагибаться, фалды сюртука взлетают назад, как хвост у птицы, — и грач, полный грач.

В праздник он ходил по богатым домам с поздравлениями. Придет, постучит в дверь. Поставит свой посошок в угол. Снимет свой цилиндр и поправит платок на шее. Подойдет к хозяйке:

- Честь имею поздравить с праздником вас.
- А, это ты, Гаврюша! Ну, и тебя с праздником.
- Много благодарен.
- Иди, милый, на кухню, там тебе подадут.
- Много благодарен.

На кухне, где на столе выставлена четверть с водкой и тарелки с закусками: студнем, огурцами, вареным мясом, грибами, — виночерпий Панка (он исполнял эту должность в праздники) наливал Гаврюшке стакан водки:

- Пей за здоровье хозяев.
- Много благодарен.

Гаврюша никогда залпом водку не пил, а отпив два-три глотка, ставил стакан на стол, усаживался и, щелкнув пальцами, говорил:

- Закусим. Что это у вас — заливное? А нет ли, милейшая, хренку к нему? — спрашивал он Катерину.
- Хренку? Есть, да не про твою честь.
- Ну как же, милейшая, заливное всегда едят с хренком.

Панка, уже тоже попробовавший содержимое четверти, смотрит на Гаврюшку с удивлением:

- Ты, паря, все по-барски...
- Как же, привык-с. Мы с покойным баринном, бывало, за одним столом едали-с. Видел и я кое-что-с.
- Да барин-то, поди, одну картошку ел да, поди что, мясца соскребет с копыт-то, — язвила Катерина, намекая на клеевой завод.

Гаврюшка не считал даже нужным отвечать ей на это.

— А вот и ножа не положили, а тоже сервировали стол. Бабы — бабы и есть.

- Да что тебе, ирод этакий, еще нож надо?
- А ты не ругайся: не твое ем, не твое пью, а хозяйское. Сама Лидия Ивановна меня пригласила отведать на кухне.

Он съедал студень и запивал его водкой из стакана.

— Гляди ты на него, как молоком запивает, тьфу, нечистый. И водку тебя так пить научил барин?

— Что ты понимаешь, баба. Ее пьют с прохладцей. Это только мужики в трактирах пьют залпом-то.

— Тьфу ты, во грех только вводишь в праздник. Наливать тебе лап-

ши, что ли?

— Лапша в праздник! Ах, какая неуч ты, баба. Ну кто за праздничным столом ест супы? Бывало, мы с барином в такие-то дни только холодным и закусывали.

— Ну, для тебя не припасено разносолов.

— А бывало, вот мы с барином покойным выпьем, закусим, и потом подам я ему трубку. Он, развалиясь в креслах, и скажет: “Изобрази, Гаврюшка, прикажи мне, бариношке, взять ружьишко и убить зайчишку...”

Захмелевший от вина Гаврюшка уже ничего не ел и, сидя на лавке, рассказывал о своей жизни у барина.

— А однажды барин меня изволили подстрелить из ружья.

— Ну, уж это ты, паря, врешь, — говорил Панка.

— А вот и не вру. И сейчас еще снаряды во мне сидят.

— Да ты рябчик что ли, чтобы по тебе стрелять?

— А дело случая. Были мы, значит, с барином на охоте на Бердуковском озере. Приказал он мне уток пугать в камышах на другом берегу. А тут кряква и выплыви из кустов. Барин выстрелил, и дробь-то, видно, по воде скользнула да в ноги мне и ударила. Барин-то подошел ко мне, когда я в камышах лежал, и говорит:

— Не я виноват, Гаврюшка, а рекошет.

А что это за рекошет — не сказал.

Мы часто насмехались над Гаврюшкой. Пока он сидел на лавке и рассказывал о жизни у барина, привязывали у него на спине к фалдам бумажные ярлычки и не могли дожидаться, когда он пойдет по улице, чтобы посмотреть вдогонку, как бумажки будут красоваться сзади. Но приходил поздравлять с праздником еще кто-нибудь, и Гаврюшка уходил.

— Куда же теперь ты? — спрашивала его Катерина.

— А к господам Орловым.

И он уходил.

«ОГОНЕК»

Был он мещанин парфеньевский — дотошный, хитрый, смекалистый и быстрый, потому, наверное, и прозвали его Огоньком. Уж чем и как промышляли парфеньевские мещане, и сказать трудно. Но нужда научила их как-то вывертываться из всех случаев жизни. Все они имели семьи, невзрачные домишки. Вели хозяйство. Несмотря на то, что заработков в Парфеньеве не было особых, тянули как-то свои семьи. Жили разве базаром, который был в Парфеньеве каждый четверг. Народу на базар съезжалась тьма, и тут мещане не терялись: перепродавали что-то, скупали, а вообще-то, обжужливали темных баб и этим жили.

У Огонька на Завражной улице был свой домик, похожий на баню. Были и дети, и все они по прозвищу отца назывались огоньками. Другого и имени не было: Ванька-Огонек, Нюрка-Огонек и т. д. В Парфеньеве все имели прозвища...

Зимой Огонек орудовал на базаре. Он скупал у баб дерябу. Собирали ее в лесах. Эти длинные светло-лимонные плети росли в сосновых борах. Их собирали, сушили, и потом из них выбивали сухой порошок, ликоподий, и сдавали его в аптеки. Шел этот порошок в города для детских присыпок. Платили за него хорошо, и деревенские бабы поняли это и стали его усердно собирать.

Продавать его Огоньку привозили в лукошках. Вот он сидит на опрокинутой бочке. В руках у него безмен. Походит баба с лукошком:

— Кормилец, возьмешь ли дерябу?

— А много ли у тебя?

— Да фунтов пять тута, в лукошке.

— По полтиннику фунт, — предлагал Огонек.

— Что ты, кормилец? Купец мне наемни по семь гривен предлагал.

— Ну, так поищи, кто даст по семь гривен.

Баба стоит в нерешительности и собирается уходить.

— Стой ты, — хватает ее за кушак Огонек. — Куда?

— Да ты, батюшка, хоть бы гривенник набросил.

— Набросил бы, да не знаешь разве, что не мы, а казна цены устанавливает. Узнали еще, что опасен порошок, пожары от него. Как он еще пролежал у тебя и избу не спалил. Где хранила-то?

— На полатах.

— Вот видишь, баба, вовремя принесен, еще немного, и сам собой загорелся бы. Эх ты, темнота деревенская! Спалили бы избу-то, враз спалили.

— Да ты что, кормилец, мелешь? Как спалили бы? Спаси Бог. И слушать тебя негоже.

— А, вот как, — Огонек берет щепоть ликоподия, подносит зажженную спичку и дует легкий порошок на огонь. Порошок сгорает мгновенным фейерверком.

Баба, выгаращив газа, смотрит.

— Видишь, он как порох.

— Ну уж, возьмешь, что ли?

Он выхватывает из ее рук лукошко. Цепляет его за крючок своего безмена. А уж что у него за безмен, Бог знает. И взвешивает:

— Пять фунтов ровно.

“Значит, два с половиной”, — думает баба, и лицо ее светлеет: сколько

денег.

Он высыпает порошок в бочонок, стоящий рядом.

— Значит, с тебя два с полтиной, — говорит баба.

— Что ты? А тару-то считала?

— Какую тару?

— А лукошко-то. Что я за него платить буду тебе? Нет, шалишь, сейчас мы его свесим и потом вычтем. Сначала брутто иметь надо, а потом нетто вычесть...

Баба ничего не понимает. Огонек вешает не спеша на крючок своего безмена пустое лукошко и, пока не уравносятся концы безмена, ждет.

— Ну, видишь: вот на безмене зарубка, что пять фунтов, да еще половина. Значит, всего пять с половиной фунтов. У тебя было пять фунтов, теперь пять с половиной. Значит, с тебя полфунта. Плати четвертак.

Баба ошарашена. Она смотрит на безмен в руке Огонька.

— Да ты что, лешой! Мою-то дерябу ты ссыпал да еще и денег с меня спрашиваешь!

— Не видишь безмен-от. Было дерябы пять фунтов, а тара пять с половиной. Значит, полфунта с тебя.

Баба кидается по базару искать своего кума-мужика: его-то Огонек не надует...

Когда наступает грибная пора, Огонек целые дни в лесу. Он ходит за грибами по пять-шесть раз в день. Сушит, солит и потом продает купцам-скупщикам.

БАБА ВЛАСИХА

Жила она в слободе в маленьком домишке о двух окошках, как говорили раньше. Лет под шестьдесят, еще шустрая бабенка, она слыла самой вредной женщиной в слободе. Наденет на себя душегрейку, узкую в поясе, подвяжет платок под горлом, и видно только ее круглое лицо. И пойдет вдоль по улице. По тротуарам она никогда не ходила. В этих прогулках по середине улицы она выискивала тему для критики. И критиковала она вслух на всю улицу.

— Ну, Власиха двинулась, — заслышав ее визгливый голос, говорили в домах.

— Матушка Олимпиада Ивановна, что это своего пса выпустили? Я на него замахнулась, а он рычит. Разве дело таких злых собак на воле дергать? А если ненароком подол порвет?

— Да что ты, голубка, он у нас всегда так ходит. Ребенка не тронет.

Настроение у Власихи еще хорошее, и она не вступает ни с кем в ссору.

С Посадской горы навстречу бегут ребятишки. Между ног у них вицы, изображающие коней. В правой руке прутики-нагайки. Они, увидев идущую навстречу Власиху, останавливаются, раздумывая, куда бы от нее убежать. Но Власиха уже увидела ребятишек:

— Что же это за мамаева орда? Дела вам нет, только пыль поднимать.

Она вспоминает, что недавно из ее маленького огорода похитили подсолнух.

— Ребятки, вы не знаете, кто сорвал у меня в огороде подсолнух?

— Не мы, тетенька. Ей Богу, не мы. Это, наверное, полянские.

— А кто полянские?

— А мы не знаем.

Ребятишки, усыпленные ласковым голосом, и не замечают, сидя на своих импровизированных конях, как Власиха к ним подбирается.

— А я-то думала, вы знаете. Так значит, неведомо вам?

Ребятишки, раскрыв рты, смотрят, а Власиха, как змея к птичке, подбирается к ним ближе и ближе. Вдруг она, выбросив свои руки в узких рукавах душегрейки с нашитым на конце мехом и похожих на что-то мохнатое, как ястреб, хватает белоголового мальчишку Костьку.

— А, это ты, паршивец, у меня сорвал подсолнух!

Другие ребятишки, как горох, разбегаются в стороны.

— Власиха, Власиха! — орут они. Это сигнал опасности для всех ребят слободы.

Бедная жертва бьется в руках Власихи.

— Ой, тетенька, никогда не буду. И к дому твоему не подойду. Ей Богу, отпусти только!

Но из рук Власихи нелегко вырваться. Она хватается вицу — послушного коня мальчишки — и порет ею свою жертву. Парнишка орет на всю слободу. Его приятели пришли в себя, чувствуя, что они вне опасности.

— Власиха, Власиха, съела головастика! — орут они.

Власиха стервенеет. Она выпускает свою жертву из рук и кричит на всю слободу:

— Ублюдки слободские! Все в родителей! Чтоб языки у вас отсохли! Вон ты, скажи своей матке, чтоб портки тебе зашила. Народила природов бесштаных.

Заслышав шум, у ворот дома появляются взрослые.

— Ну, Власиха с ребятишками воюет, — говорит дядя Анисим, который содержит постоянный двор.

Из калитки двора выходит мать пострадавшего Костьки. Костька, подергивая сползающие штаны, стоит рядом, размазывая по лицу слезы.

— Что, попало? За дело, — говорит мать. Она придерживается такой

теории: лишняя порка не повредит. Но когда слышит замечание Власихи о бесштанном продах, уже не выдерживает и, как боец за правду, бросается на Власиху:

— Ты что, стерва, тут о бесштанном говоришь? Твое, что ли, дите? Вишь, заботу нашла. Срамит на всю слободу.

Власиха поправляет свой платок. Круглое лицо ее покрывается морщинками. Она как бы взвешивает своего нового врага и думает, с чего за него взяться.

— А, задело, задело за живое! Что же, сударка, вертела, вертела хвостом, как сорока, да и навертела. Вон они, твои гуляночки незаконные. Как разбойники. Проходу, проходу нет честному человеку.

— Уж не ты ли это честная-то?

— Да почестней тебя, по трактирам с барышником не треплю подолом-то.

— Да уж какой у тебя подол! Петя Морчик, и тот не соблазнится.

(Петя Морчик — это пьяница-сапожник, самый непутовый человек в слободе).

— Зато у тебя, сударка, вон сколько их. И отцов-то, поди, сама забыла. Не знаешь, который от кого.

— Стерва ты, стерва и есть.

— Ну, ну, хватит вам, бабы, — говорит дядя Анисим.

— А тебе что, пузатый черт: когда две собаки грызутся, третья не встраивай. Бабьих разговоров не слышал? Иди, иди, а то Меланья тебя погладит по жирному-то брюху.

— Ну, дуры — дуры и есть. Что с вами, дурами, делать, — и мужик отходит.

Власиха приводит себя в порядок и, высоко подняв голову, идет дальше по слободе, но ребяташки, уже предупрежденные криком товарищей, все начеку. Они спрятались за забором и зорко следят за своим врагом.

У дома на лавочке сидит дед Кирилл с длинной седой бородой. В слободе он слывет за умного, рассудительного человека и пользуется всеобщим уважением. Он бывший купец, по старости отошел от дел, передав все своим сыновьям.

— Здравствуй, батюшка Кирилл Иванович, — здоровается Власиха.

— Да ты чья, бабонька? — смотрит дедушка на Власиху.

— Дочка Никиты Петровича.

— Так Никитка твой отец? Сколько воды утекло. Что это ты, никак ругалась с кем-то?

— Да как же, батюшка, завели здесь моду — ребяташек распустили родители. Слово нельзя сказать им. Скоро на голову сядут. И так намедни,

сударь, огород разорили, огурцы вытоптали, подсолнухи сломали. И скажи маткам, так ты же и виновата будешь.

Дед Кирилл рассмотрел наконец, что перед ним Власиха.

— Ну, да и ты-то баба злая. Ни проезду, ни проходу от тебя нет. Иди-ка ты с Богом.

Власиха шествует дальше по слободе. На улице никого нет, и придраться ей не к чему.

Зато взрослые парни платили ей за свои детские слезы и за своих младших братьев своеобразной монетой — мезтью. На Масленице они однажды заложили ее двери дровами, и Власиха не смогла без соседей выйти из своей избушки. А как-то парни, забравшись на крышу ее домишка, опустили ей в печную трубу дохлую кошку, попав прямо в чугунок со щами. Но поделаться с парнями она ничего не могла. Те бы сумели спустить ее и с Посадской горы, задрав юбку на голову.

— Разбойники, разбойники и есть. Все в батек — таких же разбойников, как и детки, — только и могла она сказать.

К старости Власиха поутихла. Она часто сидела на приступках крыльца своей избушки и ругалась только с проходящими. Мы, ребятишки, с опаской пробегали мимо ее дома. И у нас даже появилось очередное спортивное развлечение: кто ближе пробежит мимо дома Власихи. И уж высшим достижением этих соревнований было на бегу чуть-чуть задержаться и босой пяткой ударить по калитке.

ВАНЯ-ЗЕМЛЕМЕР

Я его никогда в жизни не видел, но все-таки решил дать его портрет здесь. Зато сколько было разговоров о нем, что в голове у меня давно уже сложились и вид, и поступки его. Дом Вани-землемера стоял в Малой Слободке и отличался от всех домов тем, что был покрыт железом, покрашенным в яркий красный цвет. Для нас эта крыша была главным ориентиром...

Мимо этого дома мы боялись ходить. Его калитка и ворота были всегда плотно закрыты, и что там делалось за ними — мы не знали. В окошки мы тоже не могли заглянуть, так как они были высоко. И никогда не открывались двери в этом доме, мы не видели, чтобы кто-либо входил в него или выходил. Но дом был добротный, обшит тесом. Во дворе стояли сараи, сушилка, образуя замкнутый прямоугольник, и совершенно не было в заборе никакой щелочки, через которую мы бы могли проникнуть в этот загадочный для нас дом. Но дом этот привлекал нас, мальчишек. Около него протекала Течера. Летом это был чуть ли не пересохший ручеек с небольшими ямками, в которых водились одни лягушки, но зато весной, когда таял снег, Течера превращалась в сильный поток. Она была постоянным местом

наших игр. На ней случались заторы, и тогда прибывающая вода разливалась, затопляя улицу. Такой-то затор часто происходил ниже дома Вани-землемера. И как раз против его дома образовывалось озеро. И мы, мальчишки, на этом озере играли в свои детские игры. Но выходил кто-либо из слободских обывателей, пробивал воде отверстие в заторе, и вся масса воды со снегом устремлялась вниз. Озеро мелело, и нам больше нечего было делать у дома Вани-землемера.

Дома много говорили о Ване-землемере. Стар или молод он был, я не знаю. Но, что он был лысый, я знал из разговоров старших. И у них он так и слыл: Ваня Лысый. Но почему лысый, был ли он от природы лысый — неизвестно. Работал он землемером. Много разъезжал по деревням, лесам, нарезая и деля там землю. Останавливаться ему приходилось в деревенских избах, а он боялся клопов.

— Есть клопы? — спрашивал он хозяев избы.

— Как не быть, батюшка. Да ты не сумлевайся, они теперь как раз не пакостят. Весной еще кусали, а теперь нет.

Ваня никогда не ложился на хозяйскую кровать, а из ящичков из-под своих землемерных инструментов и чертежных досок, которые как принадлежности работы возил с собой в чехлах, устраивал посреди комнаты кровать и спал на ней.

Он был очень опрятен, и чист, и моден. Волосы, росшие по низу лысины, брил каждый день, и делал это сам. Может быть, потому-то его и звали лысым. Выходя утром на работу, он осматривался, нет ли облаков. И если на небе что-либо виднелось подозрительное — надевал калоши, брал зонтик и дождевик.

— Иван Абрамыч, да ведь сушь, неделю дождя не было, — говорили ему рабочие-мужики, выделенные ему в помощь.

— А вон на горизонте туман, видишь, кажется. Долго ли до дождя?

А если он уходил без своих противождевых принадлежностей, он весь день беспокоился, чтоб его не застал дождь. К вечеру он возвращался в деревню. В отведенной под квартиру избе он долго мылся. Заставлял баб поливать на себя воду.

— Ну, Иван Абрамыч, ты как новый пятиалтынный стал, — говорит ему хозяйка.

— Что ж, чистота — залог здоровья.

Хозяйка подавала ему обед. Чугун со щами приносила в его комнату и ставила на стол.

— Ты хоть подстели. Куда ты ставишь чугуны?

— А что, не в хлеву он стоял, а в чистой печи. Какая тут грязь. Я вот руками беру.

Иван Абрамович косился на бабьи руки, мало чем отличавшиеся своей чистотой от чугуна. Хозяйка всякий раз, поставив чугунок, отходила к притолоке и оттуда наблюдала за едой Ивана Абрамовича, и, несмотря на то, что у бабы была пропашь дел, она долго смотрела. Ее поражало то, как Иван Абрамович ест. Он полотенцем, вынутым из чемодана, перетирал тарелку.

— Да мыла ее, в двух водах мыла, — говорила хозяйка.

— Не мешает протереть. Ты, поди, мыла водой из колодца, а у вас там лягушек полно.

— Да ты что, лягушки в колодце-то!

— Если нет лягушек, то уж микробов-то полно.

— Каких таких микробов? Плетешь несуразное. Никто не видывал их. И не черпал. Батюшка каждый раз, как на молебен ездит, колодец-то святой водой крестит.

Затем Иван Абрамович вытаскивает из чемодана ящичек со своей ложкой, ножом и вилкой, обтирая их. Нарезав хлеб, он следил, чтоб ни одна муха не села на него, а если какая и успеет сесть, то место это в куске хлеба он вырезает. После этого, наливая в тарелку суп, Иван Абрамович долго рассматривает внутренности чугуна: нет ли чего подозрительного, вроде таракана или мухи, и, если в жирном слое щей замечал муху, вытаскивал ее на кончике ножа и нес хозяйке:

— А это что? Что это у тебя, спрашиваю. Неаккуратна ты, баба! С мухами суп варишь.

— Окетись, что ты! Это, поди, сажа свалилась.

— Какая сажа! Видишь, и лапки...

— Похожа-ка и на муху. Разве, как стоял на загнетке, так туда попала. Да выбрось ты, выбрось ее да и ешь с Богом.

Наконец щи наливались в тарелку, и Иван Абрамович принимался за еду.

— Ну, кашу нести пора ли? — спрашивала хозяйка.

Появлялся такой же грязный горшок с кашей. Тут удивлению хозяйки не было конца. Иван Абрамович срезал сверху поджаристый слой каши и накладывал в тарелку кашу из середины горшка. Он никогда не ел каши со стенок горшка.

— Что ты добро-то портишь? — говорила хозяйка, глядя, как Иван Абрамович выбрасывает верхний и боковые слои каши.

Щи и каша готовилась по приказаниям Ивана Абрамовича, и хозяйка считала эту еду не своего мастерства делом. Она всякий раз старалась накормить его своим кушаньем, что бы он оценил и, может быть, похвалил ее. Подперев рукой подбородок и шлепая босыми ногами по полу, она подходила к столу:

— А может, отведаешь драчены — мужики хвалили, когда ели. А то на заедку-то творогу со сметаной, разе, принести? Поешь ли?

Но Иван Абрамович отвергал все.

— Экой ты брезгливый. Поди, у матки так все ешь?

Бабе было обидно, что он отвергает ее стряпню, и она, гремя посудой, собирает ее на столе. Она бурчит:

— Сам отец Николай не брезгует обедать с нами, а ты сыт.

— Да пойми, я сыт.

— Сыт. Разве мужики так едят? Ты, как цыпленок, поклевал самую малость.

После обеда Иван Абрамович садится за обработку дневных материалов. Хозяйка с уважением глядит на его чертежную доску, на которой наколот лист бумаги, испещренный какими-то значками.

— А где наша-то изба?

— А вот, видишь? — показывает он на темный квадратик.

— Да разве это изба? И вида-то нет.

— А это вот дорога на мельницу. Это лес.

— Это кудри-то. Ну, баско у тебя тут все. Ведь вот головы тож. Деньги за что платят...

К вечеру, когда вся хозяйская семья пьет чай и на столе красуется нечищенный красный самовар, приходит и Иван Абрамович. Он несет в руке свой стакан, сахар, чай. Хозяйка срывается с места. Она вытирает стол, освобождая место Ивану Абрамовичу. Она довольна, что он сидит и пьет чай с ними. Ребятишки тут же изгоняются из-за стола. Остаются только взрослые.

Публикация В.К. Сморякова.

Лето в деревне

Николай Федосеевич Чалеев (1874-1938 гг.), народный артист РСФСР, известный под театральным псевдонимом “Костромской”, принадлежал к старинному дворянскому роду, издавна связанному костромской землей. Он родился в 1874 году в Петербурге в семье морского офицера. В 1902 году Николай Федосеевич, вопреки сопротивлению родных, считавших ремесло актера делом недостойным дворянина, впервые вышел на сцену в труппе В.Э. Мейерхольда; много играл в провинциальных театрах, а с 1918 года его жизнь была неразрывно связана с московским Малым театром. В 30-е годы Н.Ф. Чалеев работал над воспоминаниями, большая часть которых посвящена его детским и юношеским годам, когда он на лето приезжал из Петербурга или в родовую чалеевскую усадьбу Родионово (Солигаличский уезд), или — в усадьбу своего отца Спаское-Готовцево (Галичский уезд). Публикуемый ниже небольшой отрывок из воспоминаний описывает одно такое лето, проведенное Н.Ф. Чалеевым в 90-х годах XIX века в Галичском уезде нашей губернии.

Рукопись воспоминаний Н.Ф. Чалеева хранится в Государственном архиве Костромской области, в личном фонде А.А. Григорова. Воспоминания эти никогда не публиковались, лишь в 1993 году небольшой их фрагмент был помещен в журнале «Губернский дом». Читатель, безусловно, оценит незаурядный литературный талант их автора. Не сомневаемся, что, когда воспоминания Н.Ф. Чалеева будут напечатаны полностью, они сразу займут свое законное место среди классических литературных произведений, посвященных костромскому краю.*

*Чалеев Н.Ф. Мемуары // Губернский Дом. 1993, №3, с. 43-46.

Я уехал на лето в деревню...

Потянулись дни лета среди берёз, лугов, по межам ржаных и яровых полей, по берегам сонно бегущей глубокой реки. Вставало солнце, садилось солнце... Тихими ночами доносил ветер шум водяной мельницы и ароматы скошенной травы. Тявкали собаки, далеко кричали коростели и просили пить перепела. Колокол из села приносил грустный малиновый длительный вздох. Я ночами не читал, а глотал книгу за книгой. Золя, Доде, Вальтер Скотт укладывали в мозгах ведомые и неведомые мысли, и всё с завтрашнего дня представлялось необыкновенным, заманчивым, неизбежным, пугавшим как рог Оберона.

В разгар сенокоса я уехал в луга. На берегу омута, большого, глубокого, в шалаше с рабочими я жил день за днём. Ловил рыбу, варил себе уху, купался до одурения, читал, а в зной спал как убитый, так как ночи напролёт я был во власти природы. Туманы стлались над рекой русалочьими хороводами, бухал большой голавль своим мощным хвостом, и расходящиеся круги заставляли плясать отразившуюся в воде звезду.

Перезванивались колокола сёл, и по росе заунывный плач меди прилетал издалека. Это — Углево, это пробасила Бартеневщина, это — тенорок с поймы. Из-за леса прислала свою весть Троица, а это наше село проплакало о своём многовековом существовании. Всё спит. Только я да природа живем притаившейся ночной жизнью. Опять бухнул голавль, и опять заплесала звезда. И туман скользит.

(...)

Жизнь! В голове моей калейдоскоп всяких мыслей, в которых я разобрататься не могу. Туман скользит, одно прикроет, другое откроет. Как должно быть, не знаю, но так, как существует всё, быть не может. Не для этого природа создала свои красоты, не для этого течет эта река, украшенная хвощами и убранный, как невеста, лилиями. Не для этого перекликаются колокола. В налетающих грозах мне чудится гнев большой, мудрый, словно предупреждающий...

Начало июля. Суббота. Солнце было ещё высоко, но сенокосный люд тронулся по деревням. Тащились телеги, нагруженные всякой деловой рухлядью. С задков свешивались грабли, вилы, болтались деревянные ведра. На облучках сидел почтенный народ, бородатый, или закутанные по-зимнему старушонки. Впереди обозов валил молодой народ и средний возраст. На плечах — косы, грабли с привязанными к ним точильными лопаточками.

С песнями проходила деревня за деревней. Ивановна с Наташей Румянцева впереди, красавицей сказочной: от взгляда одних синих глаз этой

царевны-Весны мурашки бегали по спине. Промелькнули Еловка, Лемешово, и замкнуло шумное шествие Кончино с пьяным Ильюшей Кирилловичем в самом хвосте. Ильюша орёт нашей артели, что он не пьян, что это только примерка. Но завтра его узрит свет во всей славе. Илья Кириллович — портной. Всю зиму на салазках возит свою зингершу из деревни в деревню и шьёт всё — и городское, и деревенское. Его гордость, вершина творческого достижения — “астриские тужерки”.

Тронулась и наша артель. Три телеги. У коновязей <нрзб.> образца неупряжные лошади. На одну уже загромоздилась озорная Дуняша, слабое, рябоватое, весёлое существо, запевала во всём, и в работе, и в веселье. Тронулись. И за нами повалили толпой остальные. Наши мужчины не поют, так как народ прихожий, разноместный. Вологжане, макаревцы, заволжские из-под Иванова... Только бабы местные, и поэтому за всех отдуваются довольно согласным писком. Артель удаляется, змеится по заворотам дороги: то пропадут за кустами, то опять появляются уже меньших размеров и вот, мелькнув совсем небольшим пестроватым пятном, исчезли в зеленом просторе.

До понедельника один. Обошёл по берегу реки свои жерлицы. С одной снял двухфунтового щурка. Прекрасный ужин готов, чего ещё. Наготовил дров. Буду пить чай долго, читать около костра. На утренней заре выкупаюсь и спать часов до десяти, а там опять жарницы. Задумано поймать пудовую щуку, которая в большом омуте на крутине ходит, видится, гоняется за мелочью и не обращает никакого внимания на мои жерлицы.

Спустился лиловый, ясный, совсем тихий вечер <нрзб.> ещё больше, поцеловавшись с ушедшим на ночь солнцем, поголубел, украсился летними бледными, редкими звездами и затих, притаился. Огонь костра окружился кольцом густой теплоты и лег красноватыми бликами на куст лозины, на сплошную прибрежную стену хвоща, чуть шевелящегося от пробивающихся среди него струй реки. Далеко надсаживался дергач, такой нужный, так подчеркивающий тишину. В зарослях сухого болота <нрзб.> сова, жалобная, одинокая. Ф-ю-ю-ю-ю-ю... просвистал крыльями запоздавший выводок уток. Хороши звуки тишины.

Чайник на козелках начинает поплевывать. Сейчас закипит, выбросит струйку в огонь. Зашипит огонь, изовьется пар облачком и красноватой тенью исчезнет в темноте.

Я люблю сидеть у огня и слушать ночь. Должно быть, частицы предков моих, ногайцев, копошатся во мне и вызывают какими-нибудь рефлексомы ощущения давно миновавших поколений. И в это время за моей спиной вновь послышалось фью-ю-ю, ближе, ближе, низко, так низко, что заденет за голову.

Я невольно пригнулся к земле. Звук быстрого полета промчался надо мной, и из этого звука вырвался голос, сильный, точно знакомый, сказавший:

— Хороший вечер, Коля!

Я вскочил на ноги, обежал вокруг шалаша, ближние кусты и необрученные кошны. Никого. Крикнул:

— Кто?

Эхо повторило:

— Кто?

И мне стало страшно. Страшно пустоты. Я пробежал шагов сто по направлению промчавшегося звука и ещё раз позвал:

— Эй!

И опять эхо передразнило:

— Эй!

Я перебрал в памяти все знакомые, успокаивающие слова: галлюцинация, обман слуха. Мне было страшно так, как никогда в жизни. Такой длинной ночи я не помню. Она тянулась полная жути, и каждый шорох, знакомый и понятный с детства, выпадал из анализа моих мыслей и мучил новыми представлениями. И только когда на небе появилась первая слабо окрашенная кармином полоска начинавшейся зари, с меня сошло это оцепенение страха.

* * *

Я наблюдаю деревенскую жизнь во всех её разновидностях. Какая глупая русская жизнь. Помещики. Крестьяне. Кулаки. Земство. Земские начальники. Чересполосица, пни, бессмысленные болота, праздники, авось, ничегонезнание и наука стяжания, передающаяся из рода в род, как священное предание. Житейская мудрость, на которую обывательщина указывает перстом. Вот самородок. Вот народная мощь... Вот у кого учитесь... Вот кто оплот державного строительства, столпы православного мракобесия, зарницы будущей российской мощи. Вот она, матушка. Суздаль, Москва, Вологда, Владимир, Псков, Пермь. Бездорожная, полусоломенная, межам скрученная, перекрученная, засоренная вредным злаком. Вот они урожаи, сам-пять, сам-третьей, стога всякой <нрзб.> да горьких цветов, кислой подболотицы да ржавой осоки.

Вечный труженик мужик, труженик на себя, а больше на других. Карьки да Гнедки, не вылинявшие до пол-лета. Пузатые телята и заштукатуренные по самые брови навозом маломолочные Буренки. Бабы без годов старые. Ребята, от младенческого мора уцелевшие, уже рахитом украшены от вина и сифилиса. Хитроумный питерщик-кулак. Дом выкрыт железом, окна

в рамках кабацкого выполнения пошлых наличников. Кисейные занавески, венские стулья, горки с золоченой посудой. Фигуры, герани. В сарае — казанский плетеный тарангасик. Оплот деревни. Банк-благотетель. Богу усердник, перефлюнувший скромный помещичий колокол своим, московским, блестящим, с темными опоясками, с выпуклыми изображениями подобающих святых и со славянской вязью. Колокол сей иждивением такого-то, Николая Егорова, в лето такое-то весом в 404 пуда 17 фунтов водружен на вечное поминовение и сооружен в граде Москве. Бухает колокол и веселит сердце Николая Егорова, и видятся ему двери райские отверстыми, и гласы сладкозвучащие взывают: “Приидите, труждающиеся и обремененные!”

А обременений не исчислить. Кто в деревне ископал кладезь в пятнадцать саженой глубины? Он, Егоров, и от кладезя сего идет пить вся деревня. Правда, за сие питье вся деревня отработывает ему, Егорову, в навозницу два дни, и в жатву два дни. Греха тут нет, по-Божьи. Он не неволит. Копайте себе колодцы, либо за версту ходите на реку с ведрами, либо вкушайте зеленую воду, что отстоялась посреди деревни в воночий прудок. Всё по-Божьи. И хлебом, и сеном, и деньгами благотельствует этот ласковый, обходительный Егоров своих ближних. Процент не велик. За пуд хлеба — полтора, за копну сена — полторы. За семь рублей на билет в Питер парню на заработки — изволь, милый, осенью десять отдашь, да в заклад положи хомут с набором. Оно и верней, да и сохранней. Невмоготу кредитору оплатить по условию — не беда. Отработашь понемножку горбом, и мне, Егорову, не в убыток, и Богу приятно взирать на столь любовные отношения. Живет Егорыч, поглядывает на то, что творится вокруг него, и потирает свои обремененные ручки. И будущее светло. Разгорается его мечтание. Как только барин Колупаев доедет свою последнюю тройку, износит последние сапожки и перезаложит в третий раз свою Колупаевку, Егорыч тут как тут. С переводом банковского долга в недвижимую собственность с приложением печати указанного числа войдет новым хозяином в прадедовскую вотчину нетароватого барина, и дав ему, барину, на выезд тысячонки две третьих мужицких ассигнаций, пожелав счастливого пути, завладеет имением в 500 десятин всяких угодий, лесных, луговых и пахотных, и раньше, чем барин Колупаев проживет свои последние две тысячи, он, Егоров, своим мужикам-соседям покажет такую отечественную вековечную мать, что они, мужички, ревмя заревут.

Колупаевы, Зеваевы, Вихряевы и прочие остатки когда-то сытых помещиков одни за другими вылетают из своих Отрадных, Малиновок, Зеваевок, насиженных дедовских теплых уголков, в города. Вылетают с вытаращенными глазами, ничего не умеющие, ничего не знающие и рады-радехоньки, если их примет в лоно акцизное или какое-нибудь другое учреждение.

Некоторые Колупаевы пробуют барахтаться. Примазываются к земству, в качестве члена управы продолжают ничего не делать, или присматриваются в земские начальники и, надев дворянскую фуражку с красным околышем, несколько лет путают дела, и в конце концов, если не попадают в объятия Фемиды, то в егоровские попадут обязательно.

На моих глазах тают помещики. Выводится эта порода людей. Ещё в детстве, я помню, как ими кишел наш уезд, а теперь ни духу ни слуху о них. И косточки свои дворянские разметали по чужим местам.

Держатся ещё в порядке те имения, хозяева которых на служебных ступенях имеют возможности поддерживать свои гнезда и сыпят в них самым глупым образом деньги на радость своим прикащикам. Уходит земля от владельцев стародавних, плывёт мимо мужика, вековечного работника, прямо в руки нарастающего, нового, жуткого помещика, который крепок, хитёр, хватист и, точно рассчитывая на много лет вперёд, копит к грошу рубль, созидаёт не дома с колоннами, не парки с прудами, не миловиды с трогательными наименованиями, а крепкие мельницы, лавки, трактиры по трактам.

Звонят колокола, и гудит в их звоне недоумение. Проходят грозы, и в громах их гнев, мудрый, предупреждающий. Ой, больна моя родина.

Пьяная бедность мужиков. Пьяное догуливание помещиков, пьяные праздники от Егория до Егория. Беспомощное земство, глупая опека земских начальников, выдуманного бессилием, положение, продиктованное страхом. Ездят урядники, рычат исправники. Читают попы с амвонов проповеди, написанные Святейшим Синодом на всякий день и на всякий случай. И всё мертвеет... Да воскреснет Бог!

* * *

Я ходил на мельницу. Слушал гудение порхающих осьмериков, вдыхал в себя крепкий запах давленого зерна. Бродил по плотинам. Выкупался в чистом разливе мельничного пруда. Нырлял и в глубине старался смотреть открытыми глазами, как солнечные лучи играют на подводных стеблях лопушника. Долго сидел на берегу голым и, как молодой зверь, наслаждался тёплым ветерком и горячим солнцем. Ко мне подошёл помелец, давний мой приятель и друг Петр Павлов, столяр-краснодеревец, редкий мастер. Слабость к вину не пускает его в город. Несколько раз он пропивался до креста и решил жить дома. Небольшого роста, плотный, как цыган, заросший черными волосами до самых глаз, П.П. словоохотлив, любит “хорошие слова” и пускает их в оборот с удовольствием. Он — страстный охотник-рыболов. Всею округу мы избродили с ним и с ружьями, и с удочками. Сколько ночей проспал с ним в лесах около костров, сколько раз приветствовали восход

солнца и провожали его на покой.

Он мелет, его очередь. Только что засыпал мешок ржи и вышел ко мне. Нос в муке, борода напудрена.

— Николай Федосеевич, пойдём на днях в Левкино. Тетеревей не брать. Медвежатники, сказывали, места укажут. Звали.

Левкино славится медвежатниками. Три брата, специалисты по этому зверю, занимаются ранней зимой выслеживанием берлог и потом их московским любителям этой охоты — Рябушинским, Третьяковым, Коншиным и пр. <нрзб.>. Все перебивали в избе старшего брата, Алексея Ивановича, со своими тысячными ружьями и много денег оставляли братьям за удовольствие всадить пулю под правую лопатку разбуженному зверю. Искусство братьев состояло в том, что они по заказу поднимали медведя из берлоги. Дубками или вылетом. С помощью своих замечательных лаек левкинские охотники поставляли зверя московским тароватым гостям, как говорится, безосечно. Всякую птицу, кроме глухарей, братья презирали и не тратили на них зарядов. Хорёк, норка, лиса, выдра, горноста́й, барсук, куница, белка, лось, медведь и редкая госты́я-рысь — вот что привлекало внимание этих заядлых охотников. Вся тройка была мечена близким знакомством с лесными жителями. У младшего правая нога была обручем от лосяного “леса”, по его выражению. Он неосторожно подошёл к смертельно раненному животному, чтобы его приколоть ножом. А он как ляжет — так мосолок и вышиб. Два месяца на печке отлеживался он. Костоправка ладилась — не наладила, нога обручем и осталась, на лыжах не так способно стоять. Он изобрёл для себя ортопедическую правую лыжу, с небольшой скамеечкой под пятку, на которой он не хуже братьев.

Второго малость пожевала рысь. Плечо, стерва, изгрызла. Зажило, только к погоде сучает.

Третьего, Алексея Ивановича, причесал медведь. Росту всего двух аршин и в плечах шири не меньше полутора аршин. Весь крепкий, каменный, непомерно сильный. Он считал для себя унижительным стрелять по медведю и сам ходил на него только либо с ножом, либо с рогатиной.

В один несчастливый день, “не с руки”, он “мазанул” ножом не больно складно. “Он, стало быть, осерчал и махнул лапой по башке меня. Хоть голова и была укутана по-охоцки, а всё с затылка овчину собрал в гармошку. Не приросла вновь, так куцым и живу”. У Алексея Ивановича перед головы был густо волосатый, а затылок лысый, покрытый блестящей бугорчатой кожей. “Полгода от окаянного без шапки ходил”. От приглашения таких охотоведов как отказаться?

— Ну что ж, Петр Павлович, в субботу и махнем к ночи. Воскресенье день свободный. Алексей Иванович сам лучшие места покажет. Если много

набьём, Симаковский Дмитрий свезет дичь домой, а мы пройдем на Нелидово, к Петру Генриховичу.

— Ладно. За мной зайдите по дороге, и тропами пройдем через Кладово, казенными дачами прямо на Мягкова, сукина сына, а там до Левкина полторы версты, не боле.

Мягков скупает у глядящих в трубу помещиков леса по дешевке и сплавляет их по реке Нёмде в Волгу, к Юрьевцу. Петр Павлович не любит ни тех, кто покупает, ни тех, кто продаёт.

— Мужик рубль дает, да не сразу, а этот стервец копейку даёт сразу, а барин давно считать позабыл, ему и любо. Скоро от этих стервцов все без порток пойдут — и мужики, и बारे, мать их в колоду, извините за выражение. Вот погляди, года два пройдёт, оставит нам пеньки этот взлеток, а сам в кушцы выйдет. Даве был в Галиче, гляжу, у Громова сидит в биллиардной. Два стола сдвинуто. Водок всяких понаставлено, и печеного, и вареного, и соленого, и господа с ними шары катают, и Ардальон Иваныч, и Николай Васильич, и этот огарок, Кузька. В чем душа держится, и тот тянет от двух бортов в третий. Поглядел я. Махнул палкой мимо шара. Все, это, га-га-га да го-го-го. Серо, говорят, играешь! Это хам-то барину. Он хоть и Кузька, а всё-таки в учении был, с чином. А этот просто разбойник неведомый... Мягков, а что такое, неопределенно. А заметь: у Ардальошки гривка хорошая подошла под самый <нрзб.>, у Николая Васильевича по весне в Волгу уплыла. Понимаешь, какая тут игра? Последнее спускают господа честные, а кто подбирает!

Геннадий Кириллович, уж на что солидный человек, и тот рад, что дерьмо подыгрывается. Против тебя, говорит, другого игрока не видел. Ведь вот какая подлость человеческая. Значительный человек, в земских ходит который год, в загранице, говорят, был, всякие города видел — эти италии, туркестаны, и тот перед этим дерьмом приплясывает.

Стал Васька* нацеливать в другого шара, палкой, это, помахивает, раскачивает, а Кузька и подвернись. Он его палкой-то в рожу. Все опять га-га-га да го-го-го. А Васька хоть бы что, только говорит: “пардон!” Это по-французски. Закипело у меня в печенях. Так и тянет по морде звездануть этого француза. Ушёл и с досады, нарочно так-то нарезался, что шапку потерял. Заходил к вечеру к Громову, думал, найду там Ваську, так пропишу ему пардону во всю рожу. Нет. Уехал с господами за озеро, зря только в участке ночевал. А ты чего голый сидишь, не оболочаешься?

— Для здоровья. Полезно голым на воздухе посидеть.

— Ну, тебе видней, по-ученому. А я к тому больше, что с того берега

*Мягков. (Прим. ред.)

Дуська Агеева сколько времени глядит, будет уж ей. Одевайся. К вам гость приехал, Аполлон Николаевич. Ехал мимо, видел, как он в ворота нацеливался. Вот тоже чертов праведник. Этот уж не кушит, а так продаст, что ещё хуже начешешься. “С меня, — говорит, — в Сумароковском монастыре бога Саваофа списывали, уж очень у меня, — говорит, — лик светлый, нет такого другого во всей губернии”. Слышал? А ты чего двое порток носишь летом?

— Приличней так, Петр Павлович.

— Денег у вас много, вот и балуете. Приличней! А карпетки одни и рубаха одна. Почему так? Задницу бережешь, а прочее студишь. Денег у вас много! Царь, поди, дюжину порток сразу надевает. Эх, денек бы пожить так. Ну, прощай, Николай Федосьевич, до субботы. К вечеру ждать буду.

Петр Павлович пошел на мельницу, а я тропкой с плотины под густыми порослями орешника — к селу. Дома я действительно застал Аполлона Николаевича Вихорева.

(...)

* * *

Совсем свечерело, когда мы подходили к Левкину. Тропинка пробиралась между громадными, стройными, золотыми соснами. Ни сучка, ни задоринки. Только самые вершины разбегались в небольшие плотные кроны. Направо бор начинал редеть и через поляну маячили стройки Мягковского хутора. Тявкали собаки.

Тропинка повела нас под гору и сразу оборвалась крутым рыжим, глинистым обрывом. Внизу, через кусты черной смородины и группы орешника, перевитого диким хмелем, поблескивала неширокая речушка Безьямка. Противоположный берег поднимался отлого зелеными суходолами, и на самом гребне его притулилась живописная деревенька, вся в тени больших тополей и пышных черемух. Типичная костромская деревня. Домов пятнадцать. Дома рублены из кондового прадедовского лесу, крыши и соломенные, и тесовые, и дранкой крытые. Через все крыши выглядывает небольшой <нрзб.> Алексея Ивановича дом. К нему прирублена зимняя половина пониже, и теплее значит. В мезонине светелки с итальянским окном в три просвета. Фальшивый балкончик сжался между двух расписанных колонок, поддерживающих фронтончик, в котором прорезаны сердечки для удобства ласточек и между сердечек прибита жестянка Русского страхового общества.

Алексей Иванович встречает нас на крыльчке господского склада. Он радушен и приятен. На нем белая с синим горохом рубашка навывпуск, широкие штаны из синей китайки и на босу ногу одеты шитые шерстяными туфли, забытые, наверно, московскими охотниками. Здраваясь с нами, он кри-

чит в дом:

—Лександровна, приспособивай самоварчик. Странники пришли. Проходите, Николай Федосьевич, Петр Павлович. Милости просим.

Мы шагнули в просторную избу через высокий порог. Нас встретила высокая, складная, сероглазая Анисья Александровна, супруга Алексея Ивановича, так же, как и он, радушная и приятная.

— Пожалуйте, скидавайте амуницию, Николай Федосьевич... К окошечку. Тошила нынче... как бы жарко не было... Петр Павлович, пожалуйста. Сейчас самоварчик скипит.

Изда нарядная, стены струганые. В правом углу резная божница со старинными иконами, которыми хозяин гордится. Перед божницей висят три лампадки с разноцветными стаканчиками. Налево перегородка, за которой царство хозяйки — горшки, крынки и прочая худоба. На перегородке в золотой рамочке висит похвальный лист от Галичского земства за истребление волков. Напротив на стене висит редкий лубок, доказывающий склонность хозяина к философствованию. На карточке изображен горбатый мост, на который радостно лезут люди всех рангов и всех возрастов. На высшей точке моста три белых фигуры: одна с косою, другая с весами; между ними третья фигура с перстом, указующим на надпись, которая гласит:

Чуден в свете человек,
Суетится целый век,
А того не воображает,
Что судьба им управляет...

С моста спускаются люди далеко не благополучно, кто на костылях, кто прямо летит с моста в воду, кто на собственных средствах сползает, оборванный, больной и несчастный. Редко кто восхождение совершает благопристойно, как говорится, в своём виде. Но что всего удивительней, что все эти благополучники разукрашены мундирами, лентами и орденами. Надо думать, что мундир, орден, лента — символы добродетелей и что только добродетель помогает беспрепятственно одолеть лестницу. Под ногами одного генерала с воинственными усами путается какая-то непрезентабельная фигура в очках и с книгами под мышкой. Конечно, этот представитель науки личный враг и добродетели, и Аполлона Николаевича Вихорева.

— Заинтересовались картинкой? — спросил хозяин.

— Да, занятно, — ответил я ему. — Странно только — на этом мосту крестьян нет, одни господа да купцы.

— Это точно: про господ и купцов больше нравоучение представлено — для вразумления, так скажем. А вот тут, извольте взглянуть подальше, картинка про мужиков будет. Вот, обратите внимание: “Семь смертных грехов” называется. Видите: Зависть, Злоба, Пьянство, Блуд, Обжорство,

Убийство и Отчаяние. Это уж про одних мужиков: ни генералов, ни купцов не видать. Тут уж одни мужики изворачиваются.

Хозяйка накиннула скатерть на стол в переднем углу, поставила несколько тарелочек с грибами солеными и маринованными, блюдо с нарезанным студнем, мисочку с тертым хреном со сметаной и большую сковородку с яичницей-глазуньей. В проволочной сухарнице, покрытой цветной салфеточкой, лежал душистый, пухлый сеяный “мяконькой”.

Алексей Иванович живет хорошо, со вкусом и понимает настоящее обхождение. Он вышел в сени и вернулся оттуда с гранёным штофиком беломолочного стекла с металлической пробкой.

— Перед чайком по единой выпить и закусить, чем Бог послал и хозяйка наготовила — не вредит, а во спасение души и тела, милости просим. Пожалуйста, Петр Павлович, Николай Федосьевич, и вы, Лександровна, пригубьте за здоровье гостей.

Он налил четыре пузатеньких, барабанчиком, рюмки. Мы чокнулись, выпили и закусили такими грибами и таким, как оказалось, не студнем, а заливным глухарем, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Петр Павлович собрал лоб в складки, зажмурил глаза, крикнул и, склонив на бочок свою цыганскую голову, блаженно расслаб.

— Против Анисьи Лександровны нет другой бабы во всем уезде, а быть может, и в целой губернии. Зла до стряпни, — преподнёс он хозяйке комплимент. Выпитая водка имела какой-то своеобразный бальзамический вкус и чуть желтоватый цвет.

— На чем ты, Алексей Иванович, настоял монополию-то? — поинтересовался я.

— Рецепт старинный, прапрадедовский, — ответил он. — Название настойки “На семи иглах”. Всякой хвои по игле и семь раз повторить. От сосны свечечку, от елки зеленой лапочку, от голубой также, от елки черной щепоточка, от мужевели малая веточка, от морушки пять ягодок и всё это сбрата с кедровой зеленой шишечкой. Семь раз столько взять на ведро, и устою шесть месяцев в голбце, и перед потреблением процедить и разлить в стеклянную посуду, чтобы от дерева не было лишней горечи. Напиток не вредный и даже при ломотах и всяких прочих закрутах полезный, а потому повторить обязательно под груздочек.

Выпили ещё по одной и забастовали, так как утром хотели идти раненько, и даже Петр Павлович категорически отказался от третьей рюмочки. Чайку попили всласть с медком — и сотовым, и самотечным. Перед сном Алексей Иванович показал нам свой арсенал. Прекрасный английский штуцер — подарок не то Рябушинского, не то Коншина.

— Эта штука нам ни к чему. Нарядна и работа первых сортов, но бой

силён. Разрывных пуль мы не потребляем, потому ни к чему. Много порчи выходит, а окромя всего, при крепком бое зверь не всегда чувствует. Либо уйдёт и неведомо где подохнет волкам на добычу, либо тебя так разделает, что и на том свете не очухаешься. А в сердце не каждый раз угодишь. Он тоже понимает и прячет его. Нагнёт башку чуть не под брюхо да вальком на тебя выкатит, ищи сердце. А вот эта тульская двустволочка не в пример способней. Бьёт не в верстах, а в шагах, эта и бьёт, и ушибает. Потапыч сразу, значит, ослабнет и сдаёт. Тут, главное, собака хорошая: как дома на печке, а с плохими лучше и не ходи. А лучше всех ружей вот. Бери эту штуку, да эту.

Он показал широкий сыромятный, очень длинный ремень и длинный кинжал с крестовиной внизу ручки.

— Вот этой сыромятиной поверх тулупчика раза в четыре перевьёшь туго-наутго левую руку, конец зажмешь в кулак, да сверху кожаную варежку натянешь, а в правую булат. Как собаки подымут тебе зверя на дыбки, иди на него, левую руку норови в хайло, а правой чиркай под левую, малость наискось, как раз тут и сердце будет. Эта охота любительская. Есть такой Ширинский-Шехматов (может, слышали?), так вот с ним мы хаживали. И он ко мне, и я к нему в Новгороде ездил. Этот понимающий. А московские приедут, больше шуму, чем толку. Уставятся круг берлоги, против окошка, жеребья потянут, кому первому бить. Так иной раз башки мишка выставить не успеет: трах, трах, трах... А разговору послушать — герои. Каждый раз боюсь: перебьют, лешие, собак.

Раз потеха была... Становой I-го стану как-то увязался с нами из Галича. Всяко занимал их, утешая. Ну, известно, становой по своему месту первый человек. И то может, и другое может. Конечно, чин. Ну, выпивал с господами и всё по-хорошему. Стало подходить к свету: собрались. Встали на лыжи. Пошли, и становой с нами. “Я, — говорит, — на своем веку <нрзб.>”. Ну, врет, конечно. Нам-то его век очень хорошо известен. Ходу было немного. Верстущек с трех от гуменников завалился немудрящий зверёк, всего пудов на восемь, много — на девять. Пришли, уж засерело в лесу, четко видать. Морозец небольшой, тихо. Из берлоги парок идёт, и ветку над ней заиндевело. Тут голубчик. Спит. Обмяли вкруг снег, всё как полагается. Жеребёвка: становому бить третьим. И ему дали жребий из деликатности.

— Эх, — говорит, — жаль, не первым... Я, — говорит, — на своем веку...

Собаки настрекали мишку, расстроили его. Полез, заорал. Собрался, было, вальком, а пес его, скажем, за ягодицы — цоп. Обернулся, хотел лапой махнуть по псам, а те в стороны. Он направо, а слева его Боек — раз.

Он к Бойку обернется, а справа его Мотря — раз. Он к ней. А перед ним народ. Совсем осерчал зверь. Растопырил передние лапы и попёр прямо на станového. Ну, конечно, бац, бац... Рывкнул и ткнулся лбом в снег. Поддержался и приказал долго жить. Ну, поздравляют друг друга. А становой столбом стоит и не моргает даже.

— Что же вы не стреляли? — спрашивают. — После первых двух выстрелов он ещё, говорят, стоял на ногах секунды три... Да что с вами?

Батюшки! Его благородие со страху весь обвалялся... В город в моих штанах уехал, а за своей амуницией недели через две урядника прислал вместе с запиской: возвращаю, мол, тебе твои принадлежности, а если разговор пойдёт, то ты, мол, смотри, опровергай всячески эти слухи, так как подрыв власти, и я, дескать, в невыгодном положении являюсь перед населением. А чего тут опровергать. Был я вскорости после этого происшествия в Москве по делам, заходил к этим приятелям. Те в один голос:

— Ну что, — говорят, — как ваш этот засеря, ходит на медведя или закалялся?

Так вот, как на медведей без привычки ходить. А вот эта штука старинная, калибру восьмого, я думаю. Отец покойный переделал ее с кремня на пистонное. Этой стволине годов нет. Со времен боярских повелась она у нас в роду. Мы господ Свиных были, надо вам сказать, а допреж того звались они Хряками и очень на это обижались, ну, которая-то из Екатерин, Первая надо быть, и постановила им в фамилии Свиными быть, а не Хряками... Так вот, стволина та пришла к нам еще от Хряков, а по какому случаю, наверное не знаю, а думаю, что по охотничьей специальности, так как все из роду в род мы, левкинские, были медвежатниками, потому что всякого зверья на моей памяти было куда больше нынешнего. Ну, которые поотстали, побросали исконное занятие, вплотную сели на <нрзб.> крестьянство, только мы с братьями отстать не можем от этого азарта. С нами, почитай, и все Левкино замолкнет.

Три нас брата, и все без сынов. У Михаила, среднего, хоть девок напечено шесть персон, а у меня всего ничего. Уж как с молодю старателен был насчет потомства. Просто убивались с Александровной моей на этом деле, а всё ничего. Уж моя ли баба не гожа? И статна, и крепка, и ухватиста, а вот не хватило разуму на это производство.

— Буде врать-то, — раздался из-за перегородки голос Анисьи. Алексей Иванович подмигнул глазом в сторону жены.

— Обиделась, — шепнул он. — Ну, либо огонь зажигать, засумерничались, либо на <нрзб.> сны глядеть. Последнее, думаю, складней, так как поход ранний, чтобы к <нрзб.> росы быть на малинниках. Ходу верст семь обязательно будет.

Нас устроили на сеновале. На свежее, не умятое ещё сено постелили полога, под головы — подушки в ситцевых наволочках, для укрытия — зипуны. С большим удовольствием стянули мы с себя сапоги и развалились на мягчайших перинах. Какой ароматный воздух! Какая ночь глядела в открытые ворота сеновала! Чернел гребень могучего леса четким силуэтом на синем небе, на котором тихо рдел дубль-вэ Кассиопеи. Тишина шептала ровным гуденьем. Это леса переговаривались сквозь сон о своих великих делах. Откуда-то доносилась чуждая этой ночи музыка, и чей-то хриловатый голос выводил знакомо городскую оперную мелодию: “Состружду вас я всей душой...”.

— Где это играют? — спросил я.

— У Мягкова за рекой вертят граммофон, — ответил Алексей Иванович, примащивая свою постель в сторонке от нас, — гости, должно быть. Забавляет их. Полтораста рублей, говорят, заплатил в Москве за эту машину. Вредный человек, — помолчав, добавил он.

— Попросту сукин сын, — буркнул Петр Павлович.

— Чем вредный? — спросил я Алексея Ивановича.

— Да почитай всем... Царствует в своё удовольствие над народом. Спавивает крестьянина. Чего трезвый не сделает — пьяный с полным нашим удовольствием. Вот лес возили на <нрзб.>. У людей с чередного дерева тридцать пять, сорок копеек, а у него двадцать. У всех по-Божьи, а у этого по контракту с неустойкой. И суда всякого, и ругани, и чего-чего нет. Оно хотя и близко по нашей местности, а все больше трех раз не съездишь в день. Навали, да свали, да пройди туда, да назад шесть верст. А велик ли зимний день-то, лошаденки вымотанные, сколько увезут? — два-три бревна, и то от силы. Чего мужику остается? А рядились, вино пили, торговались — сбавляли. Которые вперед забрались — нужды всякой мало ли? Тут дыра, а там две. Налоги всякие — и земские, и волостные. Кто послабей духом — все у него в хомуте ходят.

У николевских была своя стародавняя гривка бережная, десятин с полста, а то и больше. Как волпо объявили, старички, значит, у господ на паях и купили. Тогда многие обиделись на счет лишения права. Капиталов не было, мужицких рук не стало. Испугались нового положения, ну и двинули один за другим в города. Продавали почем зря. Которые с умом из крестьян, ухватили клочки, только мало... Всё больше уплыло к купечеству да к разным крючкам, что около этого дела вертелись. Ну, николевские берегли свою дачку. Сосновая, стоит, что ей делается? Баловства нет, кругом в лесу. От нас, почитай, верст на сто к <нрзб.> из лесу не выйдешь. Прорезала его железная дорога, а там опять до самого Уралу как зеленое море. Борони, Господи, только от пожару, а то стоит, из веку в век красуется да смолой набирается

лесная сила. Местами еще красной сосны найдешь вволю. Ну, стало быть, наш Васька и оскалился на <нрзб.>. Поёт соловьем, около мужиков похаживает, тому да другому денежки посовывает, платежки отсрочивает да процентики насчитывает, а тут у никольских целый порядок выгорел, а тут скотина рогатая повыпала. Васька не нарадуется такому, а сам слезы утирает. Ах, да ох ... помогать ближнему — первое дело, Божие установление... Я, де, не помогу и мне, мол, не помогут, и всё-то стонет, и так благодетельствовал, что за треть цены срезал у никольских гривку до кольшпа и они же ему и на воду свезли своё береженое, дедовское. Хватились, да поздно. Ну, конечно, материли Ваську так и этак, года два забыть не могли, а ему что? Ровно наплевать. Ещё и попенял в свое время: так-то, мол, вы, стервецы, мое добро помните.

Петр Павлович завозился на своем ложе и по вольному воздуху пустил такое крепкое словцо, что под нами на дворе корова <нрзб.>.

— А впрочем, ну его, паршивого черта, к лешему, — прибавил он, — давайте спать.

— И то спать, — зевнул Алексей Иванович — Заведешь разговоры — до солнца хватит. Всех не переберешь, а много разных людей на свете.

— Много, — согласился Петр Павлович, — как по нашему краснодеревному мастерству, скажем. Много всяких мебели. Работал я уже мастером в Москве у немца Шмита, так чего не делали: буль пузатую, амбир с желобками с бронзой, делали визавей, скажем, разговорную такую, вроде диванчиков, а то ещё была какая-то антука, черт его знает. Много разной мебели, всей не переберешь.

— Спокойной ночи...

— Приятного сна...

— Встать здоровенько...

Затих наш сеновал. Внизу отпрыгивает жвачку корова да крепко жуёт лошадь и шелестит сеном.

Небо ещё засинело, еще ярче подмигивает Кассиопея, заметно опрокинув свой дубль-вэ. Четок гребень тихо шумящего леса, и ни к чему, чуждо, нарушая красоту ночи, хрипло доносится заводной голос мягковского благополучия: "...и будем мы там делить пополам и мир, и любовь, и блаженство".

— Дели, дели, сукин сын, — промолвил сквозь сон Петр Павлович.

И мы заснули.

* * *

До солнышка, выпив с погребницы холодного, густого молока, простившись с приятной Анисьей Александровной, в сопровождении Алексея Ива-

новича и одной черной лайки с белым брюхом и широкими пушистыми штанами, острыми ушками и лихо закрученным хвостом — двинулись в путь. Мы с Петром Павловичем шли с ружьями, а Алексей Иванович порожняком.

— Не бью пера, да и дичь не способно будет тащить домой. Обязательно настреляете, сколько хотите. Вы дальше, а я донесу до дому и там с Миткой переправлю в Готовцево, не сумлевайтесь.

Пройдя по берегу Безьянки с версту, мы круто взяли вправо, прямо в чащу. Впереди шёл наш хозяин. Скоро начали вспархивать рябчики, недалеко за деревьями завозились глухари и с треском стали продираться сквозь сучья. Петр Павлович уже горячился и поминутно хватался за ружье.

— Погоди, Петруха, не булгачь лесу раньше времени, — останавливал его Алексей Иванович, — гляди на Бойка — он и внимания не берёт. Это ещё не охота.

Когда мы пришли к громадным малинникам, раскинувшимся на много десятин с одиноко торчащими среди них соснами, наподобие золотых колонн украшенных зелеными капителями, Алексей Иванович остановился.

— Петр Павлович, ты с Бойком иди опушкой. Он тебе будет сажать птицу на деревья и подлаивать, а мы с Николаем Федосьевичем двинем ягодниками и будем шелкать взлетных.

— Ну, ни пуха, ни пера.

Мы разошлись. В высокой малине, истоптанной тропинками ягодниц, ещё держалась роса, но солнце уже припекало.

— Самый выход птице, — промолвил Алексей Иванович.

Не прошли мы ста шагов, как большой тетеревиный выводок вырвался шагах в десяти и стал уходить веером. Матка сразу бросилась в глаза своим более тёмным пером и величиной. Я выстрелил дуплет стае в угол, и два птенца, описав дугу, хлопнулись в малинник. Алексей Иванович сразу нашел их.

— Молодец, матку не бьешь... Правильно...

Справа по лесу раздался залиvistый лай Бойка и ахнул выстрел, через несколько секунд другой...

— Петруха начал сражение, — улыбаясь, заметил Алексей Иванович, — горяч только больно. Брал я его раз с собой весной на глухаринный ток, подскакивал, подскакивал, почти подошел на выстрел и спугнул птицу. Батюшки! Я думал, он голову разобьет о березу. Прямо осатанел. Ревет как маленький.

Опять подлай собаки долетел до нашего уха, и опять — бац, бац...

— Ой, мажет, сукин кот, — помахал головой Алексей Иванович.

У нас опять взлетел большой выводок, опять дуплет, и на этот раз три

птенца камнями полетели вниз.

— Ловко бьёшь, — похвалил меня спутник мой.

Справа шла прямо канонада, и вдруг замолкла.

— Ей! — издали донесся до нас голос Петра Павловича.

— Ей! — отозвались мы.

— Погодите малость, — орал он, — вышла история.

— Бойка, что ли, ухлопал, — забеспокоился Алексей Иванович. Но Боек сам своей персоной предстал перед нами, а за ним вскорости из малинника вынырнул и Петр Павлович.

— Такая вышла хреновина... зарядил стволы, а шомпол вынуть стогряча забыл и угнал его черт знает куда. Дайте ножичек выстрогать сушинку.

— Эх ты, тюря! — захохотал Алексей Иванович. — Кидал бы уж лучше сапогами в тетеревей. Ну-ка, покажи сетку... Еге, троячек есть. Молодца... А вот матку стрелил — плохо. Где матку убьёшь, там на будущее выводка не жди.

— С азарту, Алексей Иванович, — оправдывался Петр Павлович.

— Точно с азарту. Следовало бы тебя по шее за это, ну да ладно, до следующей матки. Убьёшь опять, из лесу прогоню — так и понимай.

Часов в десять солнце разожгло горячий день. На синеве еле заметно ползли круглые высокие сверкающие облачка. Малинники опустели. Птица затаилась. Добыча наша была обильна, и среди тетеревов красовались три больших молодых глухаря фунтов по шесть.

В тени, на берегу овражка, на мелком мягком моховом ковре мы сделали привал. Запасливый Петр Павлович захватил с собой жестяной чайник и кружку. По овражку бежал весёлый ручей, рожденный холодными ключами. Разложили небольшую теплинку и вскипятили чайку. Закусили на славу и расположились вздремнуть.

— Если к вечеру хотите быть в Нелидове, то трогаться в дорогу надо часа в два, — сказал Алексей Иванович. — Верст четырнадцать до Рыжова будет обязательно, да там ещё парочку надвинуть надо. Как раз к восьми часам поспеете. А дичь вашу я в мешок и попру полегоньку к себе, на погреб, завтра переправим без сумленья.

Мы сразу заснули крепко, здорово в смолистой прохладе. И когда нас разбудил Алексей Иванович, мы встали свежие, крепкие и, умывшись в ручье, снарядились в дальнейший путь.

— Ну, счастливо. Идите помаленьку. Очень не забирайте вправо, а как дойдете до большой болотины, обойдите её левым берегом и прямо выйдете на зимнюю дорогу — и идите по ней до воротец. В них не проходите, вдоль забора тропочкой, под горку и выйдете на луговину. Тут поглядывай-

те, меж лесом мелькнёт рыжовская колокольня, в нее и выправляйтесь, а то уйдёте Бог знает куда, — наставлял нас Алексей Иванович. — Счастливого, другой раз милости просим.

— Счастливо, Анисье Александровне поклон.

Приятно идти сосновым чистым лесом. Чапыжнику нет, среди чистых стволов далеко видно и легко держать направление. Тихо гудит лесная благодать. Какой воздух, какая игра света и теней, какие папоротники и брусничники под ногами. Какого только моху нет. И красный, и седой, и зелёный, всех оттенков. Шагов не слышать по этому мягкому ковру, только мелкий сучок потрескивает под ногами.

— Хороший мужчина — этот Алеха, — нарушил молчание Петр Павлович.

— Почему хороший?

— А потому, что он не из чего-нибудь старается. Вот полдня проводил нас по лесу, и все такое. А для чего? Надо ему что-нибудь? Не надо. А просто из лобезности. Видит, человек любит всю эту бухру-мухру охотничью, и он любит. Ну, ты мил ему человек. Еще понимает он обращение. Ты барин, а он мужик, скажем. Какой может быть интерес? Никакого. А он понимает, что ты с простотой, душевно к нему пришел, перед ним не фордыбачишь, ничем не побрезговал, с Александровной его с почтеньем, попросту, здравствуйте, мол, и прощайте. Он понимает, что, ежели придется ему прийти к тебе, побывать по делу или так попросту, ты не сконфузишься им, мужиком. Человека в нем принимаешь, а он тебя человеком почитает. Вот зимой наедут эти, московские рататуи. Вот с ними у него другой разговор. Они ему “Алешка, да Алеха”, а он им всяческое беспокойство в счёт поставит. Я его давно знаю. Добрый он человек, повадливый, но и горяч порой. Годов с пять тому назад, о Николе, приехали к нему московские гости на берлогу. Никак, две сразу откупили. Стало быть, дня на четыре пожаловали. Разгулялись шибко, всю деревню споили с круга. Мужики пьяные орут песни, бабы, девки визжат, господа их пощупывают. Приехал с ними из Москвы какой-то барчук. Слышали, потом в Москве он жену свою пристрелил. Суды по этому делу шли, и в газетах описывали. Только в то время он был ещё холостой. Не упомяну, как его звали. Приглянулась ему Александровна. Она и теперь король-баба, а тогда была просто для взгляду вредная. Лицом белая, глаза с хмелинкой, волосищи под полшалок не уберешь. Пазуха — как две копны, летом взглянешь — озноб берет, зимой посмотришь — жаром как из печки охватывает. Перехват, как столбушка, круглый. Идёт — боками играет. Пышная, ядреная. Ну, барчонок и осоловел. Пялит на неё зенки, да и полно. Подвыпивши осмелел, подкатываться стал. А Александровна женщина строгая, к своему Алексею Ивановичу приверженная.

Никому поиграть не даст. Одно слово — твердыня. Раз по рукам его — хлоп, другой — хлоп. Неймется, лезет куда ни попадя.

Я ту зиму у Васьки столярничал, строился он. Ну, я разные шкапы ему и прочие <нрзб.> под орех работал. При мне это и было. Пришёл посмотреть, как московские гости гуляют. Залез на полати и гляжу оттуда. Вижу, мой Иванович плечами поводит, не нравится, стало быть, что его бабу похватывают. Лександровна зачем-то по хозяйству в сени, и барчук за ней туда же. Погляжу, и Иваныч шасть из избы, и я за ними. Что, мол, будет. В самый раз попал. Барчук только что Анисью в охашку и грудь ей цапает, а Иваныч тут как тут. Сгреб его левой лапой за воротничок, подвел к двери на крылечко, открыл её, да правой как махнёт молодчика по башке, тот кувырк, кувырк, турманом с лестницы, и что ни было народу на ступеньках — вышли посидеть, подышать морозцем из избы — вместе с ним кувырк, кувырк. Пока на дворе куча разбиралась, кто где, Алексей Иванович сверху:

— Милости просим к столу, а то не застудились бы как на морозе. Лександровна, — кричит в дом, — принимай гостей, угощай чем Бог послал.

Что смеху было. А барчонок тихонький, серьёзный стал и на Лександровну не глядит, только затылку потирает.

Исправный человек Алексей Иванович. Крестьянство ведёт крепкое. Сам-друг с бабой своей ворочает тяглом. Братья дружные, друг другу во всём помогают. Сено косят, молотят артелью. Он им, или они ему. И бабы промеж себя дружны. Грамоту знают. Книжки почитывают и, что полезное, перенимают. Погляди у братьев огород. Чего нет только. На низинке у речки развели капусту. Такая, я тебе скажу, капуста необыкновенная, у галичских рыбачек такой нету. Теперь начитался про этот, как его... еще у вас по озими весной подсеивают.

— Клевер, что ли?

— Он самый. Засело ему в голову колодой, всю деревню поддевает. Сначала соседи махали на него, а теперь прислушиваться стали. Того гляди, на четыре поля размахнутся. Правильный мужик, полезный. В старшины выбрали бы, да Мягков, чертов сын, против него народ мутит: до смерти не любит он Алексея Ивановича за то, что не раз он ему нос утирал и политику его портил на волостных сходах. Васька исправнику жаловался на Иваныча и, будто, письменно доносил в губернию, что, мол, такой-то крестьянин такой-то деревни — “элемент”. Вообще, большая между ними антука идёт.

Московские приятели звали его с собой в Москву, всякими местами соблазняли — и по прикащичьей части, и охотничьей. Общество что ли такое есть, уж не могу этого доподлинно рассказать, а только что звали на

хорошее место. Нипочем. И слышать не хочет. “Для меня, — говорит, — наша местность, что рыбе вода, никак невозможно”. А, говорят, хорошие деньги давали, потому очень его ценят. Добрый человек, задаром, не из интересу какого. Последний раз, когда был я по своему ремеслу в Москве, можно сказать, с пьянства до ручки дошёл. До того зашибся, что никакой возможности нет. И раньше, бывало, эту линию исправно вел, до всякого безобразия доходил. Характер у меня такой непостоянный... Как выпил малость, так сейчас фантазия взойдёт, ну и... только давай. Пиджак — пиджак, штаны — штаны. В одних подштанниках из трактира в трактир подпрыгиваешь, и всё бы кого-нибудь по морде звездануть либо словесно отполировать. Ну, конечно, и самому рожу во как наколотят, на башке таких шишек наколотят, что шапка не лезет. Ну, конечно, в участок — либо под ручки, как святого, либо поперек извозчика с дворниками по начальству представляют. Шмит выгонит с фабрики:

— Что б духу твоего не пахло!

Походишь, походишь по Москве и опять к немцу:

— Так и так... виноват... закаялся...

— Ну, смотри... в последний раз.

— Будьте без сумления.

А мастер я, сам знаешь, настоящий... тоже немец понимает. Ну, в другой раз и в третий все сходило. А тут через одну кухарочку до отчаяния дошел. Ночью на бульварах под скамейками, днем у кабацких дверей: уж в кабаки не пушают. Немец рассердился и вплотную. Назад не берёт. Кухарочка всю внутренность мне прожгла, с лакеем каким-то смахалась, стерва. И холодно, и голодно, и страшно. Или на Каменной да с самой середины в Москва-реку — только осталось. И послал Господь на мою дорожку Иваныча. Иду я по Тверской, в ту сторону, к Ходынке, и сам не знаю, зачем иду. Вдруг окликает меня кто-то:

— Петруха, ты?

Гляжу, Алексей Иванович.

— Я, — говорю. Качает головой:

— Ловко, паря.

Чего уже ловчей? Рубаха рваная, в подштанниках, босой, дня четыре морду не мыл.

— Запой, что ли, — спрашивает, — кончился?

— Вроде того, — отвечаю.

— Ах ты, — говорит, — такой-сякой, по мастерству золото — не человек, а от такой неводержанности страдаешь. Поедем домой, в губернию.

— На какие шиши поеду-то... два дня не жрал ничего.

— Это, — говорит, — разговор особый будет. Айда за мной.

Привел на фатеру. Чайку спросил, щей велел подать. Пока я нутро-то своё питал да промывал, в судучке у себя порылся да отдал чистую рубаху, портки, полотенце. Дал полтину денег.

— Беги в баню, — говорит, — и чтоб через час здесь быть.

Отмылся, отпарился, чистое бельё надел. Бегу на фатеру. Иваныч щиблеты подают.

— На, — говорит, — одевай, хоть неказисты, да пальцы спрятаны. Одевай пиджак.

— Теперь тепло, и в одном пальте не озябну.

— На фуражку.

Пошли на Ярославский. Билеты взял. Подпихнул в вагон. Завалил меня на верхнюю полку.

— Спи, — говорит, — Петр Павлович.

Так и привез меня домой. С тех пор я в Москву ни тиль-тиль. А что, думаешь, похвастал тем, что от собачьей гибели человека ослобонил или мне в глаза тыкал своей добродетелью, что, мол, без меня пропал бы ты, как гад. Ни разу за столько годов. Раз было так. Зашел ко мне к ружью ложе склеить, расшиб как-то грехом. Ну, конечно, я с удовольствием для него. Была у меня подходящая коряжка американского ореха. Я ему заново, как у Силина в Москве. Такое ложе собрал, лучше нельзя. Пришел за ружьем. Взял, посмотрел. Очень понравилось ему.

— Сколько, — говорит, — Павлыч, тебе за такую прелесть?

— Ничего, — говорю, — мне за эту прелесть не надо, а прими от меня в память за твою доброту ко мне.

— Ну ладно, — говорит, — спасибо.

Только и разговору было. Вот какой человек Алексей Иванович.

— Одноче, гляди — и болотце. Давай обходить его слева.

Скоро попали мы и на дорогу. На ветках можжевельных кустов висели пучки зацепившегося с зимних возов прелого сена.

Ну вот он, и зимняк. Теперь воротец ждать и направо под горку. Все дорожные приметы были точно обозначены Алексеем Ивановичем. Вот и дорожка мимо ворот побежала под горку. Стало сырей. Закраснелись громадные зонтики красных с белыми рябинками мухоморов. В лесные звуки ворвался глуховатый звон колокольцев, которые привязывают на шеи ковровам, чтобы легче было найти их в чащах. Тропка ниже, ниже и вдруг выбежала на изумрудную луговину. Лес обошел ее своим дремучим кольцом. На такие полянки лешие собираются повозиться и повалиться в тихие лунные ночи. Изумрудная зелень и коврики крошечных анютиных глазок, желтых, лиловых, белых. Ночная красавица ещё не отцвела, и стройные стебли этого скромного и пахучего цветка белесоватыми столбиками стояли вразб-

род по всему лужку. Среди кустов мелькнули... коровы. Целое стадо медленно двигалось к нам навстречу, смачно скусывая сочную траву и позванивая своими колокольцами. Крепкий, молодой бычок, с белым кудрявым лбом и сине-черными влажными глазами, воинственно направился в нашу сторону. Увидя, что мы не обращаем на него внимания, он остановился и, фыркая, провожал нас недовольным взглядом.

За стадом шел мальчуган лет двенадцати и волочил за собою длиннейший гужевой кнут. На малом была надета громадная зимняя шапка и равный зипунишко поверх посконной рубахи. Заметив нас, он остановился и, пустив змеевидным движением впереди себя свой громадный кнут, хлопнул им, как из пистолета.

— Ну, дьяволы моченые! — крикнул он на своё стадо и, чтобы ещё сильнее проявить перед нами своё пастушечье значение, ещё раз щелкнул кнутом, и на этот раз по быку, который рывкнул, взлягнул и побежал крупной рысью за своими дамами.

— Молодца парень, — одобрительно сказал ему Петр Павлович. — Ванькой звать, что ли?

— Алексей, — поправил его пастушонок.

— Ишь ты! А я думал Ванькой. Ну, виноват, другой раз знать буду. Так вот что, Алексей Петрович...

— Матвеич, — опять поправил его мальчуган.

— Тьфу ты, пропасть. Опять не угадал... Так вот что, Матвеич, скажи на милость, далече ли до Рылеева?

— Зачем далече? Сейчас пойдёт просека на левую руку и село будет видно. Прямо и идите на глазок. Версты с две будет, не боле.

— Ну, спасибо. Будь здоров!

И мы зашагали дальше.

— А вы чьи будете? — донесся до нас голос мальчугана.

— Из Готовцева, — крикнул я в ответ.

— Слыхал таких? — крикнул и Петр Павлович.

— Не слыхал — ответил Алексей.

Вот и просека, и далеко в конце ее, как игрушечная, белела маленькая колоколенка. Солнце обошло нас и склонялось уже к западу, когда мы наконец вышли из просеки на Рылеевское поле, по которому уже кое-где начинали жать и копошились пестрые бабы фигуры, то ныряя во ржи, то снова высываясь из неё, взмахивая пучками сжатого хлеба.

Село Рылеево — старое гнездо двух дворянских родов: Рылеевых и Свиных. Одни сродни декабристу, другие сродни литературному Свиному, пушкинскому современнику.

От прежних построек не осталось ничего, кроме куч кирпичного мусо-

ра. Только громадный зарастающий пруд с тремя островками напоминает, что здесь когда-то жили баре. Сельские глухие кладбища до некоторой степени являются архивохранилищами. Нередко в их тишине, среди берез, милых плакучих северных берез, найдёшь покосившийся александровского стиля памятник, увенчанный погребальной античной урной, и с трудом разберешь изъеденную мохом надпись, что под сим монументом покоится тело Рылеева, брата казненного декабриста. Или мраморный голенький толстячок-гений своими отбитыми пальчиками укажет вам, что под ним, гением, успокоился мятежный дух любителя парнасских цветов, друг поэтов и сам поэт, друг мыслителей и сам мудрец, здесь, в сладком общении с природой, под нежные напевы пастушеской свирели, оплаканный друзьями и благодарным народом, с улыбкой на устах оставил юдоль земную Свиньин 18... года... 7-го апреля, секунд-майор, прапорщик гвардии... Вдовы их, строители храмов сих, священнослужители и тьмы безымянных могил, заросших в землю и забытых. Останки благодарного народа.

На одной из таких могил мы с Петром Павловичем присели отдохнуть и покурить. Носятся стрижи. Над старой колокольней высоко взлетают. К хорошей погоде. Ясный вечер подбирается. Видится всё четко, слышится всё чутко. Тени легли длинные и в контрастах света и тени загорелись не дневными сочетаниями, а ярким пожаром голубого, желтого, красного, лилового, зеленого месива. В пруду отразились опрокинутые островки, уткнулись вершинами деревьев в голубизну и точно меряют бездонное. Под тем берегом движется серебряная струя, жметя к высокой осоке, и дробится, и ломается среди листьев и кувшинок.

— Гляди, дикие утки, — шепчет мне Петр Павлович, — ишь, парочка... кряковые шельмы.

И утки опрокинулись в воде. Струя играет их отражением, и они кажутся дважды живыми. Петр Павлович тянет руку к ружью.

— Не стреляй, — останавливаю я его.

— И то, пусть живут, — соглашается он, — ишь, ишь, полошатся... Вот поди ж ты, тварь, а такая понимающая. Гляди, гляди... Мырком... ах, ты, мать твою...

Утки сразу нырнули и пропали надолго. И вдруг вынырнули чуть не на середине пруда.

— Скажи на милость, какая отчаянность в животном.

Не утерпел Петр Павлович, хлопнул в ладоши и крикнул:

— Кш!..

Утки разом ударили крыльями по воде, разбросали горящие жемчуга и брильянты, и, оставив на водяной поверхности расходящиеся круги, бегущие к берегам, взмыли над островом, и четкими силуэтами понеслись к лесу.

— С Муромского озера — там этой твари видимо-невидимо. Вид ей там свободный, поэтому подойти к озеру можно в одном только месте. Лодки в заводе нет, одни корытки, а в них путешествовать все одно, что без веника париться. Прошлую весну два лебедя на озере жили. Ходили нарочно смотреть. Ну и птица, любованье. Белые, белые... Подобно королям. Выплывут на средину озера и — на тебе, любуйтесь. Осмелели, стали ближе подходить, саженок на пятьдесят, а ближе всё нейдут — опасаются. Петр Кириллыч раза четыре приходил, часами глядел. Очень умилялся, даже, говорят, плакал. Раз пришел выпивши. Смотрел, смотрел на них да вдрут шапкой об землю. “Лебеди, — говорит, — вы, лебеди, птицы вольные, белые, чистые, а мы, — говорит, — сволочи и притом говно”, — да вниз головой в озеро. Конечно, в этом месте неглубоко, больше тины, чем воды. Ну, вытащили его за ноги, предоставили на берег. Долго, говорят, всё тиной плевался и будто что вот этого жука выплевал. “Помню, — говорит, — ровно бы два их должно бы быть”. Значит, одного обязательно проглотил.

— Стреляли в лебедей? — спросил я.

— В лебедей-то? Нет, не стреляли. Перво-наперво, у нас лебеди гости редкие, а редкий гость к счастью. А второе, лебеда губить, что человека: не у всякого рука подымается. А третье: если бить, так надо обязательно пару. Убьешь одного, другой всё равно погибнет. Сказывают, вдовец или вдова, как там придется... под самое поднебесье подымается, Богу там жалуется, а потом крылья сложит и камнем вниз... Лебедь с лебедихой, что мужик с бабой, не на один год венчаются.

— Ну, выкурим ещё по папироске и пойдём? — спросил я. — Гляди на дорогу. Кто вышагивает?

Двигалась высокая, нескладная фигура. Походка с присядкой. Что ни шагнёт, нога как пружина подгибается. Голова маленькая. По самые уши напылена фуражка с половиной козырька. Волосы мочалкой. Прищуренные глазки всматриваются в нас. На фигуре болтается неизвестно какого цвета рубаха, поверх которой надета жилетка с медными пуговицами. Штаны подкатаны по колени. На руке одета корзина.

— Кто? Коля... — узнал я.

— Он самый. Ах, сукин сын, “в кусочки” собрался. Ну и лодырь. И баба у него под масть. Такая же... Нынче зимой в избе пол сожгла. Лень за дровами выйти на улицу. Начали со скамеек, потом полати, а потом пол. Не пришла бы весна ранняя, за потолок взялись бы.

Фигура подошла к нам.

— Здравствуйте, Николай Федосеевич, здрасте, Петр Павлович, — каким-то мокротно-хриплым <нрзб.>.

— Здравствуйте, Николай Устинович, — ответили мы ему.

— Куда путь держите, себя беспокоите? — поинтересовался Петр Павлович.

— Нужда достала. Отец родной в куске отказал. “Иди, — говорит, — от меня пропадом”. Вот какой отец... “Иди, — говорит, — куда хочешь, а чтобы я тебя с твоей сукой видом не видывал, слухом не слышал”. Вот какой отец... По другим местам такого отца на осину не жалко...

— А такого сына? — перебил его Петр Павлович.

— А что сын? Болезненного состояния, грудями хлопаю с утра до вечера... Жена у меня тоже чем жива...

— Полно, Николка, врать, — перебил его Петр Павлович, — ты иди в другую губернию и излагай там свои штуки, а здесь мы тебя знаем и супругу твою не меньше. Живёте вы от поднесения до поднесения. Ни черта вы не делаете, а ежели Устин стряхнул вас со своей шеи-то, и давно бы уже пора. Эко дитяtko, чертова кочерга выросла, и всё из дому, ничего в дом. Батка твой лесник, возрасту солидного. Хоть бы раз помог ему, уж не говорю в поле, а хотя бы оббежал за него дачи, посмотрел бы, что и где. Сволочь ты, и баба твоя сволочь. Ладно, что ещё ребят не натаскала, пустая сука потрясая.

— Вы сами, Петр Павлович... — начал было Коля.

— Молчи, хреновина... Знаю что “сами”, поэтому и говорю с тобой, сволочью, по-Божьи. А ежели бы не “сам”, ежели бы не знал человеческих линий и прочих там антуk, так я с тобой, сукиным сыном, и говорить в смысле предупреждения не стал бы, а просто в гордости прошёл мимо и твою поганую личность обошёл молчаньем... А то: “сами”... Я мастер, я дело имею в руках... Коли слабость меня до большого не допускает, так я и на малости пытаюсь быть человеком. Тягло держу, подработок имею, избы своей не жгу, бабу под чужие окна за кусочками не гоняю, ребят у меня полная изба. Одеты, обуты, согреты и накормлены... А теперь уходи с моих глаз дальше и разговор у нас окончен надолго. Пойдёмте, Николай Федосьевич.

Петр Павлович поднял с земли мою амуницию, вскинул на плечо свою двустволку и решительно зашагал по дороге. Я последовал за ним. Пройдя порядочное расстояние, мы оглянулись. Всё ещё виднелась Колина нелепая фигура на том месте, где мы его оставили.

— Вот создание Божье, — усмехнулся Петр Павлович, — жить никак не может, а повеситься боится. А ведь химик, на <нрзб.> всякую вострой ум. Сказывал папаша, какую историю нынче по весне с ним Колька проделал? Неужто утаил? Ну, видно, посоветился. А дело было вот какое: еще Великим постом, на пятой ли, шестой ли неделе, приходит Колька к твоему папаше. В ночи, ревет коровой.

— Что с тобой?

— Отец помер.

Папашенька встревожился... Жалко, Устин-то какой человек, сколько лет знаемый, в уважении.

— Отчего помер? — интересуется.

— Бог его знает — поскучал дня два и помер одночасно, хоронить-то на что?

И опять ревет. Ну, папаша вынимает десятку и подает Кольке:

— На, схорони отца честь честью.

На Колькин вой и мамаша твоя пришла, интересуется, в чем дело.

— Представь, Катюша, Устин приказал долго жить. Завтра надо панихиду отпеть.

Ну, улетел Колька с десяткой. Умер Устин и умер. Все жалеют. Отец Владимир о новопреставленном Устине, рабе Божьем, отпел панихиду. Прошло дней пять, а Устин-то и шасть во двор. “Барина, — говорит, — повидать”. Ну, кухарки визг подняли, Варвара в голбец прыгнула. Подумали, что Устин с того свету вернулся. И отец твой глаза вытарачил:

— Да ведь ты помер.

— Зачем?

— Колька приходил, ревел. Я ему денег дал на твои похороны.

— А, сукин сын. Дай только вернись, я из тебя душу вытряхну! То-то они с женой третий день вдребезги пьют.

А.В. Соловьева (Кострома)

ЖИЗНЬ ЕСТЬ ТРУД

О Юрии Владимировиче Лебедеве

Национальная жизнь зиждется на таких ясных и основательных тружениках, одним из которых являетесь Вы.

В. Шапошников — Ю. Лебедеву.

21 ноября — 15 лет со дня учреждения Костромского областного отделения Всероссийского фонда культуры (ныне Костромской общественной фонд культуры).

Костромской край.

События и даты. 2002 год.

Наверное, Юрию Владимировичу Лебедеву, человеку особой величины на костромской земле, с публикациями о нем на этой самой земле очень повезло. Создается впечатление, что еще многие важные вопросы пишущими ему заданы не были.

Такая ситуация понятна. У Юрия Владимировича нет стремления к “повышенной” внешней жизни, его жизненный путь не сопровождается шумом, он мало о себе говорит (да часто ли и спрашивают?).

К 60-летию Ю.В. Лебедева в “Северной правде” (31 декабря 1999 года) опубликовано следующее:

«Ю.В. Лебедев родился в селе Светлое Островского района в семье сельских учителей.

Окончил Костромской педагогический институт им. Н.А. Некрасова, аспирантуру Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена, долгие годы возглавляет кафедру литературы Костромского университета.

В 1979 г. защитил докторскую диссертацию в Институте русской литературы АН СССР (Пушкинский дом). В 1980 году Ю.В. Лебедев был ут-

вержден в степени доктора филологических наук и ученом звании профессора.

Член Союза писателей России.

Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Начал печататься с 1965 года. С тех пор вышло большое количество книг, было опубликовано множество научных и литературоведческих трудов. Среди них — книга «Тургенев», выпущенная издательством «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей», шесть изданий учебника по литературе для общеобразовательных учреждений.

Ю.В. Лебедев является одним из авторов четырехтомной «Истории русской литературы» и последнего вузовского учебника «История русской литературы XIX века. Вторая половина», под редакцией профессора Н.Н. Скатова.

Разработчик региональной программы изучения русской литературы, автор двухтомной хрестоматии по этой программе.

Является председателем Костромского отделения фонда культуры.

В 1999 году Ю.В. Лебедев был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени».

Попробуем дополнить, не очень повторяя уже сказанное.

Юрий Владимирович представляет собой (увы!) исчезающий тип русского интеллигента с его совестливостью, высоким интеллектом, обширными знаниями, исключительным трудолюбием, душевной деликатностью и ощущаемой всеми добротой. Многие (если не все) свои качества унаследовал Юрий Владимирович от родителей — учителей Светловской семилетней школы Островского района. Родителям же, вероятно, передались лучшие качества народа от своих родителей.

Отец Юрия Владимировича, Владимир Владимирович — учитель истории в Светлом, в 1939 году был призван в армию, погиб в 1941 году, так и не увидев сына, родившегося 1 января 1940 года. “В шестилетнем возрасте, как многие осиротевшие дети послевоенного времени, Ю. Лебедев сам нашел себе отца — Лебедева Владимира Михайловича, учителя начальной школы, человека с добрым сердцем и чуткой душой...”¹

О себе в детстве Ю.В. Лебедев рассказывает так: “Класса до 5-6-го хотел быть Мичуриним, любил возиться с землей, прививки яблоням делал. Потом потянуло в небо, занимался авиамоделированием, имел стопроцентный шанс поступить в МАИ. Довольно трудный был выбор между МАИ и литфаком. Литература победила. Возможно, сильнее оказались семейные традиции: по отцовской линии у нас в роду учителя и священники, по материнской — учителя. Я и в школе учился у мамы. И мечтал в этой школе

после института преподавать. Сейчас от нашего села Светлого — это километрах в 20-ти от Островского — остались лишь деревья да кладбище. Больше никого и ничего...”²

Мама, Лидия Андреевна, преподавала русский язык и литературу, награждена званием “Заслуженный учитель РСФСР”. Сейчас она живет в Костроме, в небольшом домике на улице Лермонтова.

В одной недавней местной телевизионной передаче Юрий Владимирович признался, что главное в его жизни — любовь к литературе. Истоки этой любви опять-таки в семье: “От предков в доме осталась богатая библиотека, бережно собиравшаяся прадедом и дедом, а потом отцом и матерью... В семье Лебедевых все любили книгу...”³

Его путь преподавателя вуза и ученого-филолога обыкновенен для своего времени: Светловская семилетняя и Островская средняя школы; 1957-1962гг. — историко-филологический факультет Костромского государственного педагогического института им. Н.А. Некрасова⁴; 1963-1966 г. — очная аспирантура на кафедре истории русской литературы Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена. (1962-1963 учебный год — работа учителем в школах Буя). С 1966 года — снова Костромской пединститут, где Юрий Владимирович читает курсы лекций по истории русской литературы и почти 35 лет заведует кафедрой литературы, уйдя с заведования только в самое последнее время.

Имеет значение то обстоятельство, что с самого начала и до конца он — беспартийный заведующий кафедрой, и этот факт из биографии Юрия Владимировича у всех помнящих то время вызывает законное удивление. Послушаем его самого: “... меня ... несколько раз тащили в партию. Я отнекивался: сначала — мол, не готов, потом — не хочу “ради карьеры”. Всего было (в Советском Союзе — А.С.) два беспартийных завкафедрой — Ревякин⁵ в Московском пединституте и я в нашем”⁴. Такое признание свидетельствует о сознательной позиции, о внутреннем стержне.

В октябре 1966 года Юрий Владимирович защищает кандидатскую диссертацию “Поэмы Н.А. Некрасова II половины 1850-х годов”, в 1977 году — докторскую: “Становление эпоса в русской литературе 1840-60-х годов. Проблемы циклизации”⁵.

Объем написанного им — ученым-филологом, литературоведом, методистом, краеведом, просветителем — впечатляет: здесь и монографии,

² С 27.07.94г. — Костромской государственный педагогический университет им. Н.А. Некрасова, с 05.05.99г. — Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова.

³ * Александр Иванович Ревякин, профессор, специалист по А.Н. Островскому. Известна его книга “А.Н. Островский в Щелькове”.

и учебники, и сборники статей, и не вошедшие в сборники статьи о жизни и творчестве Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, А.Н. Островского, Ф.М. Достоевского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, многочисленных русских писателей “второго ряда” XIX века⁶.

Широкому читателю хорошо известен его сборник статей “В середине века” (М.: Современник, 1988) и книга “И.С. Тургенев”, изданная “Молодой гвардией” в серии “Жизнь замечательный людей” в 1990 году — “в полной мере опирающаяся на достижения современного тургеноведения”⁷.

Многие работы ученого, вышедшие в издательстве “Просвещение”, имели целью помощь школьному учителю, а учебник Ю.В. Лебедева для 10-го класса средних общеобразовательных учреждений “Русская литература XIX века. Вторая половина” выдержал 6 изданий⁸. В 2000 году вышел учебник для школ с углубленным изучением литературы. Новый учебник для 10-го класса общеобразовательной школы по русской литературе I половины XIX века (в 2-х частях) издан трижды.

Юрий Владимирович — один из авторов четырехтомной “Истории русской литературы” (Л.: Наука, 1980-1983) и учебника для вузов “История русской литературы XIX века. Вторая половина” (под ред. Н.Н. Скатова; М.: Просвещение, 1991).

Литература на костромской земле — тоже предмет интереса Юрия Владимировича: он — составитель и один из авторов книги “Вечные восходы. Очерк о писателях Костромского края” (Ярославль, 1986) и один из авторов “Костромской были” (М.: Современник, 1984). Ю. В. Лебедев “продвигает” поэзию и прозу костромских авторов в школы области: в 1995 году под его редакцией вышла региональная программа по литературе⁹, к сентябрю этого года в издательстве “Просвещение” выйдут две учебные хрестоматии, составленные им.

Коллеги считают Ю.В. Лебедева традиционным литературоведом, своеобразие которого “состоит в том, что традиционные пути анализа ведут у него к новым решениям литературных проблем, к новым познавательным результатам... что внутри традиционных координат исследовательская мысль находит возможным проложить неизвестные ранее маршруты”¹⁰.

Вот что пишет все тот же автор о другой — главной на его взгляд — особенности Юрия Владимировича: “Как ни трудно ученому оставить *свой предмет без окончательного суда и приговора* (выделено автором — А.С.), такая материя, как искусство, порой требует именно этого, указуя на множественность истин, на то, что в неразрешенных противоречиях и скрыто некое существо художественного взгляда на вещи”¹¹.

Много труда вложено Ю.В. Лебедевым в подготовку текстов к публикациям, в том числе и незаслуженно забытых русских писателей. Он подго-

товил для издательств “Художественная литература”, “Современник”, “Просвещение” тексты И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, С.В. Максимова, Д.Л. Мордовцева, И.В. Селиванова, С.Т. Славутинского; тексты произведений русских писателей XIX- нач. XX вв. о русском крестьянстве; ряд текстов для академического собрания сочинений и писем Некрасова (с 11-го тома Юрий Владимирович входит в состав его редколлегии)¹².

В серии “Новая школьная библиотека” Ю.В. Лебедевым опубликованы “с развернутыми вступительными статьями и комментариями”¹³ 6 томов русской классики, “среди которых роман И.А. Гончарова “Обрыв”, трехтомник избранной прозы И.С. Тургенева, том, посвященный драматургии А.Н. Островского”¹⁴.

В последние годы Юрий Владимирович активно сотрудничает с возрождающейся “Детской литературой”. В этом издательстве вышел трехтомник Н.А. Некрасова (“Лирика”, “Поэмы”, “Кому на Руси жить хорошо”) и однотомник А.И. Герцена (“Кто виноват” и “Сорока-воровка”). Вышел том со сказками М.Е. Салтыковова-Щедрина, на выходе еще два — “История одного города” и “Господа Головлевы”.

Кафедра, возглавляемая ученым такого уровня, не могла не заявить о себе должным образом: в 1971-1991 годах она становится “признанным центром по изучению творчества Некрасова”¹⁵, а в 90-е годы при кафедре под руководством Юрия Владимировича открывается аспирантура. Она выпустила 11 кандидатов филологических наук.

Еще раз процитируем О.А. Лебедеву, у которой мы позаимствовали многие сведения. “Труды Ю.В. Лебедева получили высокую оценку... С 1977 года он — “Отличник народного просвещения”, а в 1994 году ему присвоено звание “Заслуженный деятель науки РФ”.

Сегодня Ю.В. Лебедев — известный ученый, признанный авторитет в научном мире, автор более двухсот публикаций, в том числе фундаментальных монографий”¹⁶.

Сегодня мы знаем Юрия Владимировича и как преподавателя Костромской духовной семинарии, где он читает свой любимый предмет — русскую литературу, заражая своих слушателей интересом к “русскому национальному характеру, ценностям русской духовной культуры”¹⁷.

Его бывшие студенты уносят в жизнь память о исключительном трудолюбии учителя, увлеченности наукой, упорстве, “интеллигентности, доброжелательности и обаянии”¹⁸.

Общественная активность Юрия Владимировича проявилась еще задолго до создания в Костроме фонда культуры — жизнь Костромской писательской организации немыслима без его деятельного участия. И костром-



*Дедковские чтения. 15 мая 1998 года.
Ведущий — Ю.В. Лебедев. Сидит
Г.В. Зыкова.*

кая власть, и костромская общественность обращается к нему в ответственные моменты: будь то очередная конференция в Литературном музее или ежегодные Дедковские чтения*, которые без его активного участия, как одного из организаторов, постоянного ведущего и докладчика, не представляемы.

Он — член двух диссертационных советов — в Ивановском и Ярославском университетах, секретарь Союза писателей России¹⁹, председатель жюри учрежденной в 1998 году областной премии “Признание”, присуждаемой ежегодно за достижения в культуре.

Ко времени же образования в Костроме областного отделения Всероссийского фонда культуры роль и значение Ю.В. Лебедева в научной и культурной жизни были

столь очевидны, что для создаваемой КПСС на волне перестройки новой общественной организации (задумывалось: с новыми и лучшими людьми в руководстве) его кандидатура ни у кого не вызвала сомнений.

Многие дела фонда культуры** без участия Юрия Владимировича имели бы иное и значение, и звучание. Но и здесь проявился его “филологический уклон”. Первые Диевские чтения в Нерехте (1989), Максимовские дни в Костроме и Парфеньеве (1990), религиозно-философские чтения “П.А. Флоренский. В.В. Розанов”*** (1992) — вот наиболее крупные и имевшие продолжение события с участием Юрия Владимировича. Он — главный редактор альманаха “Костромская земля”, вып. 1-4; самые первые издания фонда культуры: А.А. Григоров. Родная земля (1990), Костромская земля, вып. 1 (1990), Материалы религиозно-философских чтений “П.А. Флоренский, В.В. Розанов” (1992) издавались с его помощью.

* В 2002 году прошли 8-е литературные чтения им. И.А. Дедкова.

** О них см.: “Костромская земля”, вып 1-5.

*** Вспомним еще, что Ю.В. Лебедевым подготовлена первая краткая биография В.В. Розанова (Северная правда, 1989, 23 ноября, с. 9, 13) и избранные страницы из “Уединенного” и “Опавших листьев” (Литературная Кострома, №3 (10), март 1990, с. 7, 8).



Культурно-просветительный вечер “Судьба и книги Вс. Ник. Иванова”. 27 ноября 1988 года. Слева направо: Э.Л. Очаговия, Б.М. Козлов, Ю.В. Лебедев, М.П. Магницкий. Фото Г.П. Белякова.



Первые Диевские чтения. 21 октября 1989 года. Панихида на могиле М.Я. Диева. Село Ильинское Судиславского района. В последнем ряду крайний слева — Ю.В. Лебедев. Фото Г.П. Белякова.



*Вечер памяти, посвященный С.В. Максимову. Кострома, 5 октября 1990 года.
Выступает А.В. Павлов. Сидят (слева направо): Ю.В. Лебедев,
М.В. Гуминский, Ю.М. Лоциц, С.В. Гузанов, С.А.Лыкошин.*



*Презентация 4-го выпуска альманаха “Костромская земля”.
24 ноября 1999 года. Слева направо: А.В. Соловьева, Ю.В. Лебедев,
Л.А. Порсятковская, Г.В. Давыдова. Фото Г.П. Белякова.*



Открытие религиозно-философских чтений “П.А. Флоренский. В.В. Розанов”. Слева — Ю.В. Лебедев. Справа — епископ Костромской и Галичский Александр. 25 мая 1992 года. Фото Г.П. Белякова.



После вручения премии “Признание”. Август 2001 года. Слева направо: А.В. Соловьева, Ю.В. Лебедев, Т.Н. Иноземцева. Фото В.Ф. Шевченко.

И то, что Костромской фонд культуры не известен никакими “громкими” делами, а упорно и непрерывно, несмотря на десятилетие хронического безденежья, мало-помалу прядет нить культуры — это тоже в духе Ю.В. Лебедева.

Осталось сказать, что в 1999 году он награжден медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени, в 2000 году — орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени, и в том же 2000 году город, ставший для Юрия Владимировича родным (он живет в Костроме более 40 лет) награждает его премией им. Д.С. Лихачева и производит в Почетные граждане города. В этот же год он становится лауреатом премии им. И.А. Дедкова, присуждаемой за достижения в области публицистики и литературоведения.

Завершим свой рассказ словами В.Г. Корнилова — ими начавшего свою статью “Сейте разумное, доброе, вечное...”: “Юрий Владимирович Лебедев принадлежит к тем русским, до незаметности скромным людям, смысл жизни которых — сосредоточенный каждодневный труд мысли, слова, совершенствования своей человеческой сущности”²⁰.

¹ Лебедева О.А. Лебедев Юрий Владимирович: Вступительная статья // Библиографический указатель — Кострома: Изд-во КГУ им. Н.А. Некрасова, 1999, с. 3. (Далее: Библиографический указатель.).

² Т. Киселева. Тема жизни — литература // Северная правда, 1999, 1 янв., с. 8.

³ Библиографический указатель, с. 3.

⁴ Т. Киселева. Тема жизни — литература // Северная правда, 1999, 1 янв., с. 8.

⁵ Библиографический указатель, с. 4, 6.

⁶ Указ. соч., с. 5.

⁷ Указ. соч., с. 8.

⁸ Указ. соч., с. 9.

⁹ Указ. соч., с. 10.

¹⁰ Ю. Прозоров. Осмысливая классику // Ли-

тературная Кострома, 1992, май (№5), с. 8.

¹¹ Там же.

¹² Библиографический указатель, с. 6.

¹³ Указ. соч., с. 9.

¹⁴ Там же.

¹⁵ Библиографический указатель, с. 4.

¹⁶ Указ. соч., с. 11.

¹⁷ Ёлшина Т.А. Подвижники нужны, как солнце. // Почетные граждане Костромы. 1967-2001 годы: Сборник биографических очерков / Сост. Б.Н. Годунов. — ГУИПП «Кострома», 2002, с. 295.

¹⁸ Северная правда, 1999, 31 декабря, с. 6.

¹⁹ Библиографический указатель, с. 11.

²⁰ Северная правда, 1990, 26 января, с. 2.

«РАБОЧИЙ АНГЕЛ КУПОЛ ПОВЕРНУЛ...»

— из какой догесиодовой Космогонии вынул Арсений Тарковский эту строчку? По-видимому, оно существовало еще как замысел — это первоначальное знание о миропорядке и его разумной ДВИЖУЩЕЙ СИЛЕ.

Ангелы — замечательное племя: оно питается светом и воздухом, но переносит и тьму, и удушье: ни один ангел “не ищет своего, долготерпит, милосердствует, не превозносится” и поражает или злит своими добродетелями тех, кто завидует, не терпит, ищет своего и чужого, в особенности чужого...

Ни один ангел, как помнится, не диссидентствовал, не рвался на страницы однодневной злобы, не покинул своей страны. К слову ЗАСТОЙ он приставил народное ПОГОНЯЙ — НЕ СТОЙ! и сразу объяснил сложное положение увядающей формации. Каждый переходный возраст только прибавлял ему работы. Увы, редко, но непременно появляется для просветления смутных нас написанная им страница. Для этого берет он медную скрижаль или скрижаль мраморную. Он, правда, знает, что его письмена нам ни к чему, ибо останавливают время и повелевают опомниться и ДУМАТЬ — как раз тогда, когда думать некогда и опомниться хлопотно. И все же он делает свое дело. Время останавливается и затем отходит отливной волною вспять, обнажая такое дно...

Нет, нет! — кричит злоба дня, — только вперед!

Долгим и медленным взором окидывает он нашу спешащую толпу, долгим вздохом овеивает нас. Затем вырывает белоснежное перо из плотного до звонкости крыла и продолжает свои записи.

Гудайера — одна из немногих в нашей стране ЗИМНЕЗЕЛЕННЫХ ОРХИДЕЙ... Первые два-четыре года пророк ведет подземный образ жизни... Лишь на пятый год появляются первые зеленые листья, а зацветает растение на седьмой-восьмой год... При сильном затенении ОНО МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ К ПОДЗЕМНОМУ ОБРАЗУ жизни... При

осветлении вновь оно появляется над землей.

Гудайера — древнее растение. Она пережила ледниковый период. Переживет ли ПЕРИОД ЗАПУСТЕНИЯ?

Дремлик — очень нежное и трогательное существо. Под землю он не умеет спрятаться. Натиск некоторых сильных видов — лабазника вязолистного, щучки дернистой — может полностью вытеснить дремлик с обжитого луга.

Ангел-хранитель писал это, очевидно, в пригородном леске, где поляну примяли колеса чьей-то “тачки” и следы цивилизации, которая постигла дикарей, остались в изобилии. Под ноги никто из них не смотрит и, на что наступает, не знает.

Полевой жасмин. Ночная фиалка. Любка, Любушка — это тоже орхидея наших северных полей.

Тонкий, стройный, прямой стебель... Листья блестящие, словно лакированные... Многоцветковое соцветие, похожее на свечу... Рассмотрите его порхающие белые цветочки — вы увидите настоящую орхидею, о которой грезят садоводы... Шалашик верхних лепестков цветка оберегает от дождя тычинки и пестик... А завершает цветок длинный, изящно изогнутый шпорец; он напоминает миниатюрные ножны для шпаги. Внутри шпорца бесцветный сладкий нектар... Цветы опыляются ночными бабочками...

Когда стройка, или война, или вскрышные работы выворачивают луга и степи, леса, пустыни наизнанку, никто, кроме ангелов, не видит ПОЛНОЙ КАРТИНЫ во всех ее измерениях.

А теперь позволю себе комплимент ботанической троице: Е.В. Шиповой, Г.А. Семеновой, М.А. Беляевой — это они пишут на мраморе и металле свою балладу о жизни и смерти, поисках и утратах.

Осенью в Костроме прошли — надо думать, не впустую — чтения, посвященные Павлу Флоренскому. Уместно здесь напомнить слова, записанные его собеседницей Н.Я. Симонович-Ефимовой: НЕ ЗНАТЬ, КОНЕЧНО, БОЛЬШОЙ ГРЕХ, НО НЕ ЖЕЛАТЬ ЗНАТЬ — УЖЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

Знание обязывает. Оно и не каждому под силу. Астроном признается: сознание своей малости во Вселенной способно психологически уничтожить человека. Пророк предостерегает: познание рождает скорбь. Поэт оставляет нам немислимое предписание: знать ВСЕ и все забыть, беря перо или кисть. Но здесь самое уместное речение: ЗНАНИЕ СПАСАЕТ.

...Идет Гражданская война. Раненого белого офицера укрывает и ста-

вит на ноги сибирская крестьянка. Он биолог, он Божьим Промыслом уцелел в годы сталинщины и основал лимнологическую лабораторию на берегу Байкала. Он ЗНАЛ Священное море как никто — все глубины, весь биоценоз, все нерестилища, знал, быть может, тайны Байкала, ему присущие как всякому уникальному явлению. Ведь чем глубже знание, тем ощутимее тайна — его бесконечность! Быть может, он испытывал чувство, приводившее в трепет Андрея Тарковского, представившего МЫСЛЯЩЕЕ МОРЕ в “Солярисе”. (Постороннее замечание: надо переосмыслить, пора, кое-что в язычестве, традиционно вытесняемом ортодоксами нашей Церкви).

Облеченный знанием как властью, лимнолог Михаил Михайлович Кожов СПАС БАЙКАЛ, когда героические энтузиасты идиотизма вознамерились взорвать Шаманский Камень — край Байкальской чаши — чтоб Ангара поскорее затопила котлован будущего Братского моря. Лес не вывезен, турбины не готовы — но рапорт отдан Хрущеву и плечи подставлены под эполеты, а груди — под ордена... И никто из профанов не ведает, что ждет нас при опускании зеркала байкальского на пять метров. Знает это лучше всех М.М. Кожов. И он говорит огромному собранию энтузиастов:

Вы постройте вашу ГЭС. Вы постройте, вероятно, ваш коммунизм. Но второго Байкала вам не построить... И тихим, после паузы, голосом он им говорит: Если взорвете Шаман, я пуцую себе пулю в лоб. Слово офицера.

Любое собрание, в общем, есть стадо. Кожова знали — и потому... Тут спектр обилен и пестр: кто усовестился, кто испугался, кто опомнился... БАЙКАЛ БЫЛ СПАСЕН. В отличие от Севана, спущенного на десятки метров, “чтобы уменьшить площадь испаренья” и дать “ударную энергию”.

История КОСТРОМСКОГО МОРЯ, к чести Альманаха, занимает его до сих пор — были публикации и ранее — и продолжается в рассказе Л.П. Пискунова о судьбе деревни Вежи и других “матер”, ушедших на дно водоноилица.

Рассказ о “травках и цветочках” следует гораздо после, так сказать, рассказа о потопе, но по сути его как бы предваряет: вода покрыла огромную площадь земель возделанных и свободных, и — какие мириады каких растений задохнулись в ней, какие деревья, лишаясь коры и чернея, простирали, утопая, к небу свои ветви! Площадями и цифрами со шлейфами нулей никого уже не удивишь, но, скажем, превращение живого трехсотлетнего дуба (коломенским дубам по 800) в изваяние каменеющего великана все же впечатляет. И рассказ о ночной фиалке, который может быть десятикратнее драматичнее и подробней, вполне сопоставим с рассказом о судьбе крестьянской семьи, пережившей беды новейшей истории нашей.

В белых косоворотках, подпоясанных ремешками, в черных костюмах и шляпах, в новых ботинках на повышенном каблучке явились в салон

знаменитого фотомастера Куракина крестьяне деревни Вежи: Михаил Григорьевич Тупицын, Нестор Алексеевич Лезин и Петр Федорович Пискунов. Фото 1913 года: лица спокойные и ясные, позы непринужденные. Это хозяйка земли, щедро отвечавшей на вложенный в нее труд. (Пойма Костромки и впадающих в нее малых речек славилась культурой хмеля, сенокосными угодьями, богатым медосбором, обилием скота, рыбой речной и озерной...) Это, по словам Некрасова, **ВЕЛИЧАВЫЕ СЛАВЯНЕ**. (Жаль, что славянки остались дома и не глядят на нас сквозь годы разрухи и унижений). Годы **БОРЬБЫ** — столь же универсальной и всесторонней, как труд — согнали с лиц их естественное выражение. Человек усиливался придать себе вид соборно моменту: лицо выражало дисциплинарную покорность. Сия же последняя сквозила в выражениях торжества и побед, в бдительной настороженности, в призывах на бой и на труд... Лицо полового, заметил себе Чичиков, обращалось во все стороны так быстро, что даже нельзя было заметить, какое у него лицо. Лицо, однако, было лакейское...

Забегая вперед, замечу, что **СЮЖЕТ АЛЬМАНАХА “КОСТРОМСКАЯ ЗЕМЛЯ”**, напрягающий 400 с лишним страниц выпуска, есть сюжет **ЗЕМЛИ ПОД ИГОМ**, где вероломной неправой силе противостоит осознающая себя и свое достоинство **ПРАВСТВЕННАЯ ПРАВОТА**. Если первая оснащена оружием и сплочена иерархической дисциплиной (покорностью), то вторая разрознена и единична. Но за ней — ценности непреходящие, в то время как за насильниками — лишь злоба дня.

Уже сейчас есть разработки (Ф.Я. Шипунова и других), из которых явствует поспешность и вопиющая нерентабельность низконапорных гидростанций; разработаны наплавные и дериватные агрегаты, их “гирлянды”, делающие ненужными гигантские плотины и “морья”. Но об этом рассуждать мне не здесь. Мое дело — другое.

... И видели цветенье тины, и плакали глаза мои:

— Что Волга? Что — твои плотины, пруды гигантские твои?

И было мне подобье гула на потопленном берегу:

— Как будто, милый, я ВДОХНУЛА, а выдохнуть и не могу.

Не спорю с человеком гордым, трудов его не оскорблю,

но преизбытком полумертвым себя и землю погублю.

В моей теперешней доле я терпелива без конца...

НО ЗРЕЛИЩЕ МОЕЙ НЕВОЛИ ЛЮДСКИЕ УТОМИТ СЕРДЦА.

Превращенная в лестницу водогнилиц, река перестала себя чистить, донные отложения вполне гармонируют захламленным берегам (спуститесь к Волге чуть ниже впадения в нее Костромки), и действительно страшно обнажать их, когда придется спускать “морья”, а придется... Достоинство Альманаха еще и в том, что **ПРИВЫЧНОЕ ЗАПУСТЕНИЕ** наше и **ОБЫ-**

ДЕННОЕ НЕРЯШЕСТВО нам явлены в чистом зеркале. Опять Гоголь: это от него несется к нам КРИК УЖАСА И СТЫДА, который испускает вдруг человек, увидев в зеркале свое ОСКОТИНИВИШЕЕСЯ ЛИЦО...

Нет, материал Пискунова, рассчитанный на публикацию и потому “ужасов” лишенный, скорее эпичен и овеян лишь печалью вечной разлуки с родными местами. Это была костромская Венеция на сваях — обширный полой с марта по май. Цветущая верба, колокольный звон, прозрачные сумерки, крестные ходы в лодках, “долговязые” баньки, часовенки, церкви, крестьянская смекалка в уникальных таких условиях жизни, эстетика строгости, свойственная зоне риска.

В тихую погоду по воде звон колокола был слышен за 10-12 километров. В весенний разлив звонили в колокола в большие туманы... Местное население различало, чьи колокола звонят. В Мискове, в Куникове, в Сущеве, в Глазове, в Шунге — у каждого колокола была своя мелодия...

Л.П. Пискунов признается, проходя мимо памятников Ленину и Су-санину, что хотел бы видеть памятник вежевскому лапотному мужику. Пусть это не звучит странно, хоть ни лаптей давно нет да не осталось и того мужика, который достоин памятника. Если не памятника, то сердечной признательности нашей достоин сам Пискунов, воскресивший с любовью и тщанием жизнь потопленного края. Иногда его описания образны в силу выстраданности картин и положений многолетней давности. КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ СТАЛА ПОЯВЛЯТЬСЯ, КАК ТЕМНАЯ ГРОЗОВАЯ ТУЧА ИЗ-ЗА ЛЕСА, с 1927-28 гг. С горечью пишет он про обезличку труда, человека, рабочей лошади, сведенной со двора. Про дневную работу на колхоз за трудодни-палочки и про тайную (!), чтобы прокормиться, ночную работу. Про нужду и необходимость ПРИВОРОВЫВАТЬ, про ОБМАН как закон новой жизни... Про оскорбление святых чувств, про все то, что не убирается в здравый смысл, но должно выполняться по приказу. Как изменилось ЛИЦО ХОЗЯИНА ЗЕМЛИ, который перестал быть таковым и стал батраком...

Все это было бы слишком грустно, если бы не описал наш автор и праздников, не припомнил бы частушек и всего родного ему и милого. Припомнил, описал. Его рассказ как бы затянут, он не хочет кончатся, и после многочисленных добавлений, после словаря и местных речений, после карты ныне подводной местности с подводными реками и озерами, после раздела об УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ и традиционного авторского “прошу меня простить”, — публикатор Леонида Петровича, Антонина Васильевна Соловьева, заключает:

Прекрасную память, наблюдательность, интерес к событиям унаследовал Леонид Петрович от отца Петра

Федоровича, который тоже вел записи-рассказы о различных случаях собственной жизни; а прожить ему дано было девяносто два с половиной года.

Что ж, будем надеяться и на публикацию рассказов Петра Федоровича и пожелаем его сыну дожить до ста лет!

Давно осмеяна незавидная роль писателя, который пописывает, и читателя, который почитывает. Мой друг поэт Александр Аронов, известный широко благодаря всего двум словам **ОСТАНОВИТЬСЯ И ОГЛЯНУТЬСЯ**, написал много хорошего, а в молодости удивился:

*... но вот печатают стихи —
и ничего не происходит!*

В самом деле... Русскому писателю свойственно видеть жизнь — так сказать — преобразующий смысл в своих писаньях. Марина Ивановна Цветаева, сравнивая Маяковского и Пастернака, пишет, что **ВЫХОД** из стихов первого — это выход на площадь, на баррикаду, выход в деятельность, **ВЫХОД** из лирики Пастернака незаметен: это движение вовнутрь, возбуждение сердечной и мыслительной деятельности.

Спрошу себя, хоть и преждевременно: что сделает, куда рванется читатель, прочтя весь Альманах или хотя бы один материал, похожий на **КУСОК ГОРЯЩЕЙ СОВЕСТИ** — о Гражданской войне в губернии или о лишенцах? И на какой выход могут надеяться авторы таких материалов? И хорошо ли спится критику и другу-литератору, кому Альманах подарен? И как быстро исчез его тираж с магазинных прилавков?

Предварительно и скептически ответив на эти вопросы, я уверен, что **СВОЕГО ЧИТАТЕЛЯ** Альманах найдет и число своих приумножит...

Это **РАБОЧИЕ АНГЕЛЫ РУСИ** — такие же, как и авторы Издания. Их не может быть слишком много. Но их порука должна быть достаточной для продолжения таких выпусков и лестного самосознания читателей: мы все помним, оказывается, мы не боимся **ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ** и готовы к ней, как сильный человек готов к исповеди.

Пожалуй, самый весомый в этом отношении — “Опыт документальных этюдов” Б.Н. Годунова и О.Б. Панкратовой, озаглавленный библейским стихом **ЧТО БЫЛО, ТО И ТЕПЕРЬ ЕСТЬ, И ЧТО БУДЕТ, ТО УЖЕ БЫЛО...**

*(Что было, то и есть,
А будет то, что было —
переводческий зуд еще не прошел...)*

“Лишенец”... Это еще не “раскулаченный” (но уже лишенный избирательных прав) ... Теперь потребкооперация не для него, в лавке ему не дадут ни крупы, ни муки, ни

керосина... Завтра ему начислят индивидуальный налог или дадут невыполнимое “твердое задание”... Потом опишут имущество вплоть до чайного стакана и вилки, арестуют вклад в сберкассе... Потом будет суд. Потом все будет продано с торгов в своей деревне — и купят ведь! — а потом обнищавший и бесправный будет он искать работу и работы не найдет: лишенец!

“Опыт этюдов” откровенно и ярко лиричен. “ЧУВСТВА РАСПИРАЮТ. ОНИ ЗДЕСЬ ПЕРВИЧНЫ”. Мысль родится из них и крепнет: “ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ, ЭТИ ДОКУМЕНТЫ НАДО ПУБЛИКОВАТЬ”. Авторы правы. Криком кричат архивные бумажки.

... Я в настоящее время пропадаю в жизни за старую свою совместную жизнь с отцом, так как который был частным торговцем. Это 1929 год, позади НЭП, на повестке дня коллективизация...

... А пропадаю я во всей молодой жизни только за отцовскую фамилию... ЗА КЛИЧКУ ФАМИЛИИ ОТЦА.

Отцу же за 70, ни торговли, ни барышей. Теперь и СЫНА ОТНИМАЮТ и тот рад бы, но его стыдные и слезные отречения от сельского столоначальника поднимаются к районному, затем идут в область или возвращаются вниз. Идет время, ГОДЫ проходят в мытарствах ЛИШЕНЧЕСТВА...

Обстановка в такой семье, раздираемой по-живому, вопли одного сына и каменное молчанье другого, который отца не предаст, смута на женской половине, толки и поведение деревенцев — готовые СЦЕНЫ ТЕАТР-АБСУРДА. Сын, который отрекается, для пущей лояльности пишет доносы на брата, и того завтра ушлют куда подальше. Помирай, батька, под КЛИЧКОЙ ФАМИЛИИ своей!

Как-то мне попалась книга с дарственной надписью: “Милостивая Государыня маменька, припадаю к стопам Вашим, примите от сына Вашего Книгу сию...”. Дата была: 80-е годы прошлого столетия. Такой же низкий поклон отдавался и отцу...

Решительно заявляю, что я порываю всякую связь с отцом и его хозяйством и хочу честно работать вместе с другими гражданами СССР...

Такие решительные заявления появлялись в газетах, редакторы очень их любили. Это пишет уже сын не торговца, а священника, “лютого врага” советской власти. Известно, в чем заключалась “лютость” деревенских батюшек, деливших жизнь между храмом, приходской школой и собственным клинышком земли. И торговец был нужен, и отправитель треб необходим, и в них нуждалось население. Однако этот абсурд в действии, все эти АКТЫ ХАМСТВА не могли обойтись без поддержки мира, своих же сель-

чан. И тут наши авторы попадают в яблочко:

... А потом стали рушить церкви, жечь иконы. Старики в Островском рассказывали, что ими растапливали печь в пекарне... И не чужими руками это делалось...

ЭДЕСЬ НЕ ИДЕОЛОГИЯ И ДАЖЕ НЕ ПОЛИТИКА. ЗДЕСЬ ОБЩЕСТВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ, В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ ПОРАЗИВШАЯ КАЖДОГО...

Медицинский критерий должен был явиться при оценке здоровья или невменяемости уже целого народа, коим властвовал параноик. И, кажется, этот критерий важнее всех остальных. Еще Герцен задумывался о нем, еще Эразм Роттердамский, Свифт и Сервантес в тупик становились перед опрокинутостью мира и по-своему каждый смеялись и плакали над собственной СТРАНОЙ ДУРАКОВ.

Годунов и Панкратова создали замечательный памфлет — вещь будто бы невозможного сегодня жанра. КОГДА СТИХИ ДИКТУЕТ ЧУВСТВО... Здесь продиктован памфлет. Изобличен явный ИДИОТИЗМ, с каким ненавистники народа уничтожали самую жизневорную его силу, его стеновой корень.

ПОЧЕМУ И КОМУ СТАЛО ТАК НЕНАВИСТНО ПРОШЛОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ ДЕРЕВНИ?

Почему надо было уничтожить крестьян-хозяев —

УМЕЛЫХ, БЕРЕЖЛИВЫХ И СМЕТЛИВЫХ ТРУЖЕНИКОВ, НОСИТЕЛЕЙ ВЕКОВЫХ ТРАДИЦИЙ, КРЕСТЬЯНСКОГО ГЕННОГО КОДА, КОТОРЫЙ ЗАКЛАДЫВАЕТ В КАЖДОМ НОВОМ ПОКОЛЕНИИ ЗДРАВЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ: ПОМИРАТЬ СОБИРАЕШЬСЯ, А РОЖЬ СЕЙ...

Почему РАСТЛЕНИЕ ЧУВСТВ — сыновних, родительских, семейных вообще — обрело поддержку в советском искусстве... Впрочем, этого авторы еще не коснулись. Зато нынешнее состояние народа они прямо связывают со вчерашним его помрачением. Да они, в сущности, о нынешнем и говорят, ни на минуту не упуская его из виду. Так художник, рисуя портрет отца, снимает с подрамника портрет ... сына или внука, ибо озабочен не портретным сходством, а верностью родовых черт (случай с Модильяни). Для сходства достаточно фотографии... Что же касается НЕНАВИСТИ как ДУХА БОЛЬШЕВИЗМА, нетерпимого ко всякой иной идеологии, не брезгающего ничем ради “побед”, то надо пошевелить страницы поэтического букваря, созданного поэтами Пролеткульта, “Кузницы”, “Лефа” и т.п. Это нелегкое чтение... Это — КРАСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ, как назвал свою книгу Василий Князев. Там коммунар пьет не воду, а кровь. Там позорна доброта. Постыдно милосердие. Там коммунару не надо ни матери, ни отца — ему

нужна ИДЕЯ, крепость того чувства, с которым убивают врага. А враги — все. Там нужны “пролетарские впечатления” в их предельной взвинченности — наркотик убийц.

Когда-нибудь, пускай предвзято, обязан будет вспомнить свет всех вас, Рязанские Мараты далеких дней двадцатых лет...

Смеляков простирает в будущее свою защитительную длань, хотя сам понимает несостоятельность защиты. В тех же стихах, кстати, он и проговаривается:

ЛЮДЕЙ ОТ ИМЕНИ НАРОДА ВЫ ПОСЫЛАЛИ НА РАССТРЕЛ.

Смысловое ударение: ЛЮДЕЙ!

У наших авторов, назовем их еретиками советской историографии, да и постсоветской кстати, за всеми архивными бумагами виден ЧЕЛОВЕК, и вся мысль этой чудесной пары (отца и дочери), шарахаясь в тесной области абсурда, озабочена как бы материнской заботой ПОМОЧЬ, ОГРАДИТЬ, ОБЛИЧИТЬ АБСУРД, ПРЕДОСТЕРЕЧЬ людей будущего от болезни, постигшей страну, если уж не получилось сохранить здоровье людям настоящего. А этого и не получилось...

Авторы по закону обратной перспективы, словно прибегнув к методу Флоренского, ВЫВЕРНУЛИ НАИЗНАНКУ привычные смыслы и ценности — и получили ЛИЦО! Описав драконовские акты власти, сопроводив несчастного лишенца по всему лабиринту унижительных его хождений и ползаний — так! — они возвышают голос:

За всем этим — искалеченные души и ущербная дальнейшая жизнь и стариков, и молодежи... За всем этим — переданный опыт, духовные утраченные ценности многих поколений множества семей и крестьянских родов, НЕ ОСВОЕННЫЕ МОЛОДЕЖЬЮ ЦЕЛЫЕ ПЛАСТЫ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ. За всем этим — недополученное тепло семейного очага... незнание своих родовых корней... В итоге — ненужность таких “предрассудков”, как стыд и совесть, самостоятельность и гордость, честь и достоинство, верность слову и законам дружбы и родства, почтение старших, поминовение усопших и память о них.

ЗАЧЕМ ЖЕ МЫ СЕГОДНЯ УМНОЖАЕМ ТО, ЧТО НАТВОРИЛИ ТОГДА...

ТОГДА творили “под шум литавр и треск пальбы”, ТЕПЕРЬ — под шум речей и склок, под грохот взрывов затяжной войны.

Утраченного не вернуть и погибших не воскресить. Не поднять с колен поверженного нищего просителя... Читать об этом физически больно. Но спасает читателя ОЩУЩЕНИЕ ПРАВДЫ И СВОБОДЫ авторской мысли, авторской речи. Гreet сердечность...

Пожалуй, пора спускаться с высоты гражданского пафоса, столь полно обеспеченного документальным фактом и жизненными последствиями сотворенного зла.

Вот уютный солнечный закуток — продолжение рассказа Л.А. Колгушкина о КОСТРОМСКОЙ СТАРИНЕ, о пестром ее народе, его нравах, его знаменитых легендарных личностях. Как гуляли славные богатыри купеческого звания, как жили ЗИМОГОРЫ, как бродила по улицам Матрешадурочка, всю жизнь, от юности до старости, поджидая своего красавца дьякона: не едет ли? пора бы... Матрешу любили за нрав, за блаженную улыбку, за чистые детские слезы. Кто-то и позавидовать мог ТАКОЙ любви, как завидуют правде юродивых.

Рассказы о кулачных боях, о театре, о пожарной службе, о празднике Широкой Масленицы... Не забыл автор упомянуть пожарную собаку Бобку: умный и храбрый пес выносил из огня детей. О кладбищах, о Татарской слободе, обо всем нелишнем ведет Колгушкин свой задумчивый рассказ, и чем больше сказано, тем больше остается в запасе — ЦЕЛЫЕ ТОМА, признается балакирь.

Древностью веет от выписок покойного краеведа Д.Ф. Белорукова — здесь представлены отрывки из ДОЗОРНОЙ КНИГИ ГАЛИЧА 1620 г. и ПЕРЕПИСНОЙ КНИГИ СОЛИГАЛИЧА 1628 г. На радость филологу в “неправильной” письменной сказке услышит он подлинную речь того обихода.

В Галиче же на посаде на конце Рыбных слободы храм во имя Якима и Анны, а у того храма служат: во дворе поп Устин, во дворе поп Афонасей. А живут на посадской на черной на тяглой земле... В Шатине улице со всполья к острогу, а в ней: во дворе Пятрушка Ковезин, сапожной кропач, во дворе Гаврилко Ветошкин, щепетинник, да налево к Галибине улице и острогу: во дворе Ромашка Осипов сын, кузнец... во дворе Филка Иванов сын, винокур...

Что-то Пушкинское, не правда ли? Простота, лад... Из бесконечного перечня имен — кто где живет — выпишу несколько: Томилку рукавишника, Якунку Басова, Гарку Олсуфьева, Ивашку Дудора, Ондрюшку Бакани, Фалалейку Бабонегова, Аверку Полстовала, Оноху Решетова, вдову Дарьицу, Пахомову дочь, вдову Настасьицу Савельеву дочь... Ласковые огласовки не выражают ли почтение к прекрасному полу? Пушкарь Степанко и пушкарь Фторушка — люди тоже разнопочитаемые, не так ли? А уж сын боярский Дмитрий Давыдов сын Готовцев зовется полным именем, а не Митком, не Митюшкой. Русское полногласие слышится в этой мирской речи повсюду. Иоанн Креститель именуется Иваном Предотечей, Государь вели-

чается ВСЕА РУСИИ и т.п. Тут нужна бы старая орфография...

Несколько лет я прожил в Парфеньеве: купил там дом в бывшем поселке льнозавода, из бревен бывшего склада пристроил к дому боковину 5х6, переложил печь... НИКАКОЕ имя “Молодежный”, которым обозначен поселок с десятком стариков, мы с парфеньевскими энтузиастами здравого смысла хотели переменить на “Белоруково”. В том именно месте располагались картофельники Белоруковых, на стрелке Неи и Чернушки с ее великой водой еще горбится остатком снесенного винокуренного заводика.

Парфеньево — родина поэта и странника Сергея Маркова. Здесь же родился Сергей Васильевич Максимов, чьи даты — 100-летие и 170-летие — собрали недавно в костромской библиотеке десятка три почитателей.

Переименовать “Молодежный” не удалось.

А когда — он был еще жив — я навещал Д.Ф. Белорукова в деревне Федонино, то по дороге туда и обратно, повторяя это ласковое имя, я воображал Федоно: то погибшим мальчиком, то деревенским юродивым...

К историческим заметкам Белорукова тянется в Альманахе небольшой материал Александра Вячеславовича Громова о микротопонимии его родной деревни Макарово, что на Унже недалеко от Мантурова.

Имена лугов, оврагов, полей, боров связывает он с людьми, которых еще застал, и теми, кого давно уж нет, но живы еще преданья...

Уходит в прошлое, в историю... неповторимый островок жизни, труда, обычаев, нравов, языка. Все это памятно и мило автору...

Я знал книжечку А.В. Громова о костромских льнах.

Я список кораблей дочел до середины...

Так читался словарь о замечательной национальной культуре льна — прямо по Гомеру! В гулких корпусах брошенного льнозавода...

Но обойдусь без лишних эффектов.

На столе у меня другая книжечка Громова — “Жгонский язык” — об условном языке пимокатов и шерстобитов (валял, как зовут их в других местах). Собирал эти слова Александр Вячеславович несколько десятилетий, продолжив в родных ему местах великую традицию Даля.

“Всею душой преданный Богу и Его святой Церкви, глубоко изучивший Священное Писание... деятельнейший церковный организатор и администратор... пламенный проповедник... Епископ Геронтий в истории Древлеправославной старообрядческой Церкви занял большое и почетное место”.

(Церковный календарь за 1955 г.)

Старообрядческий священник о. Валентин Новожилов публикует в Альманахе Житие епископа Геронтия, им самим написанное — его первую часть, до ареста в 1932 году. Было ему тогда 60 лет. Удовольствуемся беглым пересказом неспешного повествования. В семье отца дети “на буднях обременены были все крестьянской работой, а в праздники все были за богослужением, после обеда разрешалось детям отдыхать на улице только до 6 часов вечера”. Будущий епископ Геронтий, мальчик Гриша, был мал и худосилен, но, как покажет жизнь, духом тверд... Женили его родители по своему усмотрению, когда же невеста захотела поплясать на свадьбе, то услышала от жениха: “Если Вы изволите танцевать, то уж будете не моя невеста, а сатаны”. Кроткая Анна Дмитриевна убоилась такого, и прожили супруги в любви и согласии до смерти. Приверженность древнему благочестию Григорий сохранял и проявлял везде, начиная с армейской службы. Умирает жена старшего брата — детей пестует Анна Дмитриевна. Григорий — полковой архивариус, по демобилизации обучает знаменному пению прихожан в Плесе, никониане и беспоповцы едва не убивают его. Приход его в деревне Куделихе растет, Григорий строит кирпичный завод...

Матушка Анна умирает, когда мужу исполнилось 36. Самообладание осиротевшего вызывало почтительное удивление. Не перечислить всех дел, за которые берется он и доводит до конца. В хоре Покровской церкви села Стрельникова 100 человек. Перестраивается храм... Когда ревностного священнослужителя Освященный Собор переводит в Петроград, в Стрельникове “получился общий неутешимый плач. Плакал народ, плакал и о. Григорий. Затем более двух часов пришлось только благословлять”. Ехали до Костромы “в километровом окружении тысячи людей”. С февраля 1912 года о. Григорий становится священноиноком Геронтием...

Пересказ не достигает цели. Поэтому перечислю построенные и перестроенные епископом Геронтием, в том числе и собственными руками, большие и малые, деревянные и каменные храмы. Деревянные: в Стрельникове, в Дурасове, в Дворищах, в Каримове, в Лебединце, на Псковщине, в Сысоеве, в Валуе. Каменные: в Куниково, Вышнем Волочке, в Ленинграде на Громовском кладбище, в Острогах, Эссентуках.

Открыты училища грамоты, чтения и пения в разных селах и городах, всего — 15. “Состав преступления” перед властью, как видите, огромный. Подвиги священноиннок — регента, богослова, каменщика и плотника, исповедника и утешителя, личности абсолютно необходимой, как серебро в воде, в своем народе, — прямой ответ на великий русский вопрос ЗА ЧТО? Его задавали друг другу попавшие в тюрьму невинные жертвы тирании, спрашивали сами себя, спрашивали следователя и палача. 60-летний Геронтий

не спрашивал. ЗА ВСЕ СЛАВА БОГУ — отвечал он и приговаривал: “Дон-деже время имамы да делам благое паче же присным в верел!”

Май - декабрь 1916 года.

Поразительный эффект возвращенного времени — военного и пред-революционного, пережитого подробно, вдумчиво, ХУДОЖЕСТВЕННО, заботливо и ответственно 40-летним, прекрасно образованным человеком, чья деятельность и роль в губернской жизни трудно охарактеризовать кратко.

ДНЕВНИК Е.Ф. Дюбюка притягивает и увлекает: в записях есть таумная картинность, которая свойственна одаренным кинооператорам, когда кадр и самодостаточен и “больше себя самого” безо всякой на то претензии. Роман, заметил Стендаль, есть зеркало, с которым идешь по большой дороге. Помнится, так. Зеркало Е.Ф., весьма разборчивое и совсем не плоское, у него не в руках, а внутри, что выводит эти страницы, где текст местами оборван, из разряда дневниковых и частных: оставаясь таковыми, они замечательно охватывают живые черты народной жизни — это наметанный взгляд ХОЗЯИНА ЗЕМЛИ, причем, ЗАБОТА о ней не заслоняет ее красоты и прелести...

Кологрив, 4.10.

Сегодня был в музее покойного Геннадия Александровича Ладыхенского... Большой художник, холостой, умер 64 лет, всю жизнь собирал старинные вещи, картины, книги. Весь верх ими завален. Вот самовар, вывезенный Платовым из Парижа, вот картина Ватто, стоящая 10 тыс. руб., турецкий ятаган с драгоценными камнями, индейские ножи, старые печатные и рукописные (лицевые) книги. Десятки картин: “Под ливнем” (базар), за которую получил серебряную медаль, “Вышка”, “Ломка камня”... “Старый Ларе”, “Терек”, “Река Унжа”, “Грузка дров на реке Унже”, где изображены все действительно бывшие Арины, Афимьи, Зиловьи. Зиловья была красавица, теперь старуха, этот парнишка — старик, а этого старика весь Кологрив знал: в трактире голову облили керосином и зажгли — ничего, выходился, народ тогда крепкий был.

Улыбка, любованье, ЛЮБОВЬ — явно или скрыто тут повсюду.

Едем лесами, вот покосы Жоховой, заливные, по р. Нее, 35 дес., вот 40 дес. леса Русакова — везде покос, уборка в разгаре. Мельница на Нее, Ларин поставил ее на диво, это предмет удивления. Нея блестит нарядная, переливается, ярится. Ярится покосом. Бабы в цветных одеждах убирают сено в стога...

Светлые бочаги, словно бусы, сверкают на солнце...

Это запись 7 июля. Неделей назад:

Крестьянские девушки поют серебристыми голосами:

ТАМ ЛЬЮТСЯ КРОВАВЫ ПОТОКИ С УТРА ДО ВЕЧЕРНЕЙ

ЗАРИ.

Соблазн переписывать ВЕСЬ “Дневник”, как видно, велик и безрасуден. При такой яркой любви к жизни заражаешься ею и горишь как хвост. Но у автора она обеспечена, эта любовь, разнообразными ЗНАНИЯМИ — а у тебя чем? Читаешь, и приходят на ум очерки Короленко и Лескова, проза Бунина — не та ожесточенная проза кровавого разрыва со страной, но проза и стихи, где поистине академические знания не мешают вдохновению — напротив...

Публикация Г.В. Давыдовой и А.В. Соловьевой сделала бы честь любому изданию. Настоящая — продолжение той, что была в 3-м выпуске Альманаха. Обе — просятся в КНИГУ. (Под одной обложкой с Дюбюком поместиться могло бы еще что-нибудь, но, пожалуй, публикации такого достоинства в этом выпуске нет. Хорош и отзывается ей материал Н.А. Зонтикова, но он в другом несколько роде).

Материалом Зонтикова Альманах открывается, (материал Дюбюка его завершает). Это добросовестное исследование историка “на тему” знаменитой картины А.К. Саврасова “Грачи прилетели”. Скажу — для улыбки — что в этом материале не хватает разве что орнитологического описания грача — птицы весенней; все остальное, прямо или косвенно связанное с картиной Саврасова, представлено так, будто историограф прожил десятки жизней со времен Ивана Грозного, искушен в ремеслах и художествах, отчетлив во всех многоветвистых переплетениях знаменитых и не очень известных генеалогических деревьев. Примечательна его любовь к слову НЕИЗВЕСТНО, так как мало что в его предмете остается неизвестным. Каждое НЕИЗВЕСТНОЕ будто помечено им: вернуться и сделать известным!

Неизвестно, была ли в годы опалы отобрана у Салтыковых их половина Молвитина, но, кажется, что нет; более того, в 1630 году, видимо, в связи с кончиной К.И Михалкова, и его половина села в соответствии с завещанием А.Т. Михалкова была “отказана Евникее Одреевне Салтыковой” и, таким образом, в руки Салтыковых перешло все Молвитино.

Вызывают зависть архитектурные соображения и пассажи в описании молвитинского Воскресенского храма, того, что на картине, и совсем неожиданна в историке терпимость к вольностям художника, так, а не эдак повернувшего храм. С великодушной терпимостью относится Николай Александрович и к легендам, что обвили фигуру Саврасова — тут куда чаще историки ревнивы, а ревность, хоть и дитя любви, но слово неродное... ИС-

ТОРИЯ — ВРУН ДАРОВИТЫЙ, сказал поэт. В природе исторического факта, занесенного в анналы, нет ничего, КРОМЕ ЖИЗНИ, сплетения ее страстей, случайностей, безрассудства... Последнее качество представлено Зонтиковым в рассказе о советском периоде в судьбе молвитинской святыни. Пора бы, кажется, привыкнуть к абсурду самоуничтожения, к той БОЛЕЗНИ, о которой написали Годунов и Панкратова в очерке о лишенцах. Но что-то не привыкается.

Как раз об этом — исследование М.А. Лапшиной “ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ. 1918-1919”. Тяжелое чтение. Народ устал от войны и бежит с фронтов.

13 апреля в Костромской губернии объявляется осадное положение. Во все военные комиссариаты направляется телеграмма, предписывающая “всем уездвоенкомам самым энергичным образом проводить борьбу с дезертирством. Всех сопротивляющихся расстреливать на месте. С укрывателями расправляться как с дезертирами”.

ФАКТИЧЕСКИ ОБЪЯВЛЯЛАСЬ ВОЙНА С КРЕСТЬЯНСТВОМ, так как во многих семьях крестьяне поголовно были связаны с зелеными.

Автор не избегает жестоких картин. Большевистский замысел превращения “империалистической войны в гражданскую” удался на славу... О последствиях братоубийства ни чекисты, с одной стороны, ни повстанцы, с другой, не думали, ожесточенье нарастало, МИРА НЕ СОСТОЯЛОСЬ: какой мир между трудом и “нероботью”? Огонь вражды нырнул под землю как торфяное тленье, чтобы обнаружить очаги злой памяти в 1941 году. Повествование Лапшиной отличается объективностью, да и вряд ли возможна тут лирическая яркость “этиодов” Годунова и Панкратовой: те пишут ИЗНУТРИ, входя в положение и шкуру каждой жертвы идиотизма. Здесь — другая задача. Созданием комбедов, пишет Лапшина, большевики раскололи деревню летом 1918 года, потом стравливали долго и последовательно обе половины.

Пушкин как-то заметил, что ДРУГОЙ истории он бы не хотел. И хор ему вторит: не надо сослагательного наклонения... Но куда деться — от тоски именно ПО ДРУГОМУ ходу ее, что делать с душевным НЕПРИЯТИЕМ совершившегося несчастья?

Менее значительны другие материалы Альманаха. Хотя статья Б.М. Козлова о литературной жизни Костромы военных лет добросовестна и пространна, погоду делает материал. Не до литературы было тогда, а то, что появлялось в газетах в стихах и прозе, поневоле было прикладным — К ВОЙ-

НЕ. Искусство в таких случаях обнаруживает свою самолюбивую и жестокую природу — уходит, как вода сквозь пальцы, сквозь самые искренние и горячие строки. На всю войну и на всю страну, можно сказать, хватило одного Твардовского. “Военные” поэты и прозаики, мальчики и девочки, рожденные в начале 20-х и контуженные войной, писать о ней стали в конце 40-х, в 50-х годах.

Тем не менее, материал Козлова не лишней в Альманахе: здесь имена, судьбы — такие разные, как у Евгения Осетрова и Николая Орлова, здесь дорога нам фактическая основа недолговечных сочинений. Сердце у меня дрогнуло при имени Михаила Анисимовича Державца — хирурга и начальника госпиталя, с которым в те годы работала моя мама. О Державце ходили легенды, а сколько людей он спас — Ты, Господи, веши.

Воспоминания о Ефиме Честнякове (материал М.М. Ореховой и И.Ш. Шевелева) вызывают грустное чувство. Не потому, что мало что узнает читатель о замечательном человеке, но потому, что замечательного человека ПРОГЛЯДЕЛИ, проспали, как водится. Теперь к 850-летию Костромы Фонд культуры предлагает воздвигнуть ему памятник во 100-150 тысяч рублей возле кукольного театра. Доброе дело, что ж, но как не вспомнить тифлисского Пиросмани, который теперь стоит — на коленях — на берегу Куры, прижимая к себе жертвенного барашка, бронзового, как и он. При жизни не всякий духанщик наливал ему тарелку харчо за его клеенки...

Кстати, образ, созданный Элгуджей Амашукели — художник на коленях — удивительно богатый содержанием, ОБЯЗЫВАЕТ ко многому костромского мастера, который возьмется изваять Божьего человека Ефимку...

Небольшие материалы Ю.В. Смирнова об истории Караваева, Малогу Андрейкова, Поддубного и С.Н. Торопова об Ухтубужье написаны с любовью, но имеют местное значение. Интерес представляет собранные Тороповым документы об устройстве в Ухтубужье нового храма.

Мы, нижеподписавшиеся крестьяне Кологривского уезда Ухтубужской волости разных селений, под председательством нашего сельского старосты Василия Евдокимовича Зеленова, имели суждение о постройке храма...

Сход приговорил 3.3.1909 храм построить, разобрав старую церковь и употребив кирпич на ограду и колокольню ВВИДУ БЕДНОСТИ ПРИХОДА. Устройство принял на себя местный землевладелец и церковный староста С.А. Калинин.

ПРИЧТ ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ СВЯТЫНИ СТАРОГО ХРАМА В НОВОМ ОСТАЛИСЬ НЕИЗМЕННЫМИ...

.....

Не будет преувеличением сказать, что СОЗДАНИЕ 4-го выпуска АЛЬМАНАХА «КОСТРОМСКАЯ ЗЕМЛЯ» предпринятое Костромским фондом культуры, в своем роде и в нынешней обстановке ДЕЛЮ ЕСТЬ СВЯТОЕ. И МИРОМ понадобилось книгу издавать (следует благодарное перечисление меценатов), и приделы-разделы и все строение остались неизменными, если оглянуться на предыдущие выпуски.

Издание такого Альманаха в Костроме, богатейшей в историческом смысле, — деяние завидное иным городам и краям... К сожалению, не могу сопоставить это издание и подобные ему. А надо бы это сделать...

Религиозный смысл и образность, которая сама просится под руку, не различают малого и великого — вечно влюбленную Матрешу с костромской площади и отшельника Ефима из Шаблова; тут место и пожарнику, псу Бобке, и почетному гражданину города. Внимание к отдельному цветку и травинке неотделимо от судьбы поспешно затопленных гниломорьем земель.

Политический вектор нигде не выпирает как шило из мешка, он возникает, неизменный, иде же хочет.

Лучшие материалы ВОСКРЕШАЮТ жизнь, людей прошлого, веют ДУХОМ РОДИНЫ. Да, стряслось... Да, обманом, пронырливой корыстной жестокостью, обернувшейся безумием геноцида, сведены мы нынче к незавидному положению среди других стран мира, и сползание продолжается.

Но верный диагноз болезни — уже половина здоровья.

Не оскудела грешная земля теми, кого поэт величает РАБОЧИМИ АНГЕЛАМИ. Они — на земле, на ферме, в библиотеке, в архиве... Они на улицах города: угадайте их по лицам, по осанке — если лица не видно и РАБОЧАЯ ТЯЖЕСТЬ гнет им спину.

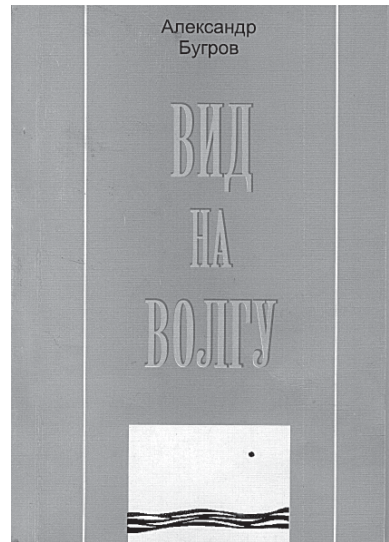
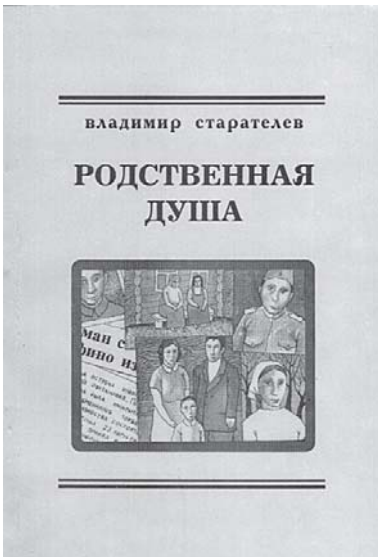
ИСПОЛАТЬ ВАМ — ВЫ НАША КРЕПЬ И НАДЕЖДА!

Декабрь 2000

А.В. Соловьева (Кострома)

Главное в деятельности Костромского фонда культуры в 1998-2001 годах

В этот период фонд культуры не ограничился изданием только краеведческой литературы. В 1998 году вышел сборник рассказов Владимира Старателева “Родственная душа” (иллюстрации Ольги Швейцер; тираж 2000 экз.), в 2000 году — поэтический сборник Александра Бугрова “Вид на Волгу” (иллюстрации Сергея Пшизова; тираж 999 экз.). Презентации книг прошли в драмтеатре и литературном музее.



Обложки книг.

Весной 1999 года, к Розановским чтениям, были изданы специальный выпуск газеты “Время помнить”, подготовленной И.Х. Тлиф, С.С. Смирновым, А.В. Соловьевой, и сборник “В.В. Розанов: Жизнь. Творчество. Судьба” (тираж и газеты, и сборника — 300 экз.). Его авторы — ведущие отечественные розановеды: В.Г. Сукач, В.А. Фатеев, и костромичи: А.П. Дурилов, И.А. Едошина и отец Евгений Никитин, умерший 18.10.1995.

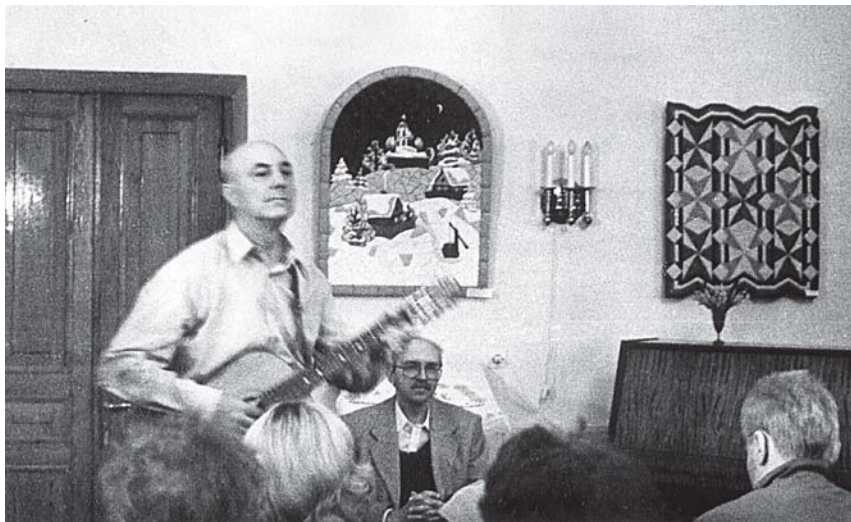
Осенью 1999 года вышел из печати IV выпуск альманаха “Костромская земля” (тираж 1000 экз.), а в конце 2000 года — труд Д.Ф. Белорукова “Деревни, сёла и города костромского края” (тираж 1450

экз.). Презентация альманаха состоялась 24 ноября в муниципальном Центре творческого содружества им. Е.И. Осетрова с участием авторов статей, настоятеля церкви Рождества Богородицы села Дурасова Красносельского района отца Валентина Новожилова и одного из спонсоров издания — Л.Г. Косопанова, управляющего филиала “Газпромбанка” в Костроме. Вёл презентацию председатель Костромского общественного фонда культуры профессор Ю.В. Лебедев. Презентацию труда Д.Ф. Белорукова фонд культуры совместно с Парфеньевским районным отделом культуры провел в Центре досуга Парфеньева 13 февраля 2001 года. Участниками её были: глава областной администрации В.А. Шершунов, глава районной Н.Н. Петров, директор Парфеньевской средней школы В.В. Смирнов и известные костромские краеведы — Н.А. Зонтиков и Н.Ф. Басова.

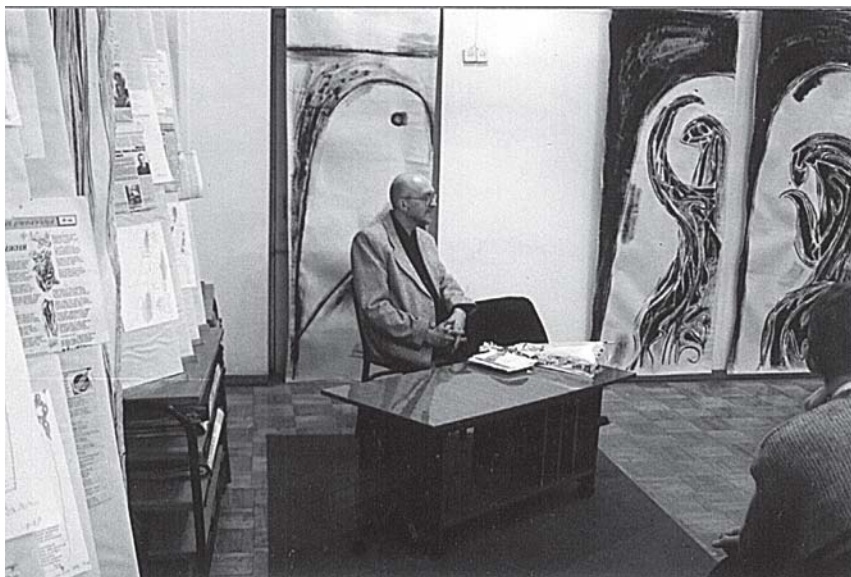
Часть тиражей всех изданий фонд передал в школьные и массовые библиотеки Костромы и области: А. Бутров “Вид на Волгу” — 630 экз., Роза-



Переплет книги.



*Презентация книги стихов А. Бугрова «Вид на Волгу». 6 июня 2000 г. Песни на стихи автора исполняет В. Смирнов. Сидит А Бугров.
Фото Г. Белякова.*



*Творческий вечер «Кострома Бугрова». 18 декабря 2000 г.
Фото В. Шевченко.*

новские издания — по 130 экземпляров каждое, “Костромская земля”, вып. IV — 165 экз., Д. Белоруков “Деревни, сёла и города...” — 85 экз.

Кроме презентаций собственных изданий, фонд культуры организовывал и представление книг московских издательств. 21 апреля 2000 года в том же Осетровском центре прошло представление сборника “репрессированной” поэзии и прозы “За что?” (М.: Ключ, 1999), которое вёл один из его составителей поэт Владимир Леонович. Стихи репрессированных поэтов читали В. Арямова, О. Ксенофонтова, В. Куралина.

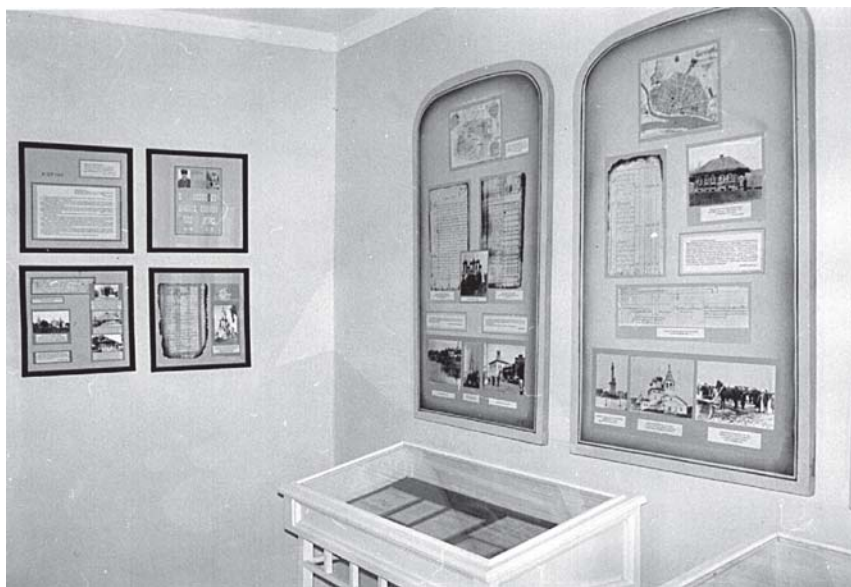
15 января 2001 года в областной научной библиотеке состоялась презентация труда А.В. Громова “Жгонский язык: Словарь лексики пимокатов Макарьевского, Мантуровского и Нейского районов Костромской области” (М.: Энциклопедия российских деревень, 2000). В презентации, кроме автора и костромских языковедов и краеведов, участвовала учёный секретарь Всероссийского научного и культурно-просветительского общества “Энциклопедия российских деревень” З.В. Рубцова — главная “виновница” появления словаря в печати.



Презентация альманаха «Костромская земля», вып. 4. 24 ноября 1999 г. Слева направо: М.Б. Хлебников, отец Валентин Новожилов, Л.Г. Косопанов, М.А. Лапшина. Фото Г. Белякова.

За эти годы фонд культуры обратился и к новым для него формам работы — построил выставку «В.В. Розанов и костромской край» в муниципальной библиотеке им. В.В. Розанова в Костроме. Без помощи областного архива, а именно: без его материалов по родословной Розанова — выставка не могла бы состояться. Строительство её, ввиду различных сложностей (главным образом связанных с поисками денег — большую часть их выделил областной бюджет), затянулось на 3 года (1999-2001).

Авторы тематико-экспозиционного плана — научный сотрудник ГАКО И.Х. Тлиф (главной части) и автор этих строк. Автор проекта художественного оформления — В.П. Субботин. Неоценимую помощь в строительстве выставки оказали С.С. Смирнов и Е.В. Тихомирова.



Начало выставки «В.В. Розанов и костромской край» в библиотеке им. В.В. Розанова. Фото В. Шевченко. Январь 2002 г.

История появления в Костроме библиотеки им. В.В. Розанова такова. До ходатайству фонда культуры (от 21 апреля 1998 г.) постановлением главы администрации Костромы Б.К. Коробова (№ 3794 от 15.10.98 г.) муниципальной библиотеке № 23 Костромы присвоено имя В.В. Розанова. К этому времени фондом культуры для будущей Розановской библиотеки уже была приобретена первая партия книг — В.В. Розанова и его окруже-

ния. Покупка книг продолжалась и в 1999-2001 годах. Всего Розановской библиотеке фонд культуры передал подаренных и приобретённых книг 65 экземпляров — произведений Розанова, книг о нём, трудов писателей и философов Серебряного века. Благодаря активной и деятельной помощи одного из ведущих специалистов по Розанову, В.А. Фатеева, приобретавшего по просьбе фонда культуры книги в магазинах Петербурга и подарившего часть книг из личной библиотеки, в том числе и те, автором и составителем которых является он сам, — бывшая массовая библиотека № 23 Костромы стала по-настоящему Розановской.

Одна из программ фонда культуры в это время — “Озвученная русская поэзия”. Автор её — писатель и музыкант В.М. Смирнов (Владимир Старателев). Им были подготовлены литературно-музыкальные композиции на стихи А. Блока, А. Пушкина, С. Есенина и на музыку собственного сочинения. Выступления В. Смирнова состоялись не только в Костроме, но и Нерехте, Судиславле, Галиче.

3 октября 2000 года в большом зале областной филармонии был устроен вечер, посвященный 105-летию со дня рождения С. Есенина “Я сердцем никогда не лгу”, в котором, кроме В. Смирнова, исполнявшего песни и романсы, приняли участие И. Блинов, Э. Очаговия.

В 2000-2001 годах в областной научной библиотеке (и совместно с ней подготовленные) прошли творческие вечера поэтов Александра Бугрова (18 декабря 2000 г.) и Владимира Леоновича (10 мая 2001 г.). Оба вечера явились следствием издания их книг — уже упоминавшейся А. Бугрова “Вид на Волгу” и 2-го издания книги В. Леоновича “Хозяин и гость” (М.: Научный мир, 2000). Зал для вечера “Кострома Бугрова” оформил С. Пшизов. Провела его И. Едошина.

В. Леонович сам вёл свой вечер, названный им “Рабочим ангелам Руси”.

После большого перерыва, прошедшего от первых религиозно-философских чтений “П.А. Флоренский. В.В. Розанов” (май 1992 г.), состоялись чтения, посвященные каждому из них в отдельности.

Розановские чтения, посвященные 60-летию памяти В.В. Розанова, начались торжественным открытием библиотеки им. В.В. Розанова, а продолжились в литературном музее. В них участвовали: В.Г. Сукач, В.А. Фатеев, А.Л. Налепин, Е.В. Иванова, С.С. Лесневский, Л.Н. Таганов, З.Я. Холодова, Р.А. Семенов, Ю.В. Лебедев, А.А. Бугров, А.П. Дурилов, И.А. Едошина, Т.А. Ёлшина.

Вечером первого дня чтений по костромскому телевидению трансли-



*Торжественное открытие библиотеки им. В.В. Розанова.
13 апреля 1999 года. 1-й ряд (слева направо): В.А. Фатеев,
В.К. Сморгчов, С.С. Лесневский, Л.Н. Таганов, Л.В. Назарова.
2-й ряд (позади С.С. Лесневского) — Л.А. Налепин. Фото Г.П. Белякова.*

ровался прямой эфир с участием В.А. Фатеева, В.Г. Сукача, А.Л. Налепина и ведущей передачи Л.Ф. Сбитневой.

18-19 сентября в Костромском государственном университете им. Н.А. Некрасова состоялись чтения “Крестный путь священника Павла Флоренского”, в подготовке и проведении которых участвовал и Межрегиональный научный центр по сохранению и изучению творческого наследия В. Розанова и П. Флоренского. На чтениях выступили: игумен Андроник (Трубачёв), В.А. Фатеев, В.Н. Леонович, С.М. Половинкин, Л.Ю. Шаламберидзе, Г.Б. Шаламберидзе, Е.В. Васильева, Р.А. Семенов, А.А. Бугров, А.П. Дурилов, Т.А. Елшина, В.С. Панин.

Во второй день на круглом столе “Отец Павел Флоренский и современность” среди других выступал и В.В. Дягилев.

В 1998-2001 годах прошли XVIII-IX Григоровские чтения, традиционно проводимые фондом культуры с областным архивом в его читальном зале. X-е чтения были посвящены 2000-летию христианства.

19 марта 1999 года исполнилось 95 лет со дня рождения А.А. Григорова. 18 марта в актовом зале Островской районной администрации состоялся

посвященный ему культурно-просветительный вечер, который фонд культуры подготовил и провёл вместе с областным архивом.

О А.А. Григорове и его наследии говорили: глава районной администрации Н.В. Киселев, костромские краеведы Н.А. Зонтиков, Н.Ф. Басова, Н.А. Дружнева.

2 февраля 2001 года в селе Ильинском Судиславского района и самом Судиславле фонд культуры совместно с Судиславским краеведческим музеем провел День памяти протоиерея и учёного М.Я. Диева, посвященного 135-летию со дня его смерти.

Начался он в селе Ильинском панихидой на могиле отца Михаила, которую отслужил отец Иоанн Черногуз — настоятель Спасо-Преображенской церкви Судиславля; ему сослужал отец Сергей Краснопевцев — настоятель церкви Преподобного Сергия Радонежского в селе Раслове. Прозвучало слово об о. Михаиле, сказанное о. Иоанном.

Потом судиславцы и приехавшие из Костромы собрались в краеведческом музее. Звучали духовные песнопения, исполненные местным хором под руководством С.И. Черногуза — преподавателя Костромской духовной семинарии.

Об отце Михаиле Диеве, памяти о нём, его жизни и трудах, в том числе и учёных, говорили: новый глава Судиславской районной администрации В.Н. Комиссаров и бывший — В.Т. Мамонтов, научный сотрудник Костромского музея-заповедника Л.И. Сизинцева, заведующая сектором краеведческой литературы областной научной библиотеки Н.Ф. Басова, директор Нерехтского краеведческого музея Н.П. Родионова и директор местно-



Культурно-просветительский вечер, посвященный А.А. Григорову. 18 марта 1999 г. Островское. Выступает Н.Ф. Басова. Фото Г. Белякова.



День памяти М.Я. Диева. 2 февраля 2001 г. Панихида на могиле в с. Ильинском Судиславского района. Слева направо: С.И. Черногуз, о. Сергей Краснопевцев, о. Иоанн Черногуз.



Буклет.

го — О.Б. Копылова, правнучка отца Михаила А.В. Шляпникова, учительница Михайловской средней школы Л.Н. Ухова, присутствующая на могиле в Ильинском и в музее вместе со своими учениками, ухаживающими за могилой М.Я. Диева.

Костромской фонд культуры передал судиславцам около 30 экземпляров 2-го и 3-го выпусков краеведческого альманаха “Костромская земля”, а краеведческому музею — коллекцию деталей керамических изделий, найденных в Судиславле и его окрестностях во время археологической разведки, организованной фондом культуры в 1990 году.

7 октября 2001 года почитатели творчества писателя, путешественника, ученого С.В. Максимова пришли в областную научную библиотеку им. Н. К. Крупской на вечер “Твой сын, Русь!”, подготовленный фондом культуры совместно с библиотекой. Вечер посвящался 170-летию со дня рождения и 100-летию памяти нашего выдающегося земляка, о жизни и трудах которого говорили Ю.В. Лебедев, В.К. Сморгчов, Н.Г. Морозов. Отрывки из произведений С.В. Максимова читали студии “Друзья театра”.

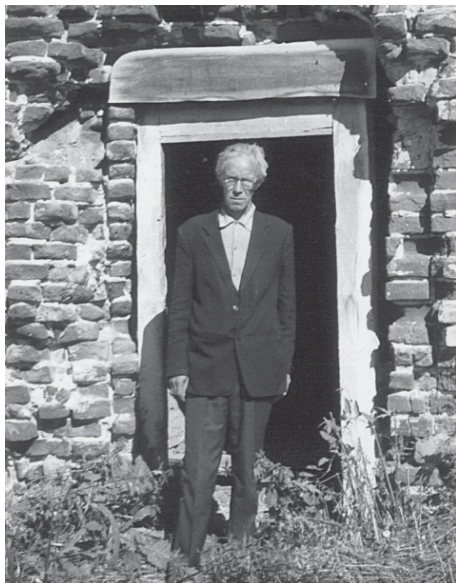
Вечер вел В.К. Сморгчов.

Организовал фонд культуры и провёл вечера, посвященные одним из наиболее активных помощников его — Г.П. Белякову и Л.С. Васильеву.

К 75-летию Георгия Павловича Белякова фонд выпустил буклет, а в своём помещении на Юных пионеров разместил выставку фотографий, сделанных юбиляром в разные годы — к этому времени (февраль 1998 г.) исполнилось 55 лет его занятиям фотографией.

Фонд культуры выступил инициатором и одним из организаторов вечера, посвященного 65-летию со дня рождения и 40-летию творческой деятельности известного архитектора-реставратора заслуженного работника культуры Российской Федерации Л.С. Васильева. Он же издал буклет “Леонид Сергеевич Васильев. 40 лет творческой деятельности”. Вечер прошёл в Белом зале Дворянского собрания 15 июня 1999 года.

20 октября 2001 года впервые в своей практике фонд культуры совместно с ГПРК провёл телемарафон по сбору средств на издание книги И.А. Симоновой “Федор Чижов”, которое осуществляет московское издательство “Молодая гвардия”. В телемарафоне участвовали: А.М. Бурлуцкий, Г.И. Заикина, А.И. Исаков, Ю.В. Лебедев, Ю.П. Назаров, А.Н. Разживин, В.И. Самодуров, И.А. Симонова, О.Н. Скобелкин, А.В. Соловьева, Ю.И. Тимонин. Вели марафон тележурналистки Г.Л. Зайцева и В.Л. Посаднева. Сбор составил 8500 рублей.



*Леонид Сергеевич Васильев.
Фото А. Анохина. 1997г.*

В 2001 году по просьбе фонда культуры Л.С. Васильевым изготовлен проект памятника Александру Юрьевичу Пушкину — двоюродному дяде Поэта, который будет установлен на месте захоронения А.Ю. Пушкина — у алтаря Дмитриевской церкви села Козловка Кинешемского уезда (ныне деревня Козловка Островского района, в которой здание церкви используется как жилое помещение).

Разновозрастной семейный коллектив “Добродея”, существующий при фонде культуры и возглавляемый Н.Е. Шишкиной, в течение всех лет возрождает народные праздники и обряды: Рождество, Масленицу, Троицу, Кузьминки, Окликание молодых — устраивая их в организациях, на берегу Волги, в частных домах.

